

Annotation

Северный край стал второй родиной писателя-натуралиста А. Онегова. Несколько лет он прожил в заонежской тайге вместе с рыбаками, охотниками, пастухами, вел наблюдения и писал рассказы о заброшенных лесных деревушках, прозрачных озерах, но больше всего о животных — своих четвероногих и пернатых соседях.

- [Планета-тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю](#)
 -
 - [Я ЖИВУ В ЗАОНЕЖСКОЙ ТАЙГЕ](#)
 -
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)

- [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая](#)
 - [Глава двадцать третья](#)
 - [Глава двадцать четвертая](#)
 - [В МЕДВЕЖЬЕМ КРАЮ](#)
 - [ОХОТА](#)
 -
 - [Белка и овсяной сноп](#)
 - [Чужая тропа](#)
 - [Пустые ведра, выстрел полет и кот Рубль](#)
 - [Зима, Вьюга, Пальмуха и Корсонушка](#)
 - [Метели, ночи, пропущенный праздник](#)
 - [Сети и сказки](#)
 - [В МЕДВЕЖЬЕМ КРАЮ](#)
 - [Год 1965-й. Следы на дороге](#)
 - [Год 1965-й. Надпись на дереве](#)
 - [Год 1965-й. Белая карта](#)
 - [Год 1965-й. Кто ты?](#)
 - [Год 1965-й. Мой Мишка](#)
 - [Год 1965-й. Овсы](#)
 - [Год 1966-й. Еще один год](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Планета-тайга: Я живу в заонежской тайге. В медвежьем краю

Худож. Б. Н. Чупрыгин. — М.: Армада-пресс, 2002. —
416 с.: ил. — (Зеленая серия).
ISBN 5-309-00397-

Я ЖИВУ В ЗАОНЕЖСКОЙ ТАЙГЕ ОТ АВТОРА

Когда вы начнете читать эту книгу, обратите внимание, что события, о которых идет речь, относятся к 1965 — 1966 годам. С тех пор прошло не так уж много времени, но для небольших лесных поселений нашего Севера эти несколько лет были эпохой.

Да, многие лесные деревушки, деревушки-красавицы, стоявшие на берегах чудесных лесных озер, перестали существовать. Сейчас о них напоминают многочисленным паломникам Севера лишь старые срубы да остатки заборов-огородов, еще не упавших на землю.

Первое впечатление от встречи с таким оставленным лесу поселением — недоумение: «Как же так? Как можно было оставить такую красоту? Как можно было уйти с родных мест?»

К сожалению, у многих людей, посетивших лесной Север в качестве туристов, это первое впечатление остается единственной оценкой тех событий, которые произошли на берегах лесных озер.

Мне надолго запомнится уже слабосильный старичок, только что переехавший из лесной деревушки в большое совхозное село, где были и свет, и почта, и магазин, и больница, и средняя школа, и неплохая дорога к районному центру. Этот старичок доживал последние годы, но еще курил крепкую махорку и умел чуть заметно посмеиваться поведавшими многое глазами.

С болью расставался этот потомственный лесной охотник и рыбак со своими тропами и избушками. В

разговоре он нет-нет да и вспоминал лодки, сети, но он был мудр, мудр от той глубины и широты русской жизни в лесу, которая выпала на его долю.

Мы долго подсчитывали с бывшим охотником и рыбаком, что потеряли, что нашли люди, покинув глухие лесные поселения и обосновавшись на новых, бойких местах.

Да, в лесу осталась рыба, осталась клюква и брусника, остались грибы рыжики... «А с рыжиками-то зиму не переживешь...» Охотник и рыбак был прав. Ни рыжики, ни клюква, ни даже рыба не заменят людям мясо, хлеб...

Небольшие лесные поселения, оторванные от современных дорог, небольшие полоски земли, отвоеванной у леса, не могли в то время дать людям то, что получали другие люди, работавшие в крупных сельских хозяйствах.

В лесной деревушке можно было прожить: кормил лес, кормили озера, что-то давала скотина, родилась на огородах картошка. Но потребности людей росли, росло требование к людям, обрабатывающим землю. Почта, которая лишь раз в неделю пробивалась к лесным поселениям по тяжелым дорогам, уже не устраивала. Школа, где было всего четыре класса при одном учителе, тоже отходила в прошлое: четыре класса образования были слишком незаметными рядом с восьмилеткой, которая давала путь к управлению техникой.

Мне пришлось пережить самому то время, когда еще жили последние лесные поселения и когда другие села и поселки резко изменялись в лучшую сторону. Мне приходилось встречать жителей таких глухих деревушек, только что прошедших тяжелую лесную дорогу. Они выходили к «людям» за делами, в гости. Они были молчаливы и сосредоточенны, встретив другую жизнь, где светились электрические лампы, где

в магазинах были такие товары, которые в лес и не завезешь, где каждый день были свежие газеты и где по вечерам в каждом доме светились экраны телевизоров. Сильные и мужественные жители лесных поселений выглядели будто растерянными, обиженными рядом со своими родственниками, работавшими на больших фермах, на тракторах. Я искренне жалел этих лесных людей и откровенно сочувствовал им.

Мне и самому много раз приходилось точно так же выходить из леса к людям, точно так же теряться и чему-то завидовать. Я жил в лесу и один, жил в небольших лесных поселениях и с семьей, работал, ловил рыбу, охотился, писал, уставал от работы, был счастлив от этой усталости, но всегда чувствовал себя как-то неловко, когда приходил туда, где жизнь была ключом...

Как помочь моей умирающей деревушке, как влить в нее новую жизнь, как поддержать людей? Я думал сам, советовался с соседями, думал вместе с руководителями района, обращался к руководителям области. Но все это были попытки сохранить старый мир, хотя и добрый, и мудрый, но все-таки старый...

Конечно, к деревушке можно было подвести хорошую дорогу, можно было поставить по лесу электрические столбы, послать по дороге трактора, машины, переоборудовать ферму... Но ведь в деревушке было всего 18 дворов. Могли ли эти дворы, где взрослых, рабочих людей было всего раз, два — да обчелся, наладить современное высокопроизводительное хозяйство?

Но такие опыты все-таки были. В деревню проводили свет, посылали технику — все было, как у людей, но люди из лесных поселений все-таки уходили. Уходили теперь уже по хорошей, только что

выстроенной дороге. Говорят, что по хорошей дороге уйти легче...

Видимо, всего этого не могли знать те, кто встречается сегодня на берегах озер брошенные лесные поселения и уносит после встречи с ними только недоумение.

Да, в лесу остались могилы предков, родные дома, покосы, пашни, тропы, озера — все это больно и трудно. Но я очень хочу спросить тех, кто искренне жалеет оставленные людьми дома и могилы родителей: «Кто из вас согласится переехать жить в лес?» Мне известен только один случай, когда московский житель оставил на полпути туристского похода байдарку, попрощался с товарищами и остался работать в небольшой глухой деревушке библиотекарем. Правда, работал он там не очень долго...

Да, в лесу очень хорошо летом в отпуск... А в зимние глухие ночи, когда только вой ветра и когда дорожку к проруби замечает следом за тобой снегом, а тебе, пробивающему дорогу к крыльцу, может помочь только тусклый уголок оконного стекла, чуть подсвеченного изнутри робким фитильком керосиновой лампы?..

Я оставлял вместе с другими жителями лесные поселения, оставлял не один раз, ибо жил не в одной лесной деревушке. Сейчас вместе с семьей я поселился там, где есть почта, средняя школа, дороги и где я могу трудиться круглый год вне зависимости от погоды — ведь в лесу к зиме трудовая деятельность людей замирает: густеют ночи, гаснет день, охоту закрывают глубокие снега, а рыба затихает под толстым льдом.

Но рыбу я ловлю и сейчас и сейчас хожу за зверем. Хожу по тем же лесным тропам, по которым ходили старые охотники. Но когда заканчивается сезон, я возвращаюсь к людям до весны. Так же поступают теперь и те, кто раньше круглый год жил в лесу. Весной они угоняют в лес стада пастись на богатых лесных

травах, уходят на промыслы, косят сено. Лесные деревушки не брошены, не забыты, внимание к ним родилось вновь, но теперь путь к ним лежит из сельскохозяйственного центра, откуда, очень может быть, совсем скоро лягут в лес новые, еще более совершенные дороги людей. Это качество не будет хуже прежнего хотя бы потому, что никогда не забудется тот великий опыт лесной жизни, который когда-то создал на берегах чудесных озер красавицы деревушки.

И мне тоже очень хочется помочь тем, кто снова придет на берега наших озер. Вот почему я и вспомнил своих друзей, свои тропы, свой опыт, свои неудачи и победы. Я учился у леса, и эту науку мне очень хочется сохранить. Я понимаю, что небольшого повествования явно не хватит для того, чтобы отразить все то лучшее, что было в лесу, поэтому я считаю свое повествование всего-навсего одной-единственной робкой тропкой, которую доверили мне мои друзья.

Я благодарен им и не меньше буду благодарен тем людям, для которых мой рассказ станет большим, чем экзотическое повествование о некой лесной жизни, которую сегодня то там, то тут пошло именуют «кондовой».

Лесные поселения, лесные тропы, лесные нравы и законы создавались не для того, чтобы сегодня баловать кого-то своей внешней первобытностью. «Первобытность» можно создать самому, неумело обстругав тупым кухонным ножом ножку от старого стула и назвав это «творение» то ли исконно русским топорищем, то ли мешалкой для кислого ржаного теста...

Талантливый ум, глубокая душа, отзывчивое и в то же время строгое сердце моих друзей — охотников, рыбаков, пастухов, воинов — не требуют какой-то рекламы или рецензии. Сегодня, расставшись с лесом,

эти люди уже заставили уважать себя там, где началась их новая жизнь. Вот почему я очень прошу всех, кто возьмет в руки эту книгу, забыть о той узкопотребительской мерке, с которой мы подчас раскрываем произведение, посвященное приключениям, путешествиям или рассказам о природе.

Мне осталось напомнить, что книга писалась в 1967 — 1968 годах. В это время я сам еще задавал себе вопросы, которые задают люди, краем глаза увидевшие брошенные лесные поселения. Эти вопросы остались и в тексте, я не хотел их разыскивать и снимать, иначе повествование потеряло бы рамки того времени, когда я сам безвыездно жил в лесу. И я очень верю, что именно в таком виде мое повествование поможет многим прийти от вопросов к правильным ответам.

Мне думается: именно в этом виде мой труд напомнит и тем людям, которые начнут забывать о жизни в лесу, как когда-то на берегах лесных озер стояли далекие деревушки...

С уважением к своим читателям

Анатолий Онегов

Это авторское вступление к книге было написано мною почти 30 лет тому назад. Сейчас, в самом конце XX века, я хотел было что-то изменить в сказанном ранее. Я хотел рассказать о том, как много всего пережил наш русский Север с тех пор, как вместе с этой светлой и доброй землей переживал ее судьбу и автор, для которого заонежская тайга стала второй Родиной. Но я не сделал этого — я оставил все сказанное ранее нетронутым, ибо считаю, что все сказанное искренне не нуждается ни в какой позднейшей редакции.

Да, я был последним жителем, многих северных лесных поселений, последним рыбаком на многих таежных озерах и последним охотником в моей заонежской тайге... Мою тайгу погубили прожорливые мотопилы и не разбирающие никаких дорог

трелевочные трактора. А следом за тайгой-лесом перестали существовать в своем прежнем качестве и многие бывшие таежные чудо-озера.

Увы, прошлое не вернешь. Но память о нем должна жить, чтобы сумели мы сохранить еще не ушедший от нас до конца северный таежный край, который по-прежнему живет мечтой о более счастливой доле.

Ноябрь 2000 года

А. Онегов

Глава первая

ОКАНЧИВАЛОСЬ ЛЕТО...

Оканчивалось лето, короткое светлое лето Севера. Оканчивалась моя работа на Долгом озере. От озера я ждал большего. В душную грозовую жару рыба ловилась плохо. Она ненадолго выходила из глубин и с первым ворчанием хрома скатывалась обратно. Искать рыбу на глубине было трудно, и нередко мне приходилось знать пустые, неудачные дни. Пустые дни ломали планы промысла, и к концу лета я стал чаще задумываться, где и как можно будет наверстать упущенное...

Долгое озеро старики называли летним озером. В озере были лещ, язь, плотва, щука, окунь, но все это было лишь в теплые светлые дни, когда по берегам шумел высокий тростник, а на лудах ярко светились огни белых лилий. Правда, осенью на эти луды нет-нет да и вырывались быстрые стаи тяжелых окуней, но окуни появлялись лишь иногда, и это «иногда» не могло устроить человека, для которого ловить рыбу было каждодневной работой.

Рядом были другие озера. Я хорошо знал их, любил плавать по лесным ручьям из одного озера в другое и по дороге вспоминать рассказ о том, как по этим озерам из Балтийского моря в Белое однажды прошел лещ... Названия озер звучали просто, не оставляя после себя особых вопросов: Окштомское, Долгое, Верхнее, Елемское... И только одно название — Тимково озеро — осталось пока не разгаданным мной.

Долгое действительно было долгим и больше походило на глубокую, тихую реку. Из Долгого озера

кривой, заваленный лесом Долгий ручей хотя и не скоро, но всегда приводил лодку в Окштомское озеро. Окштомское получило свое название от реки Окштомки, что вытекала из озера не очень глубокой водой. Если пробиться через завалы и переборы, то лодка обязательно попадет из Окштомки в другие полноводные реки, в другие большие озера и наконец увидит волны Балтийского моря... По речке Окштомке и заходили в тайгу косяки леща. Упрямые, сильные рыбы поднимались в Окштомское озеро, по Долгому ручью попадали в Долгое озеро и даже добирались до Тимкова и Верхнего...

Верхнее было самым высоким среди лесных озер, но не последним. По ту сторону водораздела в глубокой низине, уйте, лежало еще одно, немалое Елемское озеро... Елемское озеро, как и Окштомское, уходило из тайги неглубокой речкой, но эта речка несла свои воды уже к другому, Белому морю... Пожалуй, ловкие на выдумку и быстрые на дело лесные старики не собирались открывать путь лещу с' запада на север, они рассуждали проще: в Верхнем есть хорошая, вкусная рыба, а в Елемском леща нет; а что, если поднять в Елемском озере воду и прокопать из него в Верхнее небольшой канал?

Я слышал этот рассказ в самых разных вариантах. Одни связывают историю леща, который прошел из Верхнего озера в Елемское и по реке Елемце отправился богато заселять последующие водоемы, с именами неугомонных стариков; другие появление хиленького канальчика и тщедушной плотины объясняли требованием лесосплава, который когда-то шел по этим озерам. Но так или иначе «Великий путь» с запада на север через заонежскую тайгу был открыт намного раньше, чем Беломорско-Балтийский канал.

К сожалению, путь оказался обходным и слишком мелким для приличных судов. Канал давно зарос,

буреломы давно загородили лесные ручьи и речки страшными завалами, и теперь только карта могла рассказать о том, какие страны встретил бы незадачливый капитан, рискнувший пробиться с берегов Невы в Белое море через лес...

В начале пути первопроходца вряд ли встретили бы какие-то неожиданности: Ладожское озеро, Онежское, потом знаки лоции указали бы голубую дорогу Волго-Балта. Дальше — бассейн Белого озера, а оттуда на север и начался бы самый трудный в истории России волок... Пожалуй, до Долгого озера этот капитан уже не довел бы свое судно.

К Долгому озеру человека может привести только тропа. Эта тропа и указала мне путь к бараку на берегу хмурого лесного озера. Барак я называл избушкой. Передняя часть строения давно рухнула, давно упала большая часть крыши, и теперь для рыбаков и охотников оставались только клеть сруба, потолок, крошечное окошечко в тайгу, неширокие нары и глиняная печь, дым из которой выходил прямо в избушку. В этой избушке я и провел весну и лето второго года жизни в лесу.

Весна и лето не принесли особой удачи, и теперь, к осени, я перебирал в памяти все озера, на которых можно было продолжить рыбный промысел до глубоких холодов. Окштомское, Тимково, Верхнее, Елемское были такими же летними озерами, но дальше в тайге оставалось и жило пока без меня еще одно интересное озеро.

У этого озера было свое официальное название. Рассматривая карту, я невольно приходил к выводу, что это название, наверное, не могло родиться в лесу. Казалось, какой-то случайный человек, рисовавший карту и никогда не видавший самого озера, просто взял и пометил голубой кружочек первым словом, которое

пришло в уставшую от бумажных трудов голову Слово, которым пометили озеро, не звучало.

Здесь, в лесу я привык к ясным и живым именам, которые местные жители давали воде, камню или дальнему выпасу... Шиловое, Сухой Мыс, Черная лахта, Концезерье, Пустошь, Долгий ручей — все это жило рядом с человеком. Шиловое означало острый, как шило, мыс на Домашнем озере, на том озере, где стояла деревня и куда возвращался рыбак после долгого и трудного промысла на отхожих озерах. Рыбак выходил из леса и по первому пустому, безлесному месту, по Пустоши, узнавал, что до Домашнего озера теперь совсем близко. Лодка ждала рыбака в конце озера, в Концезерье. Потом послушное суденышко миновало глубокую Черную лахту — залив, огибало Сухой Мыс, длинную, поросшую тростником отмель, и человек, уставший от многих дней волны и ветра, прокоптившийся в курной избушке, наконец видел свой дом. Дома ждали тепло и чистая постель. День, другой, третий — рыбак наводил порядок в хозяйстве и снова собирался пойти, отойти от Домашнего озера туда, где ждали его в тайге другие, отхожие озера, где были избушка, утлая лодчонка и где на этой лодчонке можно отправиться еще дальше по какому-нибудь Долгому или Кривому ручию...

В лесу ручей действительно называют «ручий». Если сразу же после снега тихо пойти по лесной тропке, пойти тогда, когда богатая от весны вода поет звонче и ярче, и ненадолго задерживаться у каждой весенней воды, то обязательно услышишь, что лесной «ручий» совсем не похож на тот ручей, который сиротливо пробирается между камнями мостовой. Лесной «ручий» не сирота среди камня, возведенного человеком, ему вовсе не надо, выискивая себе дорогу, одиноко вскрикивать около каждого подвернувшегося булыжника: «Ручей, ты чей?» Может быть, поэтому у

лесных жителей и не было особой необходимости давать своему певучему ручию иное, городское имя.

Ручий, а не ручей — было понятно мне. Сложней приходилось с именами небольших лесных озер. Каликино, Красово, Гусельное. Я не мог сразу объяснить себе происхождение этих названий, долго всматривался в берега и глубины каждой загадочной воды, чаще сразу ничего не находил, но с каждой следующей тропой все больше и больше убеждался, что других имен для этих озер и нельзя было придумать.

Красово было красивым, задумчивым озером. Высокий еловый берег плавной дугой обводил его густо-черную воду... Каликино же не отличалось особой привлекательностью и было скорее всего захудалым, неудачным озером, прижившимся у низких болотистых берегов... Зато Гусельное действительно могло петь. Светлые, легкие берега не мешали спокойно и широко разойтись во все стороны чистой и легкой воде. И мне казалось, что эта вода не остановилась около берегов, а незаметно поднялась вверх и поплыла над березами и елями настоящей лесной песней. И эта песня была тихой и ласковой, но в то же время таинственной и глубокой, как само Гусельное озеро...

Не знаю, может быть, человек, давший имена этим озерам, думал совсем по-другому, но эти имена прились к стати. А может, и сами имена заставили меня посмотреть на лесные озера иными глазами.

И теперь, зная красивые и простые имена, я никак не мог согласиться с тем, что Янцельское озеро могут называть на карте как-то иначе...

Озеро, на котором я еще не был, в лесу называли Янцельским. Янцельское лежало дальше всех озер и не походило на остальные чистым песчаным дном и неглубокой прозрачной водой, где в тихую погоду можно было рассмотреть широкие косяки рыб. Рассказывали, что в этом озере рыба живет в несколько

«этажей». Почти у самой поверхности разгуливает некрупная подвижная плотвичка. У плотвы в лесу тоже было свое имя — ее звали сорогой. Некрупная сорога ходила поверху многочисленными стаями, то и дело показывая над водой свои спинки и хвостики. На солнце чешуя рыб вспыхивала яркими искрами, и издали казалось, что по озеру разом зажгли много-много живых огоньков. Такие стаи сороги рыбаки называли ятвой и всегда знали, что под ятвой широко и плотно движется еще один слой рыбы — крупной, тяжелой сороги. Третий «этаж» озера занимали быстрые прожорливые окуни. У них были темно-зеленые спины и оранжевые животы, окуни никогда не отставали от сороги. Каждый весил порой более килограмма, и эти килограммы, пожалуй, и помогали родиться той славе, которая ходила о легендарном Янцельском озере.

Слава озера не была пустой. Несмотря на дальнюю дорогу, к озеру нет-нет да и похаживали рыбаки и всегда возвращались с богатыми уловами.

На Янцельском ловили рыбу так же просто, как на остальных озерах. Две удочки: одна полегче, другая потяжелей — вот и вся снасть, с которой человек отправлялся на промысел. Лодка осторожно подбиралась к резвившейся ятве, рыбак разматывал леску, насаживал червя, и тут же начиналась работа. По-другому, наверное, и нельзя было назвать бесконечное подтягивание рыбы, бесконечные забросы и груды окуней, сваленных в нос лодки... Когда вместо окуня на крючок попадалась некрупная сорожка, рыбак тут же настраивал другую, тяжелую удочку с толстой леской, берестяным поплавком и огромным крючком, который попросту называли крюком. На крюк водружалась сорожка, и рыбак почти тут же выхватывал из воды солидную увесистую щуку...

Щуки занимали в озере последний, четвертый «этаж», и все эти «этажи» можно было видеть рядом с

лодкой. Сорога, окуни, щуки к вечеру забивали лодку до самых бортов, и, случись неожиданно хороший ветер, удачливый рыбак с большим трудом добирался к берегу.

Ветры на Янцельском гремели часто. Они никогда не предупреждали заранее о своем приближении, сваливались зло и резко, и легкой долбленой лодчонке не всегда приходилось просто посреди разбушевавшейся воды. Нередко ветры громыхали по нескольку дней подряд, и тогда путь на озеро был закрыт... Да, на Янцельское надо было именно попасть, попасть сначала по трудной таежной тропе, а потом попасть и на хорошую погоду. Богатство жило здесь рядом с везением. Это везение напоминало мне многочисленные лесные сказки и легенды о кладах, спрятанных в колодцах, и осторожно, но пока верно отводило меня от тропы к Янцельскому озеру...

В прошлом году я так и не пошел на сказочное отхожее озеро: я оставил его до следующей весны, как тайну, которая всегда должна быть впереди. Новой весной по дороге к Янцельскому меня снова остановило везение. Я шел в лес работать, а не рисковать. Рисковать в работе, наверное, можно было только тогда, когда, кроме риска, тебе уже ничего не оставалось... Но сейчас, когда Долгое озеро закрывалось для рыбаков, я и решил поискать свое счастье, свою рыбацкую звезду там, где для меня жили пока только легенды...

Тропа к Янцельскому озеру начиналась недалеко от моей избушки. Это была давно нехоженная лесная дорожка по завалам и болотам, дорожка не на один час пути, которую к тому же я еще и не знал.

Не знать лесную тропу, пожалуй, все-таки плохо. Лучше, когда впереди тебе известен каждый еловый остров, каждая низинка, каждое упавшее около тропы дерево. На такое дерево можно присесть, скинуть

оттянувший плечи мешок и с облегчением отметить, что теперь какая-то или такая-то часть пути уже пройдена.

Я не знал эту тропу, я только слышал о ней от других и теперь искал лесную дорожку по тескам на еловых стволах. Конечно, можно было идти по карте, по компасу, напрямик через тайгу, но прямой путь по бездорожью всегда занимал много времени и никогда не доставлял удовольствия. В такой дороге перед тобой никогда не было тесков, сделанных давно-давно ловким охотничьим топором. Дорога напрямик через лес никогда не оставляла того чувства, которое приятно узнаешь, неожиданно встретив на тропе сделанную кем-то стрелочку.

Стрелочкой обычно была простая полоска коры. Кора снималась с дерева одним неглубоким ударом топора. Потом на ствол ложился и второй удар, ложился еще мельче, чтобы чуть-чуть надщепить елку. В такой расщеп и вкладывалась полоска коры. Полоска вкладывалась наружу белой стороной и издали светила человеку, указывая верный путь... Там, где твоя тропа спускалась к неглубокому лесному ручью, ты мог встретить и легкий берестяной черпачок. Черпачок тоже сделали давно, давно оставили на еловом сучке, и теперь ты черпаешь им вкусную лесную воду и знаешь, что впереди тебя когда-то прошли неплохие люди. От такой памяти идти дальше становится много легче.

Но на тропе легко не только от сознания, что ты шагаешь следом за людьми, жившими до тебя, — тропа сама по себе самый короткий и легкий путь к цели. Человек, шедший впереди тебя, наверное, думал, как проще пройти по лесу. Да, он обходил завалы, огибал тяжелые, густые болота, он не лез вброд через гнилые топи... Но кто сказал, что каждый брод удачнее умного обходного пути?

Я вспомнил сейчас одну историю, связанную с постройкой новой дороги. До этого дорога шла по

однообразному тоскливому болоту, но шла почему-то долгими, кривыми поворотами. Водители автомашин, устав крутить из стороны в сторону баранку, нещадно ругали какого-то мифического старика, который первым прошел это болото, накривил, а его потомкам приходится, мол, расплачиваться теперь лишними километрами... Потомки долго не рассуждали. Они подсчитали бензин и время, потраченные на зигзаги, и спрямили дорогу. И вот ровная полоска магистрали разрезала болото на две части. Потомки ликовали, но недолго... Дорога начала тонуть. Провалы один за другим появлялись как раз в тех местах, которые первопроходцы упорно обходили. Скрипели самосвалы, рычали бульдозеры, в провалы ссыпался песок и камень, водители объезжали аварийные места по тем самым зигзагам, которые проложил еще старик, и теперь ругали уже не старика, а строителей.

Я верил тому старику, который проложил тропу к Янцельскому озеру, верил, что ни один поворот даже на очень чистом месте старик не сделал просто так, и наконец увидел озеро.

Казалось, везение было рядом со мной. Озеро встретило теплым безветрием и уютной мерцающей дымкой. Дымка скрывала противоположный берег, будто не желала сразу показать сказочное озеро во всей красе.

Я поднял голенища сапог и далеко забрел в воду. У ног вертелись рыбешки, совсем рядом поднималась лохматая стена тростника, и тут же за тростником светились большие белые лилии. Я пил прохладную вкусную воду, всматривался в далекий неясный берег и молчал вместе с тайгой. Вода в озере была легкой и прозрачной, в ней не было запаха прелого листа и торфа. Такая вода могла обещать много рыбы.

Удачу обещала и избушка. Недавно прошли густые дожди, но в избушке было сухо. Крыша еще держала,

печь не развалилась и была готова служить новому человеку. Оставалось только найти лодку. Лодку сделали давно, с прошлого года на ней никто не ездил, она должна была лежать на берегу подальше от волн и льда. Я. знал, где должна была лежать лодка, но на легкой воде, безветрии, крепкой крыше и исправной печи мое везение окончилось.

Лодку я отыскал, но это была уже не лодка. Тяжелая глыба мокрого снега, упавшая с еловых ветвей, сокрушила тонкое осиновое днище. Я снова пил воду таинственного озера, пил, чтобы запомнить вкус этой воды до следующего года, снова слушал молчание тайги и уже не так весело посматривал в сторону далекого и все еще неизвестного мне берега...

С Янцельского я возвращался другой тропой. Я уходил с отхожих озер совсем, уходил до следующей весны на свое Домашнее озеро. Сзади оставались болота, лесные острова, оставались Долгое, Тимково и то Верхнее озеро, где премудрые старики соединили между собой воды Балтийского и Белого морей. Эти старики оставили в тайге свои тропы, оставили избушки, лодки, удобные лесные лавочки-станки, где можно отдохнуть, на время прервав нелегкий путь. Старики оставили сказки, умение жить в лесу рядом со зверем и стихией, оставили ручьи и озера, болота и еловые острова и яркие закаты над вечерней водой, по которым я могу теперь точно угадывать завтрашнюю погоду.

Погода назавтра обещала быть ясной и холодной. Об этом рассказали мне легкие малиновые облачка, что остались после солнца над нашим Домашним озером. Завтра утром по берегам озера ляжет иней. С инеем гуще упадет на воду желтый лист с берез. С инеем пожухнет трава, умолкнет стадо, и лес станет темней и настороженней перед близкой зимой... Скоро снег занесет сугробами тайгу и спрячет до следующей весны

узенькие тихие тропки. Тропки исчезнут под снегом, но на стволах елей останутся прежние тески и стрелочки. Некоторые тески уже успели затечь смолой, некоторые стрелочки успели потемнеть и теперь светят не так далеко. Но тески и стрелочки есть, и по ним даже в самую глухую зимнюю пору можно найти охотничью тропу за куницей или лосем. Охотничья тропа обязательно приведет человека туда, где есть зверь и где можно по окончании работы отыскать сухую сосну. Сухие сосны в лесу зовут жаринами. Из жарины устраивают зимний ночной костер — нодью — и у этого доброго костра вспоминают прошедший день, переживают непогоду и ждут новую весну и новые тропы.

Свои тропы буду ждать и я. Может быть, эти тропы окажутся уже известными людям. А может быть, мне удалось проложить в лесу и свою собственную дорожку... Не знаю... Но тропы в лесу есть.

Глава вторая

НОЧЬ НА ОТГОННОМ ПАСТБИЩЕ

Я живу на берегу Домашнего озера. Еще совсем недавно это озеро было для меня лишь небольшим голубым пятнышком на карте. К голубому пятнышку вела извилистая линия лесной дороги. Таких дорог я видел уже много. По старым деревянным мосткам они перебирались через неглубокие вязкие ручьи, крутой упрямой петлей обходили высокие еловые острова, не спеша миновали сырую глину темных дуплистых осинников и напрямик брели по трудным моховым болотам.

Для передвижения по таким дорогам у меня выработались постепенно свои правила. Я взваливал на плечи тяжелый рюкзак, уговаривал подняться заснувшего щенка, прощался с очередной десятиминутной стоянкой и шел дальше к следующей остановке — к следующему ручью, мостку через болотистую низинку или к поваленному буреломом дереву. Там через пятьдесят минут трудной дороги по душной комариной тайге я снова останавливался, снова недолго отдыхал, курил и подсчитывал, сколько еще таких же выучных переходов осталось мне до конца дня, до вечернего костра, до котелка с ухой и кружки горячего, крепкого чая.

Вечерний костер, кружка чая, сброшенные сапоги и спокойная усталость, что появляется в конце заверченного пути, приходили ко мне уже в туманных сумерках летней северной ночи. Густой, холодный туман плыл около моего костра, спускался вниз к воде и медленно, почти незаметно уходил дальше от берега,

чтобы затянуть, спрятать и без того неизвестную мне глубокую воду таежного озера.

После восхода солнца вода озера расставалась с туманом, встречала утренний свет, становилась теплей и приветливей. Около такой воды хотелось остаться. Но я поднимал свой рюкзак, звал щенка и шел дальше, чтобы в конце дня снова развести костер на берегу еще одного малоизвестного озера.

Пожалуй, и Домашнее озеро осталось бы где-нибудь позади. Впереди было много других таежных озер. Я знал их по карте. Мой маршрут от одного озера к другому был заранее рассчитан, и я хорошо знал, что вслед за Домашним меня тут же должно было встретить следующее — Хибальское озеро... Но Хибальское я увидел намного позже.

Что было причиной моей слишком долгой стоянки на берегу Домашнего озера? Трудная дорога по болотам, особое гостеприимство, которым одарили меня пастухи на отгонном пастбище, или само несколько необычное для строгой северной тайги теплое имя озера?

Несмотря на регламент маршрута и твердые правила, выработанные в пути, добраться за день до Домашнего озера мне не удалось, а потому вместо тихой, спокойной ночевки на сухом берегу пришлось довольствоваться сырым неуютным костром около лесного болота. Еще в су-мерках я расстался с неприветливым ночлегом и на рассвете увидел внизу у подножия елового острова необычное озеро.

Необычным было все: и пепельный цвет воды, и мягкие, теплые полосы утреннего света по этому блестящему пеплу, и глубокие, удивительно медленные всплески больших рыб, и неподвижная белая-белая птица посреди озера.

Это был лебедь. Одинокий, будто уснувший, лебедь, темные высокие ели, обступившие озеро, деревянная часовенка и старое кладбище среди черных еловых

стволов на высоком холме, моя бессонная ночь, усталость после многих лесных дорог и тишина, глубокая, но в то же время необычная для тайги теплая тишина утренней воды, тишина безмятежного лесного озера, белой сказочной птицы и медлительных больших рыб...

Этого озера не было на моей карте. Я не знал его названия, не рассчитывал встретить здесь, на пути к Домашнему, но оно появилось, остановило, и первый раз за всю дорогу по тайге я задал себе вопрос: «А что, если остановиться и никуда дальше не идти?» С высокого открытого берега я увидел узенькую сухую дорожку к ручью, мостик через ручей, светло-серую полосу изгороди, мелькавшую среди мохнатых сосенок, и крутые скаты крыш удивительно тихого для дневного часа северного лесного поселения. И тут же за крышами крепких высоких домов открывался широкой голубой полосой уютный залив еще одного озера. Это и было Домашнее озеро.

Вода Домашнего озера оказалась прозрачной и теплой. По такой воде хотелось долго брести, смывая с лица пыль дороги и прилипших ко лбу и щекам комаров, плескаться и просто радоваться хорошей встрече. Из воды я выходил свежим, смывшим усталость, выходил с твердым желанием продолжить свой путь, продолжить поиски настоящего леса, настоящей таежной воды и людей, давно проложивших свои тропы по заонежской тайге.

Тайга, не тронутая топором, таежная вода, никогда не знавшая жадности безрассудного рыбака, следы животных, говорившие, что «край непуганых птиц» — вот он, рядом, — все это уже было, давно звало остановиться и более внимательно приглядеться к окружающему. Но мне еще не встретился человек, которого я собирался расспросить, как он, житель тайги, нашел то согласие с первозданной? природой,

которое мы сегодня называем устойчивым равновесием или менее мудро — добрым согласием людей, леса, воды и животного мира?

Не знаю, встречал ли я в пути к Домашнему озеру людей, похожих на Петра Мушарова? Наверное, встречал. Наверное, давно такие люди могли бы научить меня своей жизни, если бы моя торопливость не мешала этому. Но вот наконец случилось так, что будущий рассказчик сам остановил меня.

О моем присутствии в тайге Петр Мушаров узнал еще задолго до того, как я сбросил рюкзак и забрел в воду. В ожидании гостя он успел развести огонь, повесить над костром чайник, котелки с кашей и супом и теперь после несложных приветствий пригласил меня к обеду.

К вечеру я знал уже все, что требуется знать для общего знакомства с местностью и ее хозяевами. Петр Мушаров был просто пастухом на таежном отгонном пастбище. Деревня числилась нежилой. Бывшие покосы и пожни отводились под выпас телушкам, а сохранившиеся в порядке дома фактически принадлежали пастухам. Вторым пастухом на отгонном пастбище был Василий Герасимов. Василий заявился в деревушку только вечером; соскочил с лошади, сбросил на землю мешок с продуктами, подхватил сети и понесся «доставать» для вечерней ухи рыбу. За ухой хозяева деревушки пересчитали вслух все окрестные озера — их оказалось восемнадцать, перечислили всех гостей, которые посетили пастухов с июня, и доброжелательно рассмотрели мое предложение — взять меня в пай.

Мой пай выглядел для лесного жителя вполне обычно. Я передал обществу все наличные продукты и деньги, часть охотничьего и рыболовного снаряжения и свою готовность делить вместе с пастухами тяготы и радости их жизни. Последним словом моей просьбы-

монолог было обычное для подобных переговоров: «Оставляют?» Василий не возразил, а Петр почти незаметно улыбнулся и заключил наш договор словом: «Живет», Это «живет» означало полное согласие пастухов и могло толковаться так: «ладно», «договорились» или более убедительно для меня: «оставайся».

Так я остался на берегу Домашнего озера. Остался, чтобы бродить по таежным тропам, искать зверя, ловить рыбу, печь хлеб, пасти стадо, вести дневники, собирать северные закаты, слушать лесные истории, сказки и песни и пытаться разгадывать те загадки, которые приготовила для меня тайга, что со всех сторон обступила нашу маленькую тихую деревушку.

Каждый вечер солнце медленно опускается за тайгу, уходит до следующего утра за черные столетние ели. Солнца уже не видно из деревни, но если взять весло, отвести от берега лодку и, стараясь не беспокоить вечернюю тишину воды, уплыть на середину, то еще можно долго смотреть, как догорает над озером прошедший день.

Краски северного заката гаснут непривычно медленно, почти незаметно пропадают полутона. Желтый цвет переходит в малиновый, малиновый — в красный и пепельный. Небо остывает, и сразу становится холодно и неуютно посреди ночной воды. В сумерках выше и угрюмей поднимаются еловые берега. Тяжелые, густые тени этих берегов тянутся к лодке. От них надо уплыть, уплыть к теплу избы, к веселым язычкам огня на березовом полене, к горячему чаю и просто к людям.

Уже в темноте я затаскиваю на берег лодку, вижу огонек лампы в нашем окне, тороплюсь к нему, но черная ночная тайга еще не отпустила, она рядом, вокруг, до тех пор, пока не закроется за мной дверь в избу...

В такие холодные, темные вечера мне казалось, что я хорошо понимаю тех людей, которые навсегда ушли из леса.

С берега Домашнего озера прошлой осенью тоже ушли люди. Они ушли, оставив тайге семнадцать изб, старые лодки и низенькие курные бани у самой воды.

Из деревни уходили поближе к большим современным дорогам, к электричеству, к кино, к клубам, к крупному производству, уходили, чтобы никогда больше не вернуться. Но вот прошла зима, в тайге снова засветились озера, и память о родных местах пусть на время, но опять потянула людей обратно в лес...

Первыми на Домашнее озеро вернулись рыбаки, а следом за ними пастухи повели в лес стадо. И сейчас за ночным окном мирно посапывают и трутся сытыми боками о жерди огорода наши телушки.

К голосу ночного стада привыкаешь. Когда этот голос вдруг пропадает и к окну подбирается осторожная тишина, ты выходишь на улицу и долго слушаешь тайгу — стадо никогда просто так не молчит... Ты вслушиваешься в каждый шорох, стараешься по легкому треску сучка заранее узнать о приближении медведя. Рядом с тобой внимательно сторожат уши собаки. Проходит пять, десять минут — собаки тоже не узнали ничего опасного. Ты возвращаешься в дом, берешь ружье, снова выходишь на улицу и выстрелами на всякий случай извещаешь лес о том, что люди есть и что они будут жестоко мстить за покушение на свое хозяйство...

После выстрелов лес долго не может успокоиться. Эхо подхватывает предупреждение человека и несколько раз перекатывает его по еловым вершинам. Вот эхо вернулось в деревушку, снова добралось в конец озера и разбудило там гагар... Сейчас ночь и не видно стонущих птиц. И если не знаешь, что этот голос

принадлежит гагарам, то можно поверить, будто там, в дальнем углу озера, просит о помощи человек, попавший в беду...

В лампе тихо потрескивает фитиль. Давно спят пастухи, спят наши собаки, а я снова и снова брожу с карандашом по своей карте и все дальше и дальше ухожу в лес...

Лес, мир леса начинается сразу за стенами моего дома. Этот мир пока чужой для меня. Я знаю о нем только из рассказов пастухов. После каждого вечернего разговора за чаем я ухожу к себе в комнатку и долго рисую на карте еще не пройденные мною тропы, еще невиданные мной озера и болота.

С каждым вечером моя карта становится подробнее. Я уже вижу перед собой на столе всю географию моего будущего леса. Для меня уже почти близко звучат названия ручьев, пашен, выгонов, низинок. Мне кажется, что я уже знаю каждый залив таежного озера, каждую тропу к охотничьим избушкам и, наверное, уже не ошибусь в лесной дороге. Я знаю: если отправиться по Домашнему озеру в самый конец, в Концезерье, оставить там лодку и пойти по лесной тропе, то через час с небольшим увидишь другое озеро. На озере есть плот и навес для снасти, есть удилища, оставленные для тебя каким-то стариком. Раньше это озеро принадлежало ему. Никто другой не рыбачил там. Озеро было собственностью одного человека. Так было и с другими озерами... Что это? Очередная лесная тайна? Или лесной закон?

Сколько раз, напялив на себя кричащее походное снаряжение, прихватив изящные ружья и выставочных собак, мы, столичные охотники, врывались в лес. По законам гостеприимства нас встречали самоварами и душистыми матрацами в теплых избах. С утра пораньше мы уходили на охоту и гоняли рябчиков и тетеревов. Вечером над грудой богатых трофеев мы повествовали

местным охотникам о стрельбе на стенде по тарелочкам. Хозяева с интересом слушали нас и не высказывали особой неприязни до тех пор, пока наш накопившийся за год охотничий инстинкт распространялся только на пернатую дичь. Но вот из леса мы приносили белку или барсука, и на лице местного охотника появлялась заметная настороженность. Дальше нам уже никто не показывал лесных троп, и мы становились чужими, пришлыми... Рябчики и тетерева были баловством в лесу, пушнина же называлась работой. Нам разрешалось баловаться, но отнимать у людей работу, видимо, было нельзя. Я еще не понимал этого и спешил обвинить местных охотников.

Тогда я еще не знал, что в настоящем лесу существуют свои законы и что по этим законам нельзя без разрешения пользоваться чужой охотничьей тропой.

Законы леса не ограничивались правом собственности на охотничью тропу. Многие из этих законов я уже мог назвать... Закон дороги — умный, талантливый закон доброго человеческого сердца. Был ли в дороге снег или дождь, а может, ты только устал, и тебе не надо сушить сапоги, и ты сыт и уже утолил жажду, но стоит тебе, человеку, прошедшему лесную дорогу, постучаться в первую дверь, как хозяин тут же пригласит тебя зайти, а хозяйка незаметно уйдет на кухню ставить самовар.

Рядом с законом дороги живут законы обещанного слова, законы выручки и памяти об ушедших в лес на промысел, живут законы чужой избушки, чужого склада на озере...

Я уже знаю о каждом складе в лесу. В складе могут быть сети, которые тяжело носить с отхожих озер в деревню и обратно, теплый ватник на случай холодной ночи, котелок, соль, нож, топор и даже ружье — и все

это остается там, в лесу, под берестяным навесом или под распадистой елью, ты все можешь найти, можешь воспользоваться, но только все положи на место. В складе порой хранится и небольшой запас продуктов, и даже сухие трубочки бересты для разведения костра, надетые пока на еловый сучок. Такой склад есть на Елемском озере — склад дедки Степанушки, склад на Долгом — Ивана Петровича, Федора Тимофеевича и дедки Писаря. Еще дальше, на Янцельском озере, есть склады Васьки и Ивана Михайловича...

В лампе догорают остатки керосина, время от времени лампу приходится покачивать, чтобы не высыхал фитиль, а я все брожу по карте от склада к складу, от имени к имени тех людей, которые совсем недавно жили в лесу.

Склады еще есть, но уже нет Ивана Петровича, тихого, умного старика. Старик знал, как делать легкие быстрые лодки, не боявшиеся никакой волны. Говорят, что Иван Петрович был удачлив на рыбу и легок на характер. Дедке Писарю на рыбу везло меньше. Вместо добрых лодчонок дедка оставил после себя память о неугомонном, ловком на выдумку и шутку человеке. И теперь, собравшись за ужином, мы нередко вспоминаем, как у Долгого озера дедка Писарь варил уху из большущего окуня. Писарь приготовил котелок, положил туда рыбину и принялся разводить огонь. Тем временем окунь выпрыгнул из котелка. Дедка не заметил пропажи, сварил уху и серьезно утверждал, что уха без рыбы была очень вкусная.

Из всех хозяев лесных озер сейчас остались только дедка Степанушка, Иван Михайлович и Васька. Васька ходил проводывать Домашнее озеро еще весной по тяжелой болотной дороге. Я знаю, что придут сюда и дедка Степанушка, и Иван Михайлович, знаю хотя бы потому, что не жить им без леса, как не смог жить на новом месте Федор Тимофеевич.

Федор Тимофеевич до прошлой осени был крепким, здоровым стариком. Он долго не соглашался покидать свою родину, долго не поддавался на уговоры родных и близких уехать из леса, но потом уступил и не протянул даже до весны.

Смерть Федора Тимофеевича может показаться сказкой тому, чья жизнь походит на жизнь залетных птиц.

Старик родился и вырос в лесу. Лес для него был домом, он никогда не покидал его, а если и случалось на время выйти из леса, то тяжело и долго болел душой по отхожим озерам. Старика похоронили там, где он должен был постичь новые законы нового для себя мира. Я видел его простенькую могилку на деревенском кладбище и очень верил тогда, что есть на земле такие люди, которые раз и навсегда выбирают себе только один мир, и этот мир диктует им свои условия...

Мир леса. Он жил сейчас рядом со мной. Он звал и отпугивал человека, который собирался первый раз вступить в него. Да, я собирался только вступить, только поглядеть и вернуться обратно, еще не зная, что лес умеет навсегда оставлять у себя людей. Это тоже было законом, самым жестоким и щедрым законом леса, законом, который, правда, касался не каждого человека, вошедшего в тайгу.

Лес и тайга — эти два понятия живут сейчас рядом со мной. Я знаю, что совсем недалеко, в Вологодчине, редко когда услышишь слово «тайга». В Вологодчине — лес, там меньше таежных троп, меньше охотничьих избушек, там чаще поселения и больше пустых, открытых мест, оставленных после себя леспромхозами. В Вологодчине редко скажут: «Горит тайга». Тайга может загореться в Сибири, на Урале. Тайга может гореть по Вычегде, по Северной Двине. И там, на востоке и на севере, редко когда услышишь слово «лес». Но сейчас рядом со мной и лес и тайга. Наши

телушки уходят в лес, рыжики и чернику мы собираем тоже в лесу, но за куницей охотники ходят в тайгу, и вокруг каждого отхожего озера в наших местах стеной сплошная тайга, не знавшая топора и громкого человеческого голоса.

Лес и тайга сразу, рядом, заставляют задумываться о том рубеже, который, очень может быть, и проходит через наше Домашнее озеро. Может быть, только сюда, к нашей лесной деревушке, и удалось добраться лесу. У берега озера лес остановился, задумался, как отправиться дальше, как перейти озеро. В раздумье лес возмужал, перестроил свои ряды и уже черной тайгой, настоящим лесом двинулся дальше, на север, оставив позади тонконогие березки и трусливые осины.

Раздумья о законах еще неизвестного мне мира. Лес и тайга, что сошлись к нашему озеру, и само ощущение границы, через которую надо переступить, снова возвращают меня к памяти о том, что я все еще нахожусь на рубеже двух миров. Сзади меня привычный мир, мир, в котором стихию уже научились покорять, а впереди за ночным окном — неизведанный, таинственный мир леса, мир, в котором природа не так уже редко диктует свои законы. В этом мире люди жили еще до меня, живут и сейчас, и мне предстояло сделать первый шаг туда, где начинается настоящий лес...

Глава третья

ПЕРВАЯ ТРОПА

Человек, первый раз вступивший в тайгу, чувствует себя на тропе не совсем уютно. Вместе с ним шагает и даже опережает его настороженность. Настороженность — это самое первое чувство, которым встречает новичка настоящий лес. Иногда может показаться, что ты вдруг раздвоился. И ты — один вот здесь, с мешком за плечами, а ты — другой уже впереди, уже успел заглянуть за следующий поворот лесной дорожки, успел узнать там ждущую тебя неприятность и даже испугаться... От ожидания неприятности становится чуть-чуть не по себе.

Вначале кажется, что неприятностей в лесу много. Кажется, что за каждым поворотом ждет тебя кто-то неласковый, негостеприимный и этот негостеприимный в отличие от тебя чувствует себя в лесу настоящим хозяином. Он знает все, все умеет, а ты пока ничего не знаешь и только ждешь и ждешь... Настороженность подогревается, взвинчивается неожиданными шорохами, скрипами, тресками. И все это, не дай бог, в густые осенние сумерки. Ты останавливаешься, крепче сжимаешь ружье и долго и беспокойно вглядываешься вперед, где только что кто-то простонал... Тишина, и в этой ждущей тебя тишине снова раздается стон... Шаг, еще шаг в сторону неизвестности, шаги неуверенные, опасливые, и наконец ты с облегчением опускаешь курок ружья. На минуту стало легче и проще: впереди стонала согнутая еще зимой береза. Береза согнулась под мокрым снегом и не смогла подняться — ей помешал еловый сук, — и теперь тоскливое дерево нет-нет да и напомнит о себе тихим стоном. И даже не

стоном, а всего лишь скрипом березового ствола по еловому суку...

Снова тропа, снова тишина, снова впереди тебя боязливо вышагивает твоя настороженность, и снова почти живой голос еще какого-нибудь незадачливого дерева остановит человека в его не совсем смелой дороге...

Постепенно голоса леса учишься понимать, не страшиться, не замечать их. Тропа раз от разу становится все спокойней, и ты, уже забывший свою настороженность, не всегда обернешься даже тогда, когда сзади тебя на тропу упадет тяжелый осиновый ствол.

Когда нет ветра, деревья в лесу падают не так часто. И только в бурелом грохот падающих стволов прокатывается над тайгой нескончаемой канонадой. От бурелома всегда надо быстро уходить. С первым треском покосившегося ствола надо бежать в сторону, на открытое моховое болото, и только оттуда можно спокойно наблюдать, как катится над тайгой взбесившийся ветер...

Вот бурелом ворвался в еловый остров, взвился и понесся в разные стороны двумя разящими языками... Куда разошлись языки бурелома, где прошел основной шквал, узнаешь уже потом по грудам наваленных друг на друга стволов: вершины упавших деревьев всегда покажут тебе, куда скрылся ветер.

Если шквальный ветер прошел и над твоей тропой, то на лесной дорожке остается непроходимый завал. Один, второй бурелом прокатывается над тайгой, на тропах тебя встречают новые завалы, и, каждый раз отмечая, в какую сторону падали деревья, ты постепенно узнаешь, откуда приходят в твой лес буреломы. И потом ты уже не ждешь треска покосившегося дерева, а знаешь наперед, что сегодняшней дневной ветер может разойтись еще

шире, а потому следует заранее выйти на болото: ведь как-никак ветер сегодня пришел именно с той стороны, откуда не так уж редко срываются буреломы.

Может быть, и медведь также по направлению ветра узнает о приближении лесной катастрофы? Не знаю, но знаю другое: медвежья тропа может заранее предупредить о неприятности. Если медведь вдруг покинул свою сухую лежку в еловом острове и отправился отдохнуть на моховое болото, жди бурелома.

Буреломы в лесу случаются редко, а в иной год их может не быть совсем. В такие тихие годы деревья падают поодиночке, и человек, идущий по тропе, может тогда немного пофантазировать. Когда в тайге тихо, когда ты один на тропе, то в голосе отжившего свой век дерева тебе вдруг послышится артиллерийский выстрел, треск падающей крыши или грохот авиационной катастрофы, если в твоей памяти еще живы воспоминания о чем-то подобном, пережитом в другом мире.

Сравнение неизвестного с известным тебе — пожалуй, это и есть тот самый рубеж, через который надо перешагнуть, чтобы почувствовать себя настоящим хозяином даже на ночной тропе. Хозяин — ты, а не зверь, не деревья и даже не буреломы. Ты — хозяин, а все остальные только у тебя в гостях, и эти гости очень считаются с тобой.

Долго быть гостем в лесу человеку нельзя. Тогда настороженность не покинет тебя. Она станет все больней и больней, наконец обернется просто трусостью и навсегда закроет неудачнику дорогу к лесным тайнам. А если и случится человеку, не победившему самого себя, остаться в лесу слишком долго, то нервы его взвинчиваются до предела, в каждом шорохе и треске ему чудится самое страшное, и жизнь превращается для него в тяжкое испытание.

Тогда скрип дерева может ожить настоящим плачем, а шорох ветра за окном может показаться шагами медведя или лешего, который тщательно проверяет твоё жильё, прежде чем открыть дверь... Вот медведь крадется вдоль стены, вот он ближе и ближе к двери, вот перешагнул через бревно, лежащее у входа в избушку. Вот-вот... Сейчас распахнется дверь... и встанет перед тобой медведь или косматый, костлявый старик... Зовут старика леший.

Мне приходилось слышать и о лешем, и о медведях, но даже на самой первой тропе я очень старался почувствовать себя в лесу настоящим хозяином.

Тогда я в первый раз уходил на отхожее озеро. Куда мне идти, решали сообща на вечернем совете. Собственно говоря, и не было никакого совета. Мы просто разговаривали о рыбе, о сетях, обсуждали последнее событие на Долгом озере, где громадная щука сокрушила сверхпрочную снасть Василия, и я осторожно заметил, что завтра с утра собираюсь идти в тайгу за рыбой. Никто вроде бы и не заметил моей фразы, никто не возразил и не поддержал моего решения, но разговор тут же изменился и незаметно перешел с озер и рыбы на стадо, на близкую осень. Пастухи упомянули волков, которые к осени становятся ходкими и могут принести беду, а потому, мол, теперь с каждым днем надо внимательней доглядывать за телушками...

Выслушав давно известные истины, я снова попытался вернуться к нужной мне теме, но снова потерпел поражение. Мое предложение отвергалось искусным невниманием.

Уже позже, когда долгие и внешне пустые переговоры с лесными жителями стали для меня обычным явлением, я не раз возвращался к тому вечеру, когда принял решение начать промысел рыбы. Безусловно, я мог бы ни о чем не докладывать ни Петру,

ни Василию, но неписанный таежный этикет требовал от человека, связанного договорными обязательствами с другими людьми, не только обосновать вслух свое решение, но и предоставить время другим участникам договора обдумать твои шаги и высказать собственное мнение.

Мнение пастухов расходилось с моим. Причин было две. Во-первых, я был нужен здесь, около стада, а во-вторых, ни одно из озер, кроме Домашнего, не принадлежало мне. Домашнее было общей, коллективной собственностью. А все остальные водоемы по старой памяти еще принадлежали бывшим жителям деревушки.

Я не буду сейчас останавливаться на причинах, породивших странную на первый взгляд собственность на воду. Эти причины достаточно весомы и были поняты мной несколько позже. Станным для меня в тот вечер было другое — пастухи никак не соглашались открыть дорогу в лес чужому, пришлому человеку...

Нет, это была не жадность — вряд ли кто из них претендовал на ту рыбу, которую я мог выловить, — скорее всего это была ревность, ревностное отношение к воде и лесу, которые принадлежали все-таки им, а не мне. Здесь прошла жизнь этих двух жителей леса, здесь жили их отцы, здесь каждая тропа, каждый камень около лесной дорожки, каждая низинка были их историей. А теперь посторонний человек собирался ступить на их тропу.

Как пойдет он по этой тропе, не разрушит ли то, что хранилось ими? Если бы здесь, в лесу, существовали письменные договоры, то мне, наверное, чтобы получить согласие Петра и Василия на первую тропу, потребовалось бы перечислить много пунктов добровольного обязательства. Но письменных договоров в лесу не существовало, а поэтому мне и пришлось встретиться не только с искусно отведенным

в сторону разговором, но и с именами тех людей, которые когда-то жили на этой земле...

Имена бывших владельцев отхожих озер перечислял Петр. Он делал это не торопясь, и мне оставалось время поразмыслить, следом за кем завтра утром пойду я по таежной тропе.

Я слушал Петра и видел рассудительных и неторопливых лесных стариков. У этих стариков были светлые глаза. Глядя на нового человека, старики обязательно прищуривали глаза и оттого казались немного насмешливыми. Но вот ты допускал оплошность, и взгляд бывшего хозяина твоей тропы тут же менялся, становился безразличным к тебе, старик отворачивался, и за этим безразличием виделась скрытая осторожность, очень похожая на то внешне беспричинное невнимание, с которым Петр и Василий встретили вначале мое решение пойти в тайгу.

Осторожность по отношению к чужому человеку проходила, если его истинные мысли становились известны хозяевам леса и если хозяева убеждались, что в этих мыслях нет ничего плохого.

В тот вечер Петр и Василий успели разобраться, что тянуло меня в тайгу. Видимо, мои цели не внушали им особого опасения, и под конец нашего долгого и сложного разговора я получил молчаливое согласие пастухов на свою собственную тропу и на свое собственное озеро.

Предъявить право на Янцельское озеро я не мог: у этого озера был здравствующий хозяин Иван Михайлович. Елемское принадлежало Василию и его отцу, дедке Степанушке, — это была семейная собственность. Долгое озеро, видимо, еще хорошо помнило Федора Тимофеевича, а потому было оставлено в стороне. Из всех ближних озер только Верхнее рассталось со своим хозяином сравнительно давно, оно-то и было единогласно передано мне.

Томительные переговоры закончились. Петр поставил на стол очередной чайник, стало легче и проще, будто и не было только что никакой сложности, а Василий тут же принялся перечислять мне все особенности Верхнего озера: наиболее добычливые места, затонувшие деревья, глубины... Рядом с профессиональными советами появились истории, сказки, легенды, принесенные оттуда, куда завтра утром собирался и я.

...Еще в утреннем тумане я отвел от берега лодку и попрощался с нашей деревушкой до позднего вечера. Густая роса и высокие теплые полосы ранних облачков обещали ясную, тихую погоду. Хорошую погоду обещали и гагары. Гагары стонали на озере только в случае явной опасности. Опасностью могли быть хищник или близкое тяжелое ненастье. Когда день обещал быть хорошим, сторожкие, угрюмые птицы вдруг подплывали к самой деревне и принимались оповещать нас своим звонким «ку-ку-вы» о завтрашнем солнце.

Вчера вечером гагары долго купались и кукувыкали около деревни. Погоду обещал и тихий малиновый закат. Такой закат называют ведренным. В огне его вечерних облачков никогда нет желтого, тусклого света, который обещает назавтра только сырое, тоскливое ненастье. Ведренный закат догорает спокойно и никогда не полыхает по небу огненными красками пожара, вслед за которыми обычно является долгий, несговорчивый ветер.

Ни ветра, ни дождя я не ждал. Лодка осторожно обошла отмель и, завернув за Острый Мыс, неторопливо потянулась в сторону Концезерья.

Концезерье было пристанищем для лодок. Моя лодка осталась на берегу, а я осторожно подходил к тому месту, где начинался лес.

Лес начинался двумя огромными елями. Эти ели, как ворота, отрезали собой владения человека и открывали владения другого хозяина — тайги. Около елей я остановился, откинул стволы ружья и опустил в них два пулевых патрона. Лес молчал. Шаг, еще шаг, и настороженное молчание тайги обступило меня со всех сторон. Я внимательно высматривал впереди себя лесную дорожку и все крепче сжимал ружье.

Молчание человека, вступившего первый раз на тропу, и ответное молчание тайги, казалось, доходили до предела и должны были вот-вот взорваться каким-то неожиданным звуком... И молчание взорвалось.

Это были рябчики — быстрый выводок рябеньких птичек разом сорвался с тропы и исчез среди еловых лап. Потом рябчики поднимались еще и еще, но каждая следующая стайка все меньше и меньше трогала меня.

Лесной остров кончился, и тропка выбралась на болото. Сапоги вязли в торфе, грязь вырывалась из глубоких черных ям и оставалась тяжелыми комьями на брюках и куртке, но мне было легко, легко от светлого, открытого места, где можно далеко видеть и все знать впереди. С болота не хотелось уходить. Но снова еловый остров, снова тропа среди косматых стволов, и на этой тропе — тяжелые следы большого медведя...

Медведь прошел только что. Это я узнал по тонким струйкам мутной воды, которая еще не до конца заполнила канавки, оставшиеся на глине от когтей животного. Я остановился. Молчание леса стало еще беспокойнее: медведь, грозный хозяин тайги, был где-то рядом... Где он? Впереди? Сзади?

Теперь каждый следующий шаг вперед я делал, неприятно ощущая близость могучего хищника. В голову приходили рассказы о подобных встречах, все истории, созданные устным творчеством лесных жителей и окрашенные подчас не слишком веселыми красками. Я готов был в любую секунду ответить

выстрелом и чуть было не спустил курок, когда из-под ног выпорхнул еще один выводок рябчиков... Тропа уводила дальше, медвежьи следы все так же тянулись впереди меня, но сам хозяин пока не появлялся.

До озера я добирался намного дольше, чем положено было на эту дорогу. Шелест тростника и легкое покачива-кие волны у высокого берега успокоили. Тростник и волны давно были знакомы мне. В их голосе тоже мог слышаться шорох крадущегося зверя, но я давно знал эти голоса и не вкладывал в них никакого иного содержания...

Старый плот уже не мог служить: его бревна набухли, потяжелели и с трудом держались на воде. Я валил сухие ели, рубил их на части и складывал на берегу. За елями приходилось подниматься в лес, я продолжал все так же беспокойно оглядываться по сторонам и только за стуком топора несколько забывал, что хозяин в тайге пока не я.

Шест уже не доставал дна. Я был один посреди озера, посреди тайги. Наверное, так можно было долго стоять и слушать тишину, видеть, как эта тишина медленно поднимается от воды по ветвям берез и, легонько коснувшись еловых лап, незаметно уходит навстречу другой тишине, тишине не очень далекого северного неба... Но в тот раз я не видел красоты берегов, не слышал торжественного молчания елей, я просто отдыхал после первой беспокойной тропы к озеру, отдыхал на воде, на время вырвавшись из тайги... Тайга громоздилась вокруг озера тяжелой темной стеной, и мне казалось, что она только и ждала того момента, когда я ступлю обратно на берег. Подплывать к берегу не хотелось.

С рыбой на озере оказалось плохо. Я объяснил свою неудачу несговорчивостью подводных жителей, которым, как всегда, помешала встретиться с рыбаком какая-нибудь неподходящая погода, и собрался в

обратную дорогу. Эту дорогу я хотел миновать еще засветло, но изготовление плота, поиски рыбы и ужин задержали меня. Сумерки опустились незаметно. Я торопился выбраться из леса, в темноте терял тропу, с трудом находил ее и старался думать только о той минуте, когда за моими плечами наконец останутся те самые ели-ворота, которые отпустят меня на свободу... Там я обязательно остановлюсь, облегченно вздохну и с жадностью затянусь табачным дымком, там сразу станет проще, там не будет частого, глухого ель-ника, не будет вывороченных корней, в которых при желании можно угадать любого лешего...

Но у ворот-елей мне не суждено было перевести дух. Перед самой поляной с тропы метнулся лось. Он испугался меня, долго трещал по кустам, я почти тут же понял, что это лось, но сначала неожиданный треск заставил меня вздрогнуть и тут же забыть о желании покурить на краю ночного леса.

Курил я уже на воде, постепенно отводя лодку от черных, угрюмых берегов. Когда ночные тени остались за кормой, я уложил на колени весло и долго пил воду нашего Домашнего озера... Я почти дома— сейчас поворот, другой, и можно будет увидеть огонек костра, разложенного пастухами. Я дома, но события дня все еще сопровождали меня. Где-то в лесу уже осталась часть моих чувств, что-то уже было отдано тропе, и пусть отдано не самое лучшее, но я был в лесу, и теперь этот лес все еще продолжал преследовать меня своим эхом. Эхо от удара весла по борту лодки, эхо от щелчка по спичечному коробку. Эхо ловило каждый звук, исходящий от меня, цепко держало его и долго носило над еловыми вершинами, оповещая тайгу о том, что в ее владениях находится человек, что он еще не ушел, что он — вот он, тут...

Дома я вытряс из мешка свой незадачливый улов, молча уселся за стол и как-то особенно уютно

почувствовал себя среди людей. На столе передо мной был чай, обычный крепкий чай, без которого не живут в лесу, я давно привык к нему, но сейчас он показался мне особенно вкусным и нужным для осознания до конца своего возвращения с первой лесной тропы.

О своих чувствах на тропе я молчал. Да, наверное, мой рассказ и не произвел бы впечатления на тех людей, которым сейчас, после чая, еще предстояло идти в ночную тайгу искать заблудших телушек. Они пойдут по одному в разные стороны, прихватив с собой только легкий батожок и, конечно, не взяв ружья. Да и зачем в лесу ружье, когда идешь не на охоту? Ружье тяжелое, его надо нести... Самозащита? Пожалуй, у этих лесных людей всегда была при себе лучшая гарантия от всяких неожиданностей на тропе — уверенное спокойствие.

Ко мне лесное спокойствие пришло не сразу. Я встретился с ним после многих ночных дорог, но оно осталось и позволило навсегда позабыть то тревожное чувство, которое не так уж редко опережало мои первые шаги по тайге.

Глава четвертая

КАРТА

Лося подняли сразу за деревней. Было раннее ноябрьское утро, утро первого глубокого снега. Снег падал и раньше, но не успевал закрывать всю землю, тут же таял, а если и задерживался ненадолго, то оставался лежать неширокими седыми пятнами...

Для охоты за лосем нужно ждать ровного белого покрывала, на котором и останется весь путь уходящего от человека животного. Но ровный глубокий снег — это малая часть успеха. Еще нужен ветер, холодный шумный ветер, который заглушит твои шаги и не позволит лосю заранее узнать о близкой опасности. Если первый глубокий снег и хороший ветер придутся на один и тот же день, то в этот день охотника может ждать удача.

Есть другая, более простая и менее зависящая от погоды охота за лосем, в такой охоте должны принимать участие хорошие собаки. Тогда достаточно знать место отдыха животных, привести туда собак и подать команду к началу охоты. Собаки молча скроются в зарослях ольшаника, найдут и поднимут лося и тут же оповестят своего хозяина о том, что лось есть, что он стоит на месте и никуда больше не уйдет. Задержать сильное, грозное животное, не дать ему уйти в тайгу до подхода охотника могут лишь очень смелые и толковые зверовые псы.

Мне посчастливилось знать только двух таких собак. Одна из них некогда принадлежала мне. Это была чистопородная западносибирская лайка, как скажут в лесу, собака хороших кровей. Лайку звали Буяном. Буян молча находил лося, отрезал ему путь к

отступлению и заставлял животное покорно дожидаться охотника. Каждый шаг лося в сторону воспринимался собакой как дерзкое непослушание. Пес хрипел, бросался к оторопевшему животному, казалось, вот-вот вцепится лосю в морду...

Но Буян ограничивался только грозным предупреждением, внимательно следя, как бы не попасть под удар копыта. Удар копыта передней ноги мог оказаться для собаки роковым. Это было страшное оружие лосей, которое хорошо знал даже сам хозяин тайги медведь. Острое, тяжелое копыто перерубало позвоночники, дробило черепа, и не одна слишком самонадеянная собака поплатилась жизнью за непочтительное отношение к лосю.

Работу другого пса-лосятника мне уже не удалось посмотреть. Пса звали Налеткой. Это была осторожная, податливая по отношению к людям деревенская собака. Кудлатая, постоянно в репьях, она мало чем походила на тех бойцовых собак, которые могли спасти жизнь охотнику, когда раненый медведь выбивал из рук ружье. Но в лесу Налетка преображался в грозного зверя, и не один лесной бык был остановлен им. О Налетке рассказывали много, но недавно пес оглох, и теперь его хозяин вынужден был отказаться от походов за крупным зверем.

Других хороших собак-лосятников мне встречать не привелось. Давно рядом со мной не было и Буяна, и теперь только снег, ветер да знание места были нашими помощниками в трудной лесной охоте.

Знание места я называл для себя знанием карты. Но это знание не было результатом изучения яркого листа бумаги, где рядом с названиями населенных пунктов, отметками высот и не всегда точными контурами озер иногда удавалось отыскать пунктирную линию лесной тропы.

У нас в лесу была своя собственная карта, и эту карту никогда никто не рисовал. Карта была в голове у каждого охотника, у каждого рыбака. Она была известна до малейших подробностей, и, может быть, именно эти подробности мешали нередко постороннему человеку понять ту дорогу, о которой рассказывал ему местный житель.

Подробности, которыми я обязательно украшу дорогу ну хотя бы на Красово озеро, могут напугать, а в лучшем случае показаться невнимательному человеку лишними деталями, или, как теперь принято красиво говорить, избыточной информацией. Но если человек, попавший в новые места, знаком с чувством познания, ему будет совсем небезынтересно разобраться, почему, что и когда было здесь, где сейчас встречают его только малопонятные названия озер, ручьев, выпасов и пожен. И если «почему?», «что?» и «когда?» найдут свои ответы, то даже простая история Часовенного озера может показаться бесконечно глубокой...

Часовенное озеро я видел всякий раз, когда направлялся на Красово. Это и было то самое озеро, которое встретило меня белым лебедем и глубокими всплесками больших сонных рыб. Часовенное открывалось сразу за деревней темной молчаливой водой. Эту грустную воду я узнавал всякий раз, поднявшись на холм, и мне верилось тогда, что это озеро лежит много ниже всех остальных озер... Высокие берега не казались высокими, казалось, не берега поднялись высоко вверх, а глубоко вниз опустилась сама вода. И эта опустившаяся далеко вниз вода и заставляла задумываться о чем-то большом, давно канувшем в небытие.. Наверное, такую же необычную воду видели здесь и первые поселенцы, и, возможно, именно поэтому на Часовенном озере и была поставлена когда-то маленькая деревянная часовенка.

До этого озеро называлось просто Темным в отличие от другого, Домашнего, светлого и веселого, где люди срубили свои избы. Название «Темное», видимо, было дано озеру по темной молчаливой воде, как были даны другие простые и точные названия Долгому ручью, Верхнему озеру и Черной лахте. Но с постройкой часовни прежнее название озера начало забываться, и теперь моя тропа к Красову обязательно проходила неподалеку от Часовенного озера.

Я шел дальше и почти всегда мысленно невольно обращался к тем строителям, которым, может быть, выпадет построить когда-нибудь на берегу бывшего Темного озера настоящий город. И тогда мне очень хотелось, чтобы ту улицу, которую проложат на месте сегодняшней дорожки к деревянной часовне, назвали сначала просто Часовенной, чтобы это название, пришедшее из глубины веков, заставило первых горожан внимательней посмотреть на воду озера, заставило понять, что эта вода совсем не похожа на воду других здешних озер, и, может быть, тогда люди внимательней отнесутся не только к самой воде, но и к вековым елям, которые плотной стеной окружают деревянную часовню... А когда город встанет, поднимется под крыши, когда кто-то из строителей или горожан уж очень отличится в служении своей земле, когда память и уважение к этому человеку будут настолько велики, что его имя по старым понятиям станет святым, пусть тогда, только тогда Часовенной улице дадут новое название... А уж если говорить начистоту, то во имя человека, ставшего для людей воистину святым, можно построить и еще одну, и самую хорошую, улицу, оставив прежние названия прежней истории.

Но не все прежние названия, наверное, имеют право на долгую жизнь. К таким я и относил название выпаса Новины. Когда-то это действительно были новые,

недавно отвоеванные у леса выгоны для скота. Но сейчас Новины постарели: дальше за ними лежат новые, более мо-лодые полосы — Угольные. Малое и Большое Угольные тоже имели свои собственные истории. Здесь сеяли овес, сюда по ночам выходили медведи полакомиться сочными метелками овса, здесь нередко раздавались охотничьи выстрелы, и на этих Угольных не один охотник знал удачу и встречал порой горечь досадных осечек и промахов.

Наши Угольные были в звучании именно «Игольными», а не «угольными», хотя на самом деле это был последний, дальний участок владения человека в лесу, последний дальний угол его хозяйства. По «углу» можно было и объяснить происхождение названия самих полян, если предположить, что первоначальник почему-либо недосмотрел и оставил в названии полян ударение на том же слоге, на котором оно стояло в слове «угол». Но, слыша раз от разу «Угольное», а не «Угольное», я захотел реабилитировать того человека, которого поспешно обвинил было в неграмотности. А что, если этот человек обладал тем тонким чувством звучания слова, которое помогло ему назвать лесной ручей ручием, а конец озера — Концезерьем? А что, если этот человек не мог согласиться, что рядом с Янцельским, Елемским и Гусельным будет жить такое слово, которое напоминало бы угольный дом или угольную избу? Да угольной избы и нет в лесу. Пожалуй, определение, относящееся к дому, стоящему на углу, никак не подходило мягкому лесному языку, который родился рядом с музыкой природы. В лесу есть крайняя изба, крайнее окно, крайняя баня, и имена этих крайних нехитрых сооружений звучат, на мой взгляд, намного веселей и потребней, чем «угольное» (хотя и очень красивое) здание...

Угольные оставались сзади, впереди тропа, но, не доходя до той осины, где Виктор Герасимов встретился

однажды с лосем, с тропы надо свернуть налево.

Встреча охотника с лосем, упомянутая мной, может показаться совсем неинтересной. Виктор просто пошел в лес за мясом, то есть на охоту за лосем, пошел без собак и в неподходящую погоду. Рассчитывать на успех он не мог, могло только повезти. И Виктору повезло — как раз около этой осины он и увидел лося. Добыть животное было нетрудно. Взведенный курок, выстрел — и оставалось только разделать тушу...

Разделка свежей туши в глазах многих любителей скромной пищи — работа несколько неприятная. Но человек, знакомый с работой мясника или охотника, хорошо знает, что первая операция, с которой и начинается изготовление сочных отбивных и ароматных шашлыков, — спуск крови. Тушу надо хорошо обескровить, иначе домашние хозяйки и посетители ресторанов отвернутся от такого мяса. Единственное орудие в этой операции — нож. Но у охотника, которому счастье неожиданно пришло в руки, ножа с собой не оказалось...

Еще до сих пор в лесных деревнях бережно хранится старый обычай — проводы в дорогу. Обряд, как правило, молчаливый. Главное лицо в совершении обряда — женщина: жена или мать. Без ее напутствия, без ее благословения, благого слова нельзя уйти из дому, нельзя переступить родной порог. Женщина должна отпустить с легким сердцем, и тогда даже самая трудная дорога будет у человека удачной.

Мать или жена отпускают просто. Вспомните сегодняшних себя, потомки вчерашних лесных людей. У вас добрая, беспокойная мать, у вас нежная, любящая жена, которая всегда поймет необходимость временной разлуки и никогда не оставит вам в дорогу небрежно брошенное слово. Тогда вы легко идете из своего дома, идете той дорогой, которая обязательно приведет вас обратно к близким людям... Вот вы собрали свой

чемодан, вот последняя минута, мать предлагает посидеть на дорожку, потом говорит: «Все». Вы тянетесь к ручке чемодана, но чемодан уже успела взять ваша жена. Она молча кладет вам руку на плечо и так провожает до самой двери и только там, вслед за последним «до свидания», отдает вам ваше дорожное имущество. Вас отпустили в дорогу, по-старому — вас благословили и дали вам с собой все необходимое. Это и есть тот самый обряд проводов, который мы, к счастью, не успели еще забыть в городской жизни.

Но ваш обряд не совсем полный. Свой чемодан вы обычно собираете сами. А охотничью котомку в лесу собирает та женщина, которой написано на роду провожать вас в лес. И вы не смеете спорить с этой женщиной, что взять или не взять с собой, не смеете отказываться от того, что положила в котомку она. Отказаться от поданного в дорогу у нас означает обидеть провожающих и потерять легкий путь.

В лес Виктора всегда провожала мать. Сборы проходили в молчании, и охотнику надо было ответить только на один вопрос: ночует ли он в лесу или вернется? Что и как положит в котомку мать, Виктор никогда не интересовался, он просто знал, что у него с собой будет все необходимое, чтобы пройти лесную дорожку. Но в тот раз мать почему-то забыла положить в котомку нож.

Вот и вся история, которую вспоминаешь мельком перед поворотом с лесной тропы к Красову озеру. История все-таки окончилась благополучно: охотник успел сбегать домой за ножом и не испортил мясо...

Пожалуй, все эти подробности и многие вроде бы незначительные мелочи и помогают держать в голове карту нашего леса. С такими подробностями оживает каждое болото, каждый выпас и выкос, каждое пристанище для лодок, каждый поворот лесной

дорожки, и чем больше ты знаешь, тем проще и легче шагать по лесу.

Сейчас я тороплюсь обойти ушедшего от нас лося, тороплюсь пересечь его путь. Под ногами снег, вязкий, глубокий снег, уже тронутый неожиданным теплом. Снег мешает идти туда, где будет ветхий мостик и где надо свернуть вправо с дороги. До поворота еще далеко, еще долго бежать к тому мостику, где Ваське однажды привиделся леший. Тогда Василий упал, вскочил на ноги, побежал и потерял по дороге шапку. Вспоминать шапку и лешего весело даже сейчас, когда так хочется остановиться и покурить. Потерянная Василием шапка, в которой и по сей день разгуливает по тайге леший, помогает забыть усталость, и дорога до ветхого мостика оказывается не такой уж долгой...

Лось не подпустил, поднялся и ходко ушел берегом ручья. Теперь предстояло обойти, опередить лося и ждать. Но для этого надо знать лосиную тропу и каждый остров в тайге...

Если брести по нашей тайге с юго-востока на северо-запад, то скоро заметишь, что твой путь то опускается вниз, в мокрые гнилые низины, то поднимается вверх и тянется тогда по черным мшистым ельникам. Эти ельники обычно сухие, они приподнимаются над низинами и называются островами. Часто за следующим островом вместо узкой низины тебя ждет широкое моховое болото. Такие болота поросли редкими кривыми сосенками, ярко оделись листом морошки и огоньками брусники и всегда кажутся очень светлыми и теплыми после мрачных еловых островов.

Почти все болота и низины будут пересекать выбранный тобой путь под прямым углом, и если ты выдержишь прежнее направление, то вскоре тебя обязательно встретит сухая тропа острова. Путь вдоль болота не так быстро приведет к сухому ночлегу.

Болото может стать глубже и зыбче и даже откроется черными опасными трясиными. Такие трясины надо уметь обходить. Когда трясины появляются все чаще, то скоро жди ручей, а следом за ним и озеро. К озеру еловые острова начинают подниматься, мужать, оставляя для воды глубокую темную низину — уйту. Таких уйт в тайге много, и по дну их и тянутся наши озера.

Озера вслед за низинами вытянулись с северо-востока на юго-запад. И если немного подумать, то можно догадаться о ледниковом происхождении этих озер. О леднике могут рассказать и камни, тяжелые лобастые валуны, разбросанные по тайге. Валун у нас много. Некоторые из них тоже хранят истории людей, смешные или грустные события, и по этим камням при желании также удастся отыскать нужный тебе путь.

Пробираясь между ними, вспоминаешь замечательные слова Гете: «Природа — это единственная книга с великим содержанием на каждом листе». Здесь, на таежных тропах, каждый день учишься читать эту книгу.

Каждый остров, каждое болото, каждая уйта не похожи на другие, в них постепенно начинаешь разбираться, как разбираешься в улицах и площадях города. Когда все тропы, острова, озера и болота станут известны тебе, ты можешь сесть за стол и нарисовать на листе бумаги карту своего леса.

Вот центр твоего лесного города — это деревушка на берегу озера. От площади — центра — расходятся две магистрали. Магистрали — это дороги, трудные лесные дороги. Обе они ведут к другим поселениям: одна — на восток, другая — на юго-запад по вершинам лесных островов.

Юго-западная дорога легкая, в конце ее тоже живут в лесу люди, и мне кажется, что эти люди нашли свою деревню только после того, как им наскучили берега

Домашнего озера. Об этом говорила дорога по вершинам островов; скорее всего она появилась вслед за человеком, который отправился когда-то из нашей деревушки искать новые места. Разведчику незачем было идти по дну уйты, незачем было месить болота, он искал сухую, легкую тропу и в конце этой тропы нашел для себя речку Окштомку... А может быть, все было и наоборот; может быть, люди пришли сначала на Окштомку, а уже оттуда отправились сооружать нашу деревушку. Но так или иначе о родственности двух поселений говорила сама лесная география.

Восточная дорога казалась мне проведенной позже, уже потом, когда на берегу озера поселились люди и когда потребовалось отправиться по делам к другим лесным жителям, оказавшимся неподалеку. Восточная дорога была труднее, и всегда верилось, что ее проложили только по необходимости.

Рядом с лесными магистралями разбегались в тайгу радиусы троп. Тропы кочевали по уйтам и островам в поисках озер или зверя, где-то дальше между двумя тропами прокладывалась третья, и тогда человек, ушедший в лес, мог возвратиться обратно по новой охотничьей тропе.

Тропы и дороги раздвигали лес, делали его светлей и ближе и приводили тебя к тому чувству, которое испытывает человек, хорошо знающий свой город. По знакомому городу просто и спокойно ходить, оставаясь один на один со своими мыслями. В таком городе всегда знаешь, где свернуть, чтобы побыстрее пройти к интересующему тебя месту, чтобы побыстрее встретиться с интересующим тебя человеком...

Сегодня в тайге нас интересовал лось. Мы не очень напугали его — мы только заставили подняться с лежки и теперь хорошо знали, куда лось пойдет, знали ту уйту, в которую он спустится, знали и тот остров, вдоль которого животное двинется дальше; этого лося мы

знали давно. И теперь нам предстояло обойти, опередить лося в том городе-лесу, который мы тоже неплохо знали.

Глава пятая

ОЗЕРА

Я всегда верил, что у каждого лесного озера есть свой собственный характер. Цвет воды, берега и даже солнце, уходящее по вечерам за бахромой елей, у каждого озера были только свои. Своими были и ветры. Тупому дневному шквалу, явившемуся с востока, или рваным безумным торокам^[1], примчавшимся с запада, каждое озеро отвечало своей волной, своим голосом. Когда ветры уходили, терялись в еловых островах, озера стихали и оставались наедине с таежной тишиной. И даже эта тишина была у каждого озера особенной.

Цвет воды в озере определялся его глубиной, составом дна и высотой берега. Неглубокие озера с чистым песчаным дном казались светлыми. У таких озер были невысокие приветливые берега. Низкие берега не всегда защищали воду от ветра, но ветры на открытых светлых озерах никогда предательски не крутились, шквал и волны всегда катились здесь в одну и ту же сторону, и рыбак мог заранее предвидеть неприятности. На таких озерах было просто даже в самую тяжелую волну, просто оттого, что ты издали видел каждый спасительный поворот берега и хорошо знал, откуда свалится сейчас на тебя крутой пенный вал.

В летнее время ветры над озерами задерживались недолго, они быстро уставали баламутить воду, стихали, а следом за ними успокаивались и светлые озера.

Светлые озера были отходчивыми, и их характер чем-то походил на характер крепкого лесного старика,

что добро встретит тебя с дороги, напоит чаем, молоком, выложит на стол пироги, внимательно выслушает, приготовит постель, пожелает на завтра легкого пути, а то и проводит тебя до начала тропы... Проводив тебя, старик вернется домой, прихватит весло, кошелку, топор, еще что-нибудь, что может пригодиться в дороге по озеру, все это старательно разложит в лодчонке и отправится выбирать сети.

Сетей у старика не много. Когда не мешает ветер, поднять их просто. Но когда ветер уж чересчур разойдется, когда неудобная волна да еще дождь и нет рыбы, старик может вернуться домой хмурый и тяжелым, как наше Домашнее озеро перед непогодой. И не дай бог досадить старику шуткой или обидой...

Но на Домашнем озере не бывает долго крутых волн. Ветер всегда обрывается вовремя, и озеро быстро отходит, успокаивается. Полчаса, а то и меньше — и к Домашнему озеру, и к старику уже можно подступиться, можно спросить у старика заплечник, весло и даже лодку. Старик поднимается с лавки неохотно, но все-таки поднимается, пойдет и уже без всякого сердца отдаст тебе все. Так и наше озеро всегда отдаст много рыбы после тяжелого густого ненастья.

Я люблю наше Домашнее озеро, люблю его свет, волну, ветер, люблю косые стены тростника, туман и даже тоскливые голоса гусей, улетающих на юг. Я люблю его спокойную тишину, ласковую тишину родного дома. И всякий раз, возвращаясь из леса, с других, глубоких и темных, озер, я все ясней и ясней понимал, что люди, построившие деревню, пожалуй, выбрали в тайге самое приветливое, веселое место.

Вернувшись из тайги, мы всегда пили нашу легкую, вкусную воду. Сначала мне казалось, что пить воду Домашнего озера было просто древним обычаем — обрядом «возвращения домой». Но после дороги по

тайге действительно хотелось утолить жажду. И, отведя от берега лодку, я всегда подхватывал глубоким берестяным черпаком сразу много-много воды. Вода приносила с собой бодрость и была необычайно приятной на вкус. Приятную воду можно было легко и много пить. И пожалуй, та легкость, с которой ты выпивал полный черпак вкусной воды, и та особая бодрость, которая наступала после этого черпака, дали людям право приписать воде Домашнего озера особые качества.

Другой такой воды я не встречал в тайге. Постепенно я начинал понимать, что качества ее не были результатом внушения, особого убеждения, которому поддавался человек, увидевший наконец родной дом. Я стал внимательней пить воду в других таежных озерах и ручьях и скоро убедился, что каждая вода отличается своим собственным вкусом... Если ручей пробирался к озеру среди еловых корней, то вкус его воды напоминал ягоду черники. Такую воду можно было согреть на костре и пить вместо чая. Запах черники переходил от ручья и к озеру, куда впадал ручей, и тогда озерная вода тоже хранила память о ягоде елового острова. Если ручей приходил к своему озеру через моховое болото, то озеро могло напомнить тебе о красных огоньках брусники. Вода мохового болота была мягче на вкус и никогда не приносила такой бодрости, как вода ручья, пришедшего из елового лога.

Часто лесному озеру не удавалось долго сохранить вкус той воды, которую принес ручей. В мелких водоемах с вязким торфяным дном к вкусу ягоды почти тут же примешивался запах гнили, а высокие крутые берега глубоких черных озер несли в эти озера после каждого дождя запах давно опавшей шишки и прелого осинового листа.

Но у Домашнего озера было чистое песчаное дно и невысокие светлые берега, а единственный ручей, приходящий сюда, — Щучий ручей — звенел по ягодным местам и приносил с собой яркий запах черники. И эта свежая бодрость черничного листа сходилась в нашем озере еще с одним ароматным запахом — запахом земляники...

Раньше я был уверен, что на Севере в тайге нет сложных запахов, нет букетов, на Севере, считал я, есть только потоки запахов. Эти потоки всегда чередуются, а если и сходятся ненадолго, то лишь для того, чтобы снова разойтись. И по этим потокам заранее узнаешь, что ждет тебя впереди: еловый остров, моховое болото или цель твоего пути — озеро.

Запах елового острова чуть мокроватый, но свежий и крепкий, настоящий на смоле и жесткой хвое. Запах мохового болота всегда мягкий и теплый от веселых сосенок, горячего торфа и открытого пространства. Запах болота всегда зовущий и таинственный. Таинственность живет в нем от того скрытого и не очень известного, что неверно покачивается у тебя под ногой.

Потоки запахов северного леса всегда прямые и четкие, здесь всегда есть что-нибудь одно: либо ель, либо мох, либо вода. Пожалуй, эта резкая четкость потоков тоже помогала представлению об особой строгости северной природы.

Но Домашнее озеро удивило меня букетом запахов. Рядом с запахом черники жил и приятно дополнял его аромат земляники — ягоды открытого приветливого пространства. И эта самая земляника заставила меня понять еще одну деталь жизни людей в лесу...

Человек, пришедший в тайгу, наверное, не мог жить среди стволов, он должен был видеть и знать все вокруг. И пусть желание знать все вокруг было продиктовано когда-то только стремлением огородить

себя от неожиданного нападения врагов. Но однажды врагов не стало, очищенное от леса пространство родило хлебороба и пастуха, а когда-то опасливое желание заранее узнать об опасности обернулось для людей великим достоянием — умением искать и предвидеть... Но до этого человек создал вокруг своего первого поселения свой собственный открытый мир. Открытое пространство принадлежало только человеку, и оно жило по своим собственным законам даже тогда, когда вокруг людей грозным кольцом стояла черная суровая тайга. И наверное, еще очень давно, отыскав на своей первой вырубке маленькую душистую ягоду землянику, человек радостно улыбнулся ей. Земляника была первой наградой за победу людей над лесом. И маленькая беззащитная ягода смеялась над суровыми законами тайги: навстречу прямым, упрямым потокам с болот и еловых островов она принесла нашему озеру первый ароматный букет запахов.

Земляника стала миром человека. Но первый собственный мир вокруг деревушки оказался мал людям. Нет, этот мир еще был богат, как богато еще и сейчас Домашнее озеро, но желание знать дальше, выросшее из вчерашней осторожности, звало на таежные тропы...

Я хорошо знаю наше озеро. Знаю все его отмели и луды, косы и мысы, знаю каждую затонувшую корягу, каждый подводный камень, могу неплохо ловить рыбу и здесь, никуда не ходить, но не ходить не могу — ведь там дальше, в тайге, есть другие отхожие озера. «Отхожие», видимо, происходит от слова «отходить», уходить от известного, от своего Домашнего озера. И мы изменяем родной воде, изменяем все: и я, и дедка Степанушка, и Иван Михайлович. Мы идем по тропам через болота, устаем под тяжестью нош, но все-таки идем и идем подчас к менее богатой добыче. Мы

оставляем светлое, веселое озеро ждать нас и идем к другим глубоким и не до конца известным озерам.

Если у неширокого озера глубокое дно и высокие тяжелые берега, то такое озеро очень часто бывает черным. Нет, вода в этих озерах ненамного темней, чем в других, светлых водоемах, и если бы дно черного озера не уходило от самого берега так далеко вниз, то в этой воде можно было разглядеть все затонувшие деревья. Но не только глубокое дно создавало иллюзию ночи. Пожалуй, чернота воды зависела еще и от высоких угрюмых берегов.

Я мысленно раздвигал берега Долгого озера, убирал ели, тогда озеро оборачивалось тихой рекой с задумчивыми омутами. Такие омуты я видел на южных реках, по ночам в них возились ленивые грузные сомы, а утром над выкошенными лугами высоко поднимались в серебряной росе бесчисленные стога душистого сена...

На Севере редко когда встретишь лесную речушку, по берегам которой высится много-много стогов сена. Сено в лесу достается трудно, порой люди довольствуются одним-единственным стожком с небольшого пятка земли, и эти небогатые северные покосы и остановили мою фантазию... К Долгому озеру подходили только его берега. Все остальное было неуместным здесь, в северной тайге. Когда-то тайга и вода сошлись вместе, чтобы найти ту гармонию, которая и сегодня учит нас правильно подбирать рамки для искусственно созданной красоты... Крутые берега подчеркивали и без того глубокую воду Долгого озера, а глубокая, будто сдавленная берегами вода помогала, в свою очередь, этим берегам стать еще выше и угрюмей. По-другому в природе, пожалуй, и не могло быть, как не могло быть по самой природе у мелкого, а оттого и светлого озера глубоко падающих на дно берегов: ведь в мелком озере берегам некуда далеко

падать. А если когда-то черному озеру и приходилось стать светлым, неглубоким, то следом за ним менялись и берега: они размывались водой, ползли вниз, опускались, и рядом с этими уже невысокими берегами начинало ласково и уютно светиться в тайге какое-нибудь Тимково озеро.

На Тимковом озере можно было отдыхать, отдыхать от ветра и волн Долгого озера. Долгое же было суровым рабочим озером, здесь можно было только работать, работать трудно, среди волн и неверных, кривых ветров.

Высокие берега Долгого озера никогда не разрешали ветру свалиться на воду ровным, прямым шквалом. Шквал натыкался на еловые вершины, взвивался, скручивался и падал вниз безумными, беспутными тороками. Торока падали на озеро один за другим, рвали воду, тащили из стороны в сторону включенную волну и нещадно трепали утлое суденышко. На Долгом озере никогда не было слишком высокой волны, она не грозила захлестнуть лодку, но такая неверная волна изводила рыбака больше, чем крутые, упрямые валы.

Шквал уже успел пронестись над вершинами елей, уже замолкла тайга, но торока и кривые волны еще долго блуждали от берега к берегу, скрывались за поворотами и снова и неожиданно являлись перед тобой как раз в тот момент, когда ты успевал забыть о них.

На Долгом озере я нередко уставал и тогда отправлялся отдохнуть на Тимково. Путь к Тимкову озеру лежал по мелкому, заросшему ручью; этот путь приходилось проделывать с шестом в руках, но усилия, затраченные на дорогу, щедро окупались тишиной светлой воды...

Тимково больше походило на круглый пруд, этот пруд несколько отдавал запахом торфа, пить такую

воду не хотелось, но эта вода все-таки казалась светлой. Свет приходил к озеру от неглубокого дна и уютных низких берегов. Пожалуй, природа позаботилась на этом озере об особой тишине. Наверное, природе показалось, что таежные, пусть даже низкие берега будут не вполне соответствовать веселым краскам воды, и она мудро разделила светлую воду и темные ели широкой зеленой рамкой травы... Озеро уже зарастало, но еще светилось, на его тихой воде можно было долго оставаться неподвижным и слушать тишину.

Тишина лесных озер никогда не была пустой, она тоже была окрашена в самые разные цвета, но эти краски приходили к тишине воды не только от глубины водоема или высоты берегов, скорее всего они были найдены здесь самим человеком. И наверное, ради такой тишины рыбак, облюбовавший то или иное озеро, переживал долгую непогоду и мирился с мучительными безрыбными днями, когда волна на много суток закрывала дорогу на озеро...

Сейчас та частная собственность на озеро, о которой я недавно говорил как о загадочной лесной тайне, оживала для меня одной вероятной разгадкой.

Дедка Степанушка ходит только на Елемское озеро. Озеро глухое и темное. Его берега выглядят сумрачно и неприветливо. К ночи эти берега совсем опрокидываются над водой. Но если развести огонь, то тайга немного отодвигается и так стоит, прислушиваясь к каждому твоему движению. Кажется, что в этой тайге тебя всегда что-то ждет. Но это ждущее совсем не страшное, а сказочное и необычайное, как лесные легенды о кладах и Чертушке. Наверное, именно здесь, на берегу Елемского озера, в стороне от дорог и троп, и могут подойти к ночному костру настоящие лесные сказки. Такие сказки мне рассказывал дедка Степанушка. Мы встречались с ним на развилке двух

троп, вместе возвращались домой, и я почти всегда слышал от дедки новые лесные истории. Не знаю, но, может быть, та самая сказочная тишина и звала старика к Елемскому озеру...

В конце каждой недели, в субботу, я жду из тайги Ивана Михайловича. Не думаешь: а вдруг не придет, а вдруг завтра с утра идти самому искать чужого тебе человека... Наверное, не было бы жизни в тайге, если бы так хотя бы только думали...

И конечно, к вечеру лодка. Еще далеко, еще не видишь, кто, но никого другого не может и быть — туда уходил только он. Лодка мелькает, тычется в волну, появляется с другой стороны вала. Лодка не торопится, крутится около камней — старик ведет дорожку, хочет поймать щуку, свежую щуку на сегодняшний пирог... Неужели не хватило ему Янцельского, не хватило волн и ветра там? Янцельское — не Домашнее. На Домашнем выйдешь всегда, всегда пробыешь волну. Там — нет. Там ветер запирает пристанище, и толкнутся в курной избушке пустые безрыбные дни. В безрыбные дни Иван Михайлович вяжет сети и ждет, когда озеро опомнится и, будто извиняясь за безумие, щедро наградит рыбака...

Лодка подается из волны и выгоняет на песок тонкую ленивую волну-блин. В лодке — мешок с сухой рыбой, весло, палка-батожок и только что пойманная щука... Лицо у рыбака обросшее, темное от недельной копоты, ворот распахнут, от тела пар. Пар после весла, волн и осеннего холода.

На столе — чай, уха, свежий пирог с рыбой, пирог вкусный, пропитанный соком... И рядом со всем этим домашним и простым — Иван Михайлович, спокойный и крепкий, умеющий ждать, ждать и все-таки победить даже Янцельское озеро.

О волне и ветре Иван Михайлович не говорит, он вспоминает сейчас только раннее утро, когда не было

никакого ветра, когда на луде хорошо шел окунь и когда само утро было тихое и совсем розовое.

Наверное, тишина такого утра, которое после нескольких дней шквала вдруг принесло рыбаку удачу, могла показаться даже крепкому, терпеливому человеку именно розовой...

Свою первую тишину воды я встретил на берегу небольшой северной реки... Река с трудом выбиралась из болот, долго тянулась вдоль хмурого, сырого ольшаника, потом накапливала силу и не очень громко перекачивалась через порог. Порог оставался выше моего костра. Река еще не успела отдохнуть после встречи с зелеными лобастыми камнями и медленно, почти незаметно текла мимо моей стоянки дальше, к следующему порогу. Там она снова собирала силы и снова тяжелыми упорными струями побеждала камень.

Дымные меткие языки костра высоко поднимались над котелком, их становилось все больше и больше, им уже тяжело было стоять над огнем, и они сутулились и медленно стекали вниз по берегу к воде и задумчиво застилали, затягивали эту воду и низенькую деревянную часовенку... Часовенка, поседевшая от времени и ветров, тоже, наверное, устала и сегодня опустилась на сонную воду тихим, задумчивым отражением. Вот еще немного — и белесые языки качнут медь колокола, и тогда над вечерней водой незаметно разольется спокойный серебряный голос...

Там, у порога, была очень тихая тишина. Она казалась окрашенной в спокойный, ровный цвет. Этот цвет не мешал глазам, не заставлял задумываться: какой он? Он просто был и остался для меня чистым и белым. Тишина у речного порога была тишиной отдыха, тишиной покоя после долгого и не очень верного пути, когда хочется одного — лечь в чистую постель, закутаться в мягкое одеяло, не думать о завтрашнем дне, а только слушать теплую добрую сказку, в которой

все-все здорово получается... Но сказочного сна пока не хотелось, и я ушел дальше к ветрам, волнам и хрупким вертявым лодчонкам, оставив порог встречать других людей и немного успокаивать их перед дальней дорогой.

Вспомнив о белой, не удержавшей меня тишине, я снова возвращаюсь к Ивану Михайловичу, хозяину Янцельского озера. Человек этот стал для меня в тайге больше чем просто напарником в промысле. Порой уважение к нему переходило в хорошую зависть, и тогда я ловил себя на том, что брожу по тропам как бы вслед за этим по-своему талантливым человеком...

Я завидовал не только умению Ивана Михайловича сделать замечательную лодку или насадить топор так, что топорище придется как раз тебе по руке, а сам топор даже в сухую жару не качнется на березовой рукоятке. Наверное, больше всего меня привлекали его прямые и ясные суждения о многом, что не входило в перечень объектов лесного промысла. Именно от Ивана Михайловича услышал я о розовой тишине Янцельского озера и о легкой воде Домашнего. А когда вслед за Янцельским Иван Михайлович назвал еще одно интересное отхожее озеро, я, конечно, не преминул заглянуть туда.

Это было Окштомское озеро. Оно открывалось после Долгого ручья большим круглым зеркалом холодной воды. Озеро было удобным для любого ветра. У него не было теплых, ласковых берегов. Строгие, изящные ели подчеркивали холодную красоту воды, и даже лилии всегда казались здесь ледяными. Но озеро все-таки тянуло к себе, сюда хотелось прийти рано утром и долго сидеть в лодчонке посреди зеркальной воды. Эта вода никогда не встречала тихим, приветливым голоском утренней волны. Она или молчала, или взрывалась сумасшедшими гребнями, и ты, забывший

внимательно посматривать на небо, порой жестоко расплачивался за свою беспечность.

Путь к озеру был нелегким. Долгий ручей не доходил до Окштомского озера открытой свободной водой. Еще задолго он терялся в траве, и, прежде чем увидеть желанное озеро, приходилось долго и мучительно пробивать эту траву.

В траве под лодкой почти не было воды, но выйти из лодки не удавалось: все качалось и тянуло куда-то вниз. Шестом я пытался отыскать там, внизу, хоть что-нибудь твердое, но уставал, садился и тянул, тянул на себя ломкие стебли. Стебли и листья часто были острыми. После такой дороги руки всегда саднило, дергало по ночам. Но трава была не последним препятствием на пути к Окштомскому озеру — в траве тут же сваливались на тебя хищной, тупой ордой комары. Полчища, легионы серых пигмеев съедали лицо, руки. Мази и жидкости не помогали: пот тут же смывал химическую маску. Химия попадала в глаза, от нее белели губы, облезали, покрывались трещинами, и тогда хоботки комаров впивались еще глубже...

Трава оставалась позади. После тяжелой дороги озеро останавливало и завораживало яркостью, и тогда я невольно вспоминал, что любая красота всегда таится за семью замками...

Окштомское озеро надолго не задержало меня. Я бродил по очереди ко всем озерам и, возвращаясь из тайги, часто ловил себя на мысли, что где-то там, далеко, и на этот раз осталась не найденная мной особая тишина... В тайге бушевало лето, зеленое поющее лето Севера, поющее и днем, и белыми ночами. В такие ночи почти на всех озерах одинаково хорошо ловилась рыба. В легком ночном тумане крупные мокрые рыбины поблескивали черненым серебром и оттого казались особенно тяжелыми. Я складывал их в берестяной заплечник, возвращался домой с богатым

уловом и тогда не так остро осознавал, что все озера открыты еще до меня, и даже как будто примирился с тем, что хожу по тайге вслед за бывшими здесь людьми, пользуюсь их тропами, что мне самому вряд ли удастся проложить свою собственную лесную дорожку.

Приближалась осень. Тайга отшумела и приготовилась встретить заслуженные яркие краски. Я по-прежнему бродил к своему Верхнему озеру, по-прежнему отмечал, что эта вода никогда не знала ни бурь, ни глубокого спокойствия и что ночной костер на берегу никогда не горел здесь так таинственно и осторожно, как полагалось ему гореть рядом с настоящим сказочным озером. Казалось, у Верхнего озера не было никаких тайн, но я продолжал навещать его, и раз от разу неприметная таежная вода становилась для меня глубже и богаче. Я знал теперь, в какое время появятся у поверхности стаи плотвы, где и когда начнут свою охоту окуни, как ляжет туман у Длинного мыска перед завтрашним ясным днем и какая ель упадет в воду в следующий бурелом... И когда я не был на Верхнем озере, смутное, но уже беспокойное чувство заставляло вспоминать плот, оставленный на берегу, сегодняшний закат, который опустился на воду без меня, низкий вечерний туман, что вот-вот выползет из устья ручья и медленно потечет к моему кострищу. Утром туман растает, уйдет и на голубую воду упадет рядом с моим плотом желтый березовый лист.

Вода в Верхнем озере действительно была голубая. Вот и сегодня голубой цвет расплывается вокруг зрелой, уверенной чистотой крепкого сентябрьского утра, легко поднимается вверх и встретится там с другим голубым цветом — цветом близкого северного неба...

Так и появилось в тайге мое собственное озеро, появились тропа, мой плот, навес для снасти, кострище и даже берестяные трубочки, приготовленные для

следующего костра и надетые пока на сухие еловые сучки... Там у вечернего костра я часто провожал окончившийся день, обдумывал свои завтрашние шаги, вспоминал встречи и неудачи и очень верил, что эти встречи и неудачи не пройдут для меня бесследно. А когда случалось рассказывать кому-нибудь о своем Верхнем озере, я обязательно упоминал в разговоре об особой легкой тишине, окрашенной в прозрачный голубой цвет.

Глава шестая

ОТПУСК

Дорога с Домашнего озера на восток называется «дорогой к людям». Когда-то и обратная дорога называлась так же. Но сейчас, когда люди переселились с берегов светлого, веселого озера, дорога с Домашнего озера стала называться «дорогой в лес».

Эту дорогу я прошел уже много раз. К людям меня вела необходимость получить письма, закупить продукты и просто поговорить с живыми людьми после долгого лесного одиночества. Обратно в лес я возвращался работать: охотиться, пасти скот, ловить рыбу... И всякий раз, собирая рюкзак, я хорошо видел перед собой всю дорогу, которую мне снова предстояло пройти.

Я мог бы рассказать об этой дороге с мельчайшими подробностями, но многие интересные детали всегда терялись, уступая место тем трудностям, которые приготовлены в пути человеку, несущему за плечами не один пуд груза... Такой груз за плечами принято называть ношей. Ноши могут быть великими и малыми. Малые ноши обычно не заслуживают внимания. Мешок весом до шестнадцати килограммов называется просто котомкой, и с такой котомкой можно сбегать с Домашнего озера к людям и обратно обыдень...

«Обыдень» в лесном словаре означает «отрезок времени, не выходящий за рамки одного дня». «Днем» в русском языке называется светлое время суток. Летом на севере светлой может быть и ночь, и тогда для наших мест более правильно определить день как расстояние между утром и вечером. Для человека,

собравшегося в дорогу к людям, утро в лесу начинается после выгона стада, завтрака и проверки сетей. Только что пойманная рыба укладывается в котомку и называется гостинцем, который нужно будет раздать родственникам. Когда родственников набирается много, вес гостинцев может и перевалить за те шестнадцать килограммов, которым положено отличать котомку от более весомой поклажи. Но рыба, приготовленная в подарок, даже в этом случае не считается ношей... Человек накидывает на плечи лямки мешка, перетягивает их на груди прочной веревкой и торопится в дорогу, чтобы вернуться обратно еще до того, как стадо успеет нагуляться. Сытые голоса стада и определяли для нас северным летом понятие вечера. Вечер обычно начинался в шесть-семь часов, и к этому времени пастух обязан был попасть обратно в лес, чтобы встретить и загнать на ночь телушек.

Итак, путнику оставалось на дорогу к людям, на свидание с родственниками, на посещение магазина и почты, на сборы и обратный путь всего девять-десять часов. Магазин, почта, обмен новостями с близкими людьми, чай с дороги и обед перед возвращением в лес отнимали порой два-три часа. Подсчитывая часы, которые оставались только на перемещение по лесной дороге, я невольно вспоминал книгу Пьера Пфеффера «Бивуаки на Борнео», где французский натуралист рассказал всему миру о коренных жителях острова — пунах.

Пунаны живут в лесу и ко временам Пфеффера из всех достижений цивилизации успели познакомиться лишь с клочком материи для набедренной повязки и фирменными сигаретами, которыми угощал их неутомимый путешественник. На привалах пунаны не отдыхали, как положено отдыхать с точки зрения европейца, на привалах пунаны выпрашивали у своего хозяина сигареты и жадно курили. Курить после часа

трудного пути, когда ходуном ходила грудная клетка и пересохшее горло могло требовать только воды и воды, Пфефферу казалось чуть ли не безумием.

О жителях острова Борнео знает теперь весь грамотный мир. Я тоже слышал и о Пфеффере, и о пунахах, но был неожиданно и приятно удивлен, когда познакомился с человеком, который вырос на лесных дорогах России... Бывший солдат Советской Армии, рядовой запаса, работник совхоза, талантливый охотник и везучий рыбак. Имя этого человека — Василий Герасимов.

Василию, или по-лесному — Ваське, оставалось на дорогу к людям и обратно к стаду на Домашнее озеро всего семь часов. За плечами удобно укладывалась пудовая котомка, и с этой котомкой Василий за семь часов преодолевал расстояние в пятьдесят километров: двадцать пять — к людям и столько же почти — тут же обратно. Пройти с небольшой ношей вот эти самые пятьдесят километров за шесть-семь часов и называлось в лесу «сбегать к людям и вернуться обратно обыдень».

Василий Герасимов не был профессиональным носильщиком, и, наверное, поэтому он никогда не отдыхал в пути. Правда, Василий курил не фирменные сигареты, а махорку или «Север», но курил он только на ходу. Обратно в лес кроме сахара, чая, крупы и ответных гостинцев Васька приносил еще почту и газеты. В этих газетах никогда не писали ни о Пфеффере, ни о пунахах. Василий не подозревал о своих рекордах и на всякий случай принимал иногда перед дорогой стакан крепкого вина. На мой взгляд, Ваську отличало только одно-единственное качество: он умел талантливо и верно дышать даже тогда, когда за плечами была не котомка, а настоящая увесистая ноша.

Теперь для той международной федерации, которая утверждает мировые рекорды по выносливости, мне хотелось бы добавить, что Василий Герасимов не был в лесу счастливым исключением. Герасимовых в нашем лесу много. Это большой, широкий род, который близко смыкается с родами Зайцевых, Парниковых, и дедка Степанушка тоже принадлежит к этому роду. Дедка — отец Василия. У Василия есть еще тетки: Анна, Матрена, Клашуха, — и все эти, на наш взгляд, старики и старухи не так далеко отстают на лесных дорогах от своего талантливого родственника.

После утверждения мировых рекордов, которые жители Архангельской области каждый день устанавливают на лесных дорогах, мне хочется сделать еще одну заявку, и если не на золотую медаль, то уж по крайней мере на одно из призовых мест, которое по праву должны занимать славяне, знающие жизнь один на один с природой...

О североамериканских индейцах ходили и до сих пор, волнуя воображение людей, ходят по свету настоящие легенды. Умение знать природу так, как знали ее свободные индейцы, восхищает и сегодняшние умы, изощренные великими открытиями...

Дорога в лес, к Домашнему озеру, начиналась с Менева ручья. Правда, еще до ручья приходилось не раз перепрыгивать через глубокие черные ямы — лывы — и не раз осторожно перебираться по тонкому березовому стволику через торфяную грязь. Но Менов ручей все-таки был владением человека — частые и свежие следы резиновых сапог на дороге еще мешали осознать, что ты уже вступил в лес.

За Меневым ручьем следы людей попадались реже. Их пересекали дороги лосей, а то и сопровождали до Соболей пашни ясные отпечатки широких медвежьих лап.

Соболья пашня лежала не очень далеко от поселений и, как говорило само название, когда-то была действительно пашней.

Дорога от людей к Пашеву ручью обычно тянулась под тяжелым рюкзаком часа три. Она потребовала уже двух перекуров, и сейчас, останавливаясь передохнуть в третий раз, ты с тяжелым сердцем вспоминал следующий и самый трудный отрезок пути — Прямую дорогу...

Прямая дорога действительно была прямой. Лес знает мало прямых путей, чаще дороги и тропки все-таки кривят, чтобы пройти по более удобным местам. И только тогда, когда в округе совсем нечего выбирать, дорога идет напрямик, как идет человек, которому отрезали все пути к отступлению. Путь к отступлению или обходу отрезало Прямой дороге вязкое лесное болото. На болоте не было глубоких лыв-топей, по карте глубина болота не превышала и двух метров, но об этих двух метрах жидкого месива ты вынужден был помнить на протяжении трех километров пути.

Еще недавно Прямая дорога все-таки значилась проезжей, хотя ни одна организация не планировала в своих сметах ее ремонта. Дорогу держали мужики. Всем колхозом с топорами и лопатами выходили раз в год на Прямую дорогу и в короткий срок урезонивали настырное болото. Колхозом подправляли мостки, чистили канавы, и дорога снова приветливо встречала людей. Мостки слышали и дробную поступь женской обуви, и мягкие шины велосипеда, и грузные перекаты колес повозки. О волокушах, летних санях, на Прямой дороге тогда никто и не вспоминал. Но сейчас дорога была закрыта даже для повозки с полозьями. Грязь тут же затягивала следы людей и скота; скот, отправленный в лес, приходилось обводить далеко стороной; телушки тонули, давили друг друга; пастухи

отчаянно ругали телушек и те трактора, которые изуродовали дорогу.

Дорогу размесили трактора и тракторные сани. Уже потом, когда люди переселились на новые места, трактора прошли взад и вперед по лесной дороге раз двадцать, продавили мостки, смешали полотно с канавами и оставили после себя на Прямой дороге груды искореженных деревьев и глубокие ямы, затопленные фиолетовой грязью. Наверное, трактористы были уверены, что дорога в лес больше не нужна, что люди никогда-никогда даже не заглянут обратно, но вопреки всем прогнозам лес позвал людей. И позвали прежде всего сто гектаров прекрасной земли, которую теперь отвели под отгонное пастбище и под покосы.

Первый раз от людей до конца Прямой дороги я брел восемь часов. Посреди болота ноги отказались служить, очередной ствол березы, брошенный кем-то на жидкий торф, выскользнул из-под сапога, и мне пришлось долго выбирать на относительно прочное место.

Без ноши, с котомкой и ружьем идти много легче по Прямой дороге, без ноши легче идти и потом, когда оканчивается глубокая черная грязь и начинается неверная светлая глина. Глина вроде бы и дает ноге почувствовать что-то твердое, но это твердое, ты знаешь, недолго — сапог тут же скользит в сторону, и, как правило, эта сторона оказывается не всегда желанной... Когда нет дождей, миновать глину проще, но даже последнее условие не искупает тех 15 километров, которые остаются за плечами, когда ты наконец выходишь к Вологодскому ручью. Здесь, у ручья, наверное, можно передохнуть и подольше: отдых был честно заработан невеселой дорогой, где средняя скорость передвижения редко превышает три километра в час.

Через Соболю пашню и Прямую дорогу до Вологодского ручья Василий Герасимов бегаёт с котомкой за два часа. Но когда приходится положить за плечи не котомку, а тяжёлый мешок со снастью и провизией на месяц жизни в лесу, даже мировой рекордсмен иногда вынужден передохнуть. Тогда здесь, у темного, глубокого ручья, он тоже останавливается и курит. Рядом с ним лежит на земле потяжелевший за дорогу мешок. Мешок весит немало. Вес такой ноши нередко может перетянуть за сорок килограммов, в старых понятиях — это два с половиной пуда с лихвой, а если вспомнить ту единицу измерения веса, которая служила бледнолицым завоевателям для оценки способностей индейцев переносить тяжести, то Васькина ноша порой может превысить и те сто английских фунтов, которыми гордились лучшие носильщики Североамериканского континента.

Свои сто фунтов лучшие носильщики индейских племен несли на ремнях, охватывающих голову. Может быть, именно этот способ крепления поклажи и помешал остальным носильщикам приблизиться к стофунтовому рубежу, но сто английских фунтов — это всего-навсего сорок пять килограммов: пуд муки, предназначенной для оладьев, пуд крупы и сахара и до пуда снасти и охотничьего снаряжения. В вес снаряжения у нас никогда не входил вес топора, патронташа и ружья — все это было помимо сорока пяти килограммов и вместе с сорока пятью килограммами хватало только на месяц жизни. Но бывало, что человек забирался в лес и на полтора месяца. А если к рекордным фунтам добавить, что нашим рыбакам и охотникам по весне приходилось преодолевать дорогу до Вологодского ручья без отдыха, ибо остановиться и сбросить ношу попросту было негде, то, наверное, можно предположить, что ремни на голове были далеко не идеальным способом

крепления поклажи и что славяне несколько подвинули славу лесных жителей Североамериканского континента...

Уходить из дому не всегда просто даже тогда, когда хорошо знаешь, что скоро вернешься обратно. Нелегко расставаться с тобой и близким людям. А если твоя дорога не очень точно оговорена в сроках, а если ты уходишь по трудной дороге и, случись что в пути, тебе некому будет помочь... Как тогда? А как тогда, если с твоей дороги, бывало, и не возвращались? В такую дорогу отпускать человека совсем не просто, и, наверное, очень надо, чтобы тебя кто-то хранил там, в пути, хранил своей доброй памятью, а может, и доброй силой...

Это чувство доброй памяти и доброй силы особенно знаешь здесь, в лесу, когда собираешься уйти от людей не на очень короткий срок.

В лес уходят не просто. Собираются задолго, но тихо и незаметно. И вот последний вечер. Все так же, как вчера, ты отодвинул последний стакан, перевернул его набок или поставил на блюде кверху дном, чтобы чаю больше не предлагали, так же, как вчера, достал папиросу, но сейчас ты вдруг известил домашних: «Завтра ухожу...»

Другой раз забежишь к кому-нибудь просто так поговорить, а человека уже и нет. «В лесе он, в тайгу пошел», — ответит женщина, проводившая сегодня еще до солнца мужа или сына, и обязательно зазовет пить чай под тем предлогом, что «самовар-то после него еще и не обирали». В таком случае чай положено пить молча, будто сейчас, когда человек идет по лесной тропе, нельзя даже тихим словом напомнить кому-то об этом событии. Наверное, так принято, так надо вести себя... А может быть, эта женщина сейчас вспоминает в молчании, как однажды кто-то не вернулся из тайги. И это только на ее памяти. А сколько еще «раньше»? И

только молчание да голос самоварной струйки в стакане и тихое «чок-чок» ложечкой по тонкому стеклу. И тогда в такой, опустевшей избе вдруг остро представляешь, что же должны чувствовать сейчас мать, жена, проводившие сына или мужа на лесной промысел и сами, вот этими руками, подавшие ему в дорогу котомку...

У меня здесь нет никого из родных. Но всякий раз, уходя на Домашнее озеро, я тоже долго и молча пью чай. Чай мне подливает тетя Катя. Обычно тетю Катю я зову Екатериной Федотовной, но сейчас отчество пожилой женщины почему-то забывается... Сейчас я тоже переверну на блюдце свой стакан и тихо, будто просто так, скажу тете Кате: «Ухожу завтра...» — и буду осторожно ждать, что ответит она. А пока только прикрученный фитиль лампы, полуночная тишина, и тетя Катя, опустив на плечи платок, будто устала носить его за день на голове, медленно рассказывает мне о пережитом и не всегда ясном для нее... Разговор заходит о «хозяине».

«Хозяин» — это кто-то одушевленный, но скрытый от людей. В лесу он живет рядом, идет следом, стоит за плечами и может не отпустить дальше. Нет, ты, конечно, пойдешь без его разрешения, так же будешь месить грязь болот, так же переждешь непогоду под распадистой елкой и даже добредешь до ночного огня. Но без отпуска жди беду...

«Отпуск» — это, конечно, «отпустить»... Но как сделать, чтобы «хозяин» отпустил в лес? Надо что-то пообещать. Обещают, может, и клянутся, по списку...

Списки есть. Это уже не сказки и не легенды. Где-нибудь у древнего старика, может, и под лампадкой, лежит желтая от времени и разных рук бумажка, разрисованная мелким убористым почерком. Это и есть заветный список. В списке есть свои статьи-обещания: статьи для пастухов, статьи для охотников,

статьи для рыбаков... Пастухам и охотникам проще: у них только один «хозяин» — леший. У рыбаков по-другому: главный «хозяин» рыбака — Чертушка. И рыбаку трудней. Сначала ему надо взять отпуск все-таки у лешего, чтобы войти в лес, чтобы дойти до озера, и уже там, над неизвестной глубиной, что-то пообещать и Чертушке. Все обещания давно предусмотрены в статьях списка...

Тогда пропала телушка. Исходили весь лес, но ничего не нашли. Потом отыскиали старика и древний список отпуска. Эти статьи читал пастух, читал вполголоса, не озираясь по сторонам, потом положил на пенек шапку и пошел прочь... И леший отпустил телушку... Шапка оставалась лежать на пеньке. Пастух медленно уходил и слышал сзади вой и грохот... Когда шум стих, пастух вернулся обратно. Рядом с пеньком в кустах лежала телушка...

Все это оживает сейчас, дышит таинственной былью рядом с прикрученным фитилем лампы и черным ночным окном... Я хорошо знаю, почему пастухи с весны перестают бриться, не стригут волосы, почему иногда все лето едят только своей ложкой, не собирают ягоды и грибы, не ломают в лесу ни одной ветки, не выстрелят из ружья по птице или зверю и не балуют себя праздными разговорами с бойкими бабенками. Все это обещания, статьи отпуска, по которому «хозяин» отпускает в лес и гарантирует охрану...

Каждую статью отпуска хочется долго и внимательно разбирать, находя подтверждение той глубокой целесообразности, которая заложена почти в каждом слове... Я еще вернусь к этому отпуску, к спискам и статьям, вернусь к старику, который проводил меня однажды в дальнюю лесную дорогу. Я все до конца объясню себе. Но сейчас я просто слушаю тетю Катю, и передо мной проходят пастухи, молчаливые, внимательные к своей работе, тихие и

добрые к лесу и стаду. Я знаю их, знаю Гришу, видел его космы, не тронутые за полгода ножницами. В этом году Гриша уже не пастух — и у него обычная прическа. Волосы высоко подняты машинкой, а под свежей стрижкой лежит глубокий шрам от медвежьей лапы... Завтра я тоже могу встретить медведя. Я знаю, что буду обещать завтра лешему на Вологодском ручье. Потом я перейду запретный мостик и буду ждать встречи с Чертушкой... Чертушка тоже есть. И свой в каждом озере...

Если пройти Прямую дорогу, миновать Вологодский ручей, потом переждать ночь в пустой избе на берегу Домашнего озера, а утром еще в тумане повернуть к Большому и Малому Угольным, то к первому солнцу обязательно увидишь далеко внизу Красово озеро. У озера черная, глубокая вода и не очень верная полоска берега. Говорят, в Красовом озере живут гигантские щуки. Щукам много лет. Наверное... Но в озере есть Чертушка — это точно. Чертушка бережет здесь золото. Золото опустилось на глубокое дно в незапамятные времена. Чертушка отдаст золото, но только за выкуп — за белого морского зайца.

Я слышал эту лесную легенду-быль и могу объяснить, что морской заяц называется еще и лахтаком и что лахтак — это самый крупный тюлень северных морей. Я знаю, что море отсюда далеко и привезти морского зайца на Красово озеро не так-то просто. Наверное, поэтому Чертушка и обговорил выкуп, который никогда-никогда не будет представлен. Но если сейчас, во времена авиации, все-таки постараться и привезти сюда этого тюленя, то озеро все равно не отдаст золото: ведь заяц-то должен быть еще и белым. Тюлень-альбинос — это еще большая редкость. Пожалуй, в легенде учли и авиацию...

Да, я знаю все хитрости этого Чертушки, но сейчас слушаю дальше: как разбогател купец Реутов и как у

него было пять домов, лавка, большое стадо и сорок тысяч деньгами.

Последний дом купца еще цел, он высится в центре нашей деревушки. Реутов был. Это он принес на Красово озеро вместо белого морского зайца собаку, завернув ее в хорошо выбеленную на весеннем снегу домашнюю холстину. Купец был хитрый и жадный, и, конечно, только о нем, кто в силу алчности и нечистоты характера мог обманом достать деньги и в другом месте, сложена легенда. Реутов швырнул в воду собаку, и лодка с золотом начала медленно подниматься. Вот она, вот... Она почти рядом...

Сейчас... Но Чертушка успел усмотреть обман и повелел золоту вернуться обратно. Реутов кинулся к богатству, но успел ухватить только малую пригоршню. Но даже этой горсти золота хватило ему, чтобы построить пять домов, держать лавку и стадо, а остальное перевести в сорок тысяч деньгами.

Реутова давно нет, нет и тех сорока тысяч. Но есть Красово озеро. Иногда там хорошо ловится окунь, вокруг озера бродят сумрачные лоси, а в утреннем тумане нередко можно услышать сытое ворчание медведя. По берегам Красова живет куница, а дальше, за озером, есть редкое для здешних мест дерево — липа... Но откуда здесь золото? Почему Реутову не удалось забрать всю лодку, это ясно: даже одной горсти хватило ему, чтобы стать богатым, а что он делал бы с остальным золотом, если бы Чертушку удалось перехитрить до конца? Но откуда все-таки золото? И почему живет в лесу похожая легенда и о других, Вологодских озерах?

У Вологодских озер клад зарыт на берегу. Его придавили сверху тяжелой каменной плитой. Плита давно опустилась, заросла, и ее, пожалуй, не удастся найти. Но искать и не надо. Надо, чтобы в лес пришли три попа, чтобы каждого из них звали Егорием, чтобы

они сошлись к Вологодским озерам в один и тот же час каждый по своей тропе и вместе отслужили молебен. Тогда плита поднимется сама. Но сразу трех попов Егорииев нет, они не знают, по какой дороге идти, когда сойдутся и в какой час начнут службу. И опять непоказавшаяся тайна...

— Откуда это, тетя Катя, откуда, дедка Степанушка? Откуда золото? Может, от желания разбогатеть, тоже найти сорок тысяч?

— Нет!

У Вологодских озер когда-то была деревня. Конечно, были и сбережения. Богатство сложили в колодец и прикрыли каменной плитой... Тогда шла Орда... Это уже что-то от правды. Ведь и сейчас на Черепове — это еще одно легендарное место — можно угадать гряды прежних огородов. В лесу бедная почва, и гряды приходится строить, обносить место деревом, обносить высоко, в две доски. Между досками укладывают землю, навоз, гарь кострища. Такие гряды остаются долго после того, как ушли люди. Гряды на Черепове разыщешь с трудом, если их не покажет тебе старик. Старик подведет и к бывшему колодцу. А если немного раскопать землю, то легко узнаешь прежние венцы сруба. Когда-то деревни в нашем лесу были на всех озерах. Это правда, там тоже можно найти следы людей. Но люди исчезли, когда прошла Орда...

Отрывками, страницами из книг рядом с легендами, рядом с людьми, которые еще помнят эти легенды, появляется история. Обонежская пятina Великого Новгорода, пятая часть новгородских владений. Сначала белоглазая чудь, местные племена. Потом новгородские ушкуйники... Чудь исчезла, отодвинулась на Север, а может, и смешалась со славянами... Я верю, что смешалась, слилась, и появилось в лесу новое племя людей, и тоже светлоглазых.

А потом? Потом, пожалуй, лесная вольница, самобытная и яркая, вольница от недоступности к ней закона и правителей... Крепостное право? Этого здесь никто не помнит... А кто сказал, что в лесу не было своей Запорожской Сечи? Только эта Заонежская Сечь, наверное, была немного потише, чем беглые казаки... Это ясно. Но откуда Орда? Лес не знал набегов Батыя, не знал Золотой Орды. Лес был в стороне, глубже, но однажды и ему пришлось пережить нашествие чужеземцев... Лжедмитрий. Кажется, второй. Начало семнадцатого века. Войско самозванца было разбито. Поляки, казаки, татары были выброшены к северу от центра государства Московского... Потом царь Михаил Федорович объявил прощение этому войску. Тогда разбойное войско вышло из заонежских лесов и предстало с желанием быть на государственной службе...

Их было много — тысячи. А до этого голодные банды, Орда, жили в лесу, грабили, убивали, насиловали...

Вот откуда Орда, откуда останки прежних грядок и колодец на Черепове. Вот откуда золото под плитой у Вологодских озер и Реутов на Красове...

Я все это могу объяснить здесь, в избе, рядом с самоваром и пепельницей, набитой моими окурками. Но я не хочу останавливать рассказ, я хочу слушать и просто молчать. Молчать и, наверное, еще о чем-нибудь глубоко думать... Ведь завтра я уйду в лес.

...Половина дороги уже за плечами. Еще немного — и я буду долго пить чай в избе, у печки, у хорошего ласкового огня. Я сниму эту куртку, свитер, скину сапоги... И тут же кружка чаю. Сахар крепко и сладко рассыплется на зубах. Глоток горячего чая. И опять сахар. Дедка сначала будет опускать пиленый кусочек в кружку, потом посасывать его, опять опускать, прихлебывая черный настой, и только к следующей кружке дотронется до нового белого куска.

Дедка Степанушка уже в лесу. Он ушел налегке, я даже не знал когда... Сейчас я нахожу его следы и по ним узнаю, где обходил старик топкие места. Скоро я увижу дедку. Скоро чай, тишина вечернего огня и долгие интересные рассказы около коптилки... А пока передо мной только Вологодский ручей. Вологодский — это больше чем половина пройденной дороги. Сзади остались глубокие, вязкие болота Соболей пашни и Прямая дорога. Я вспомню потом у огня свои остановки-перекуры: Соболя пашня, Пашев ручей, осина Аркадия... Осину свалили давно, хотели сделать из нее лодку, но так и не вывезли. Дерево осталось около дороги, и теперь на этой осине неплохо посидеть и покурить.

С Пашева ручья я не дотянул сразу до осины. Прямая дорога остановила на полпути и заставила тяжело дышать. Под черными, костлявыми елями дымилась густым, пробирающим насквозь туманом грязь болота, а сверху на эту грязь опускался мутный сплошной дождь. Посреди Прямой дороги я не мог даже курить. Но потом все-таки была и осина Аркадия. И вот Вологодский. Теперь проще.

Рюкзак на земле, плечи уже не знают давящих лямок. Ты будто стал легче, просторней, надо улететь, подпрыгнуть телу, сбросившему груз. Но ноги не отпускают, держат, тянут вниз, и ты можешь только покачиваться вокруг того тяжелого, что налито тебе в сапоги. Покачиваться долго нельзя: можно рухнуть в ручей. Я присаживаюсь около воды и глубокой деревянной ложкой черпаю эту коричневую от еловой хвои воду... Вода Вологодского ручья. Ручей таинственный, темный, и по нему может прийти из тех озер, где над кладом лежит каменная плита, любая щука... А может, и Чертушка.

В руках ложка. Моя удобная деревянная ложка, которой так хорошо вылавливать из миски разбухшие

сухари крошанки. Но сейчас я смотрю на ложку как-то иначе: ведь я на Вологодском ручье. Здесь надо просить у «хозяина» отпуск. Именно здесь. Он впустил тебя в лес и проверил на Прямой дороге... Вот дедкины следы — он тоже опускался к воде, опускался надолго. И теперь «хозяин» ждет и моего обещания...

Конечно, не буду бриться: борода и усы спасают от комаров. Праздные разговоры с бойкими бабенками? На Домашнем озере бабенок нет. Не собирать ягоды и грибы, не ломать ветки, не стрелять в зверя, то есть не знать крови, — это не для рыбака, это для пастухов. Что еще мне? Ложка? Я ведь хорошо знаю, что потом, когда снова вернусь к людям, с самой дороги мне пододвинут миску горячего супа и стакан вина... Но ложку я должен взять сам. Ложку мне никто не подаст. Ложка будет стоять в стеклянной банке, а люди будут украдкой поглядывать на меня, ждать: как — достану ли свою или возьму чужую, ведь ложка — это тоже статья отпуска... И сейчас эта ложка, моя удобная ложка, у меня в руках... Конечно, ложка — я буду есть в лесу только ею, ведь другой и нет.

У ручья проходит усталость, проходит напряжение пути. Становится легче и проще от близкого огня. И Вологодский ручей теперь просто ручей. Я убираю свою деревянную ложку в карман рюкзака, поправляю на плечах лямки и спокойно перехожу через мостик... «Хозяин» отпустил.

Сзади остается тихая поляна, остается сиденье из еловых стволов, которое здесь называют станком. У станка старое, расплывшееся от дождей кострище и свежие следы медведя. Медведь был у станка незадолго до меня. Ухожу тихо, вспоминая все истории этой поляны. Да, наверное, не просто так выбрали это место для совершения таинства отпуска. Черная стена елей, тяжелая, густая тишина тайги, медвежьи следы вдоль и поперек поляны, Прямая дорога, отрезавшая

тебя от людей, и мрачный цвет сонного ручья... А дальше — свет березняка, сухая дорога, грибы-красноголовики, веселое порханье рябчиков и близкое Домашнее озеро. Но это только после отпуска...

Усталость и напряжение сменяются легкой, мирной тишиной, ты сам становишься как бы частью этой тишины и глубоко осознаешь, что после Вологодского ручья начался для тебя новый мир, новая жизнь и что в этой не слишком простой, но молчаливой жизни нельзя громко кричать. Крика не любят зверь и рыба. Но кричать нельзя еще и потому, что рядом с криком никогда не живет глубокое внимание. А без внимания нельзя отыскать ни куницу, ни лося, нельзя угадать погоду на месяц вперед, а тем более нельзя пасти в лесу стадо. И вот это пристальное внимание и было основным требованием той древней академии, которая добилась в изучении своего леса завидных успехов.

Каждое требование всегда надо беречь. Его берегут мораль стариков и суровые заповеди для последующих поколений. И наверное, именно эти заповеди и были когда-то записаны талантливым лесным сказочником и мудрым человеком на том клочке бумаги, который сейчас попросту называется списком отпуска. И в этом списке моя деревянная ложка у Вологодского ручья была, пожалуй, не последним условием пристального внимания — как-никак, но даже о простой деревянной ложке, обещанной «хозяину», и то надо было помнить в лесу...

Глава седьмая

ЧЕРТУШКА

Теперь каждый мой вечер заканчивается в теплой северной избе. Рядом дедка. Он тоже ловит рыбу, тоже ходит со мной в тайгу, но только на свое озеро. На обратном пути мы встречаемся. У дедки новые часы, он носит их в футлярчике. Часы куплены недавно, и старик верит только им даже тогда, когда забывает вовремя заводить. Когда дедкины часы не убегают и не отстают, мы встречаемся с ним под осиной, где сходятся две тропы. Одна — Елемского озера, где промышляет дедка, другая — с моего Верхнего озера.

Чаще я жду дедку. Первой из кустов появляется скромная ласковая собачка Лапка. Собака пустая для охоты, но дедка ее бережет. Сам он вырастает на тропе неожиданно и бесшумно в сумраке вечернего леса, и тогда я начинаю понимать, как умудряется тяжелый медведь неслышно передвигаться по тайге... Потом мы курим. Дедка не любит табак и дышит просто за компанию. Он долго мусолит окурок, иногда кашляет и всегда прячет огрызок сигареты до следующего станка. Мы поднимаемся и бредем дальше к нашим лодкам. Лодки на Домашнем озере. Лапка не уходит от нас далеко. Она крутится под ногами, чего-то боится. Может, боится ночи, тресков, шорохов, черных выворотов корней-выскорей. Порой выскорь появляется на тропе вдруг и, наверное, кажется Лапке чем-то одушевленным... Просто тишины нет. Тишина вскрикивает, вздрагивает, а иногда и долго потрескивает. Потрескивает в лесу зверь. Зверь уходит, а над головой гремит выстрел сухого дерева... А мы

идем, думая, пожалуй, только об одном: как бы неверный сучок не поранил в темноте лицо...

Дедка останавливается еще раз, и мы снова курим. У старика берестяной заплечник. В заплечнике рыба. У меня тоже рыба, но только в рюкзаке. Дедка ощупывает ее через брезент, прикидывает размер...

— Чертушка-то опять рыбы дает... Скольких-то вынул?

— Девять щук.

— Завтра этого не дает. Шести принесешь.

Назавтра я возвращаюсь по тропе один. Я знаю тропу, верю ей, но все-таки тороплюсь домой. Наконец лодка и далекий огонек на берегу. Огонек ближе, и у костра встречает меня старик. Нет, он не спрашивает, не проверяет свое вчерашнее пророчество, но я знаю — ждет. И я говорю правду:

— Шесть поймал.

— Завтра только трех дает. А то и не ходи за тремя-то — здесь изловишь...

Я не верю, снова иду и приношу только две щуки. И снова иду. Но возвращаюсь совсем пустым... Что это? Фаза луны? Погода? А может, и Чертушка? Может, я чем-то досадил ему? И снова пусто... А вечером дедка Степанушка рассказывает мне новую лесную легенду.

...Тянули невод. Вытянули, а Он сидит. Усы длинные, волосы длинные. Человек, да нет. И невесело так смотрит и ждет, что скажут. Одни говорят: убить. Чертушка косо посмотрит, жалостливо так скрутится. Другие говорят: отпустить — Он и засмеется. Ну, прямо человек, только в волосах и не причесан... Отпустили. Зимой дело было. Сеть подо льдом протянули, тоню завели, полно рыбы... Чертушка и сейчас жив. В лаптях был тогда-то. Я не видывал, а вот старик-то мой знавал...

Старик — это отец. Это дедкин отец ловил рыбу на Домашнем озере и вместе с другими мужиками вытянул

на берег Чертушку. Тогда Чертушка преподнес много рыбы...

Есть Чертушка и у меня на Верхнем озере. Озеро почти всегда встречает меня тишиной. Плот отгоняешь от берега мягким толчком шеста. Вокруг плота легкая, голубая вода. Голубой цвет уходит к берегу и становится там коричневым от тайги. А еще дальше, в углу озера, вода темнеет совсем, и ее уже не видишь, а только слышишь, как в этой воде возится под глухим завалом «хозяин» озера. Он появляется ненадолго. Тогда по озеру идут медленные густые круги-волны. Я тороплюсь к началу этих кругов, но плот никогда не успевает вовремя... Под завалом снова тихо и глубоко. Глубину нельзя увидеть, нельзя ничего узнать в глубине. Я уплываю обратно, и на этот раз не поймав страшенную щуку. Я даже не знаю, какая она и есть ли она вообще...

Осеннее солнце падает на тайгу. Падает заметно, на глазах, но не так быстро, как на юге. Светлая полоса на моем берегу поднимается выше и выше, она все дальше и дальше уходит от воды, вот остались только вершины деревьев, вот уже нет и их... И туман. Туман приходит оттуда, где совсем недавно возился Чертушка. Туман живет, плавает по воде, как дым, и в этом дыму, как в сказке, сейчас может появиться все самое невероятное... Дым ближе, гуще. Ты сам уже в сказке. Ты плывешь, тонешь, снова плывешь в тумане... И вдруг грохот, грохот упавшего дерева, и тут же за грохотом сзади тебя в гору долгий и резкий треск под чьими-то тяжелыми ногами — это лось спускался сзади меня к воде, но свалившееся в озеро дерево заставило его вернуться обратно в тайгу.

В носу лодки снова пустой мешок. Рыбы опять нет. Опять Чертушка «не дает рыбу». Что же делать? Выходит, дедка прав...

Прежде, когда пяток щук, изящно пойманных на спиннинг, были для меня только почетным трофеем, я не так горько переживал очередную неудачу. Но сейчас эти щуки, их количество и общий вес были для меня основными производственными показателями. Ловить рыбу стало моей специальностью. Эту рыбу ждали. Она была нужна тем людям, которые провожали рыбаков в лес. Но Верхнее озеро ломало все планы рыбака. Это красивое лесное озеро к тому же перевернуло мои представления о рыбной ловле.

Я уже рассказывал, что рыбу на наших отхожих озерах ловят сравнительно просто. Летом рыбак обходится двумя удочками и десятком жерлиц. Жерлицы, как и живцовые удочки, предназначенные для ловли щук, оснащаются огромными крючками и называются просто крюками. Крюки подвешивают к колам. Нередко даже очень прочный кол может не устоять перед «хозяином» озера. Когда утащенный кол все-таки находят, рыбак после долгих и порой рискованных усилий переваливает через борт лодчонки тяжелое зеленое туловище щуки.

Иногда одного такого трофея хватает, чтобы по дороге домой мешок успел оттянуть плечи. Но рядом с пудовым страшилищем может оказаться еще не один десяток увесистых окуней и тройка — пяток щук помельче. Тогда дневной улов и составит те два пуда, к которым стремится рыбак, вооруженный удочкой и крюками. Но два пуда — это не последний рубеж для человека, который вместе с крючковой снастью держит при себе и сети.

Сетей держат обычно немного, чаще их вяжут сами, сажают на прочный шнур и оснащают берестяными поплавками-трубочками и тяжелыми, увесистыми мешочками, набитыми мелкой галькой. Такие мешочки называются камешками и выполняют роль грузов.

Сети в нашем лесу — это своя собственная история. Само плетение сетей в курной избушке или дома в долгие зимние вечера, название инструмента, искусство изготовления, способы посадки, высота и длина снасти — уже только это может вызвать долгий и интересный разговор, подобный тем лесным историям, которые поведает старик, вяжущий сеть, своему не слишком назойливому собеседнику...

К сожалению, мне нередко приходилось встречать в северных лесных деревнях назойливых людей. Люди, попавшие в лес ненадолго, торопились сразу много узнать, но почему-то забывали, что откровенность к рассказчику приходит только после того, как он проникается уважением к своим слушателям. Назойливые и, как правило, молодые люди почему-то не помнили, что каждый устный рассказ, каждая песня — это прежде всего творчество, а для любого творчества необходимы свои условия. И такими условиями для сказителя или песенника было отсутствие назойливости и спешки.

Я помню, как однажды к древней старушке пришли в дом воспитанные молодые люди. Адрес старушки им указали в сельсовете. У молодых людей были соответствующие бумаги, в которых говорилось, что податели сего имеют право записывать старинные песни. Свою просьбу гости изложили очень деликатно. Казалось, начало хорошему разговору было положено.

Старушка отложила в сторону ухват, села на лавку, поправила платок и, подняв к потолку глаза, запела какую-то простенькую песню. Песню тут же записали, сказали старушке спасибо, извинились, и экспедиция за песнями понеслась дальше. Молодые люди, как всегда, торопились посетить еще много разных мест, — по крайней мере, так было написано в их бумаге. Старушка проводила торопливых гостей, посетовала, что гости отказались выпить чаю, снова вернулась к своей печи,

поворошила кочергой угли и, взяв в руки ухват, чтобы немного подвинуть чугунки, вдруг совсем иначе запела только что слышанные мной слова. Слова обернулись по-другому, по-новому, песня ожила, начала создаваться на моих глазах рядом с ухватом, отблесками огня и дымящимися чугунками — ведь это была та самая песня, которая родилась именно у печи и которую можно было петь только с ухватом в руках...

Тогда я очень жалел поспешную экспедицию и с опасением догадывался, что в будущем эта поспешность может обернуться нежелательным образом для тех самых людей, изучать жизнь которых и было поручено молодым ученым... Мог ли такой человек в своей торопливости внимательно отнестись к старику, который на берегу отхожего озера в курной избушке вязал сети для будущего года?

Пожалуй, такое ремесло, как ручное вязание сетей из простой катушечной нитки, перво-наперво могло показаться архаизмом рядом с капроновыми сетями, выпущенными массовым производством. Да, сети можно купить, они стоят недорого, капроновые сети прочны и долговечны, но куда деть те пустые дни отхожего рыбного промысла на таежных озерах, когда ветер запирает пристанище и рыбаку не остается ничего, как вязать? А куда деть долгие зимние вечера пушного промысла и целые недели, когда пурга забивает следы зверя и охотнику приходится смиренно ждать подходящей погоды?

Когда видишь, как старик вяжет по вечерам сеть, вяжет, когда все дела дома уже переделаны, то невольно задумываешься: а не от этих ли сетей и пришел к рыбаку его спокойный, уравновешенный характер, не эти ли самые сети помогают ему с завидным терпением и легким сердцем дожидаться той самой «у моря погоды»?

...Сердце человека, умеющего ладить даже с чертями, очень отходчиво, оно скоро простит вам вашу поспешную оплошность, а за внимание, за память и доброе слово житель леса расскажет вам какую-нибудь интересную историю, ну хотя бы о сетях... И тогда щуйки, полки, цевки, камешки, линейки, оборы, хобот, режи, сажени и даже простая одностенная сеть длиной в полтора десятка метров зазвучит для вас музыкой новых открытий.

Наши сети не отличаются особой премудростью. Это простая сетка-путанка, вязанная, как правило, из тонкой катушечной нитки. На сеть обычно идет десять катушек ниток пятидесятого, сорокового и реже тридцатого номеров. Вязать такой тонкой ниткой сеть — сложная и искусная работа. Более толстая нитка для нашей рыбы не подходит: вода озер прозрачная, рыба хорошо разбирает в такой воде грубую сеть, да и сама толстая нитка не так ловко подцепит под жабры наткнувшуюся на нее рыбешку. Тонкие сети требуют осторожного обращения, их стараются распусти́ть вслед за лодкой по чистым местам, избегают поднимать в сильный ветер, очень осторожно расправляют в воде и старательно опускают с борта лодки. Борт лодки не должен иметь ни малейшей зазубринки, расщепа или ссадины, за которые при спуске может зацепиться тонкая нитка. Когда все условия выдержаны, сеть уходит в воду, как лента серпантина, и тогда рыбаку остается только слегка подправлять лодку веслом. Сеть обычно оставляют в воде на ночь. Утром из сети выбирают рыбу, выбирают тоже старательно, чтобы не порвать нитки, а потом мокрую снасть растягивают на колах-вешалах. Высушенные сети собирают и связывают. Когда ловля происходит на отхожем озере, высохшие сети ждут человека, ушедшего домой, где-нибудь под густой елкой или под берестяным навесом.

Вот, пожалуй, и вся проза о сетях. Сетями у нас ловят, в основном, весной, когда рыба ходит широкими стаями и когда «хозяин» озера, Чертушка, еще не провел ревизию в своем хозяйстве. К лету Чертушка собирается с мыслями, пересчитывает всех подводных жильцов и устанавливает для них распорядок дня. Этот распорядок предусматривает время кормежки, отдых на глубинах или в зарослях травы, утренние, дневные и вечерние прогулки. К лету Чертушка успевает хорошо познакомиться с сетями и строго наказывает своим подопечным избегать их. Поэтому сети к лету приходится оставлять и браться за удочку...

Многолетние скитания по рекам и озерам с удочкой, казалось, не оставляли сомнений в моем превосходстве над местными удильщиками, которые из всех достижений современного рыболовного спорта приняли для себя лишь синтетическую леску и хорошие крючки. Но даже о крючках в лесу нередко приходилось поспорить... Я часто встречал стариков, которые наотрез отказывались пользоваться крючками промышленного изготовления, но попадались мне и молодые рыбаки, предпочитавшие оснащать жерлицы самодельными крючками. Эти крючки выделялись грамотной рукой из хорошей проволоки и с успехом соперничали с лучшими образцами самых популярных фирм. Но синтетическая леска принималась безоговорочно. Синтетическая леска просто оказалась намного лучше льняного крученого шнура. Но и тут лесные академики не обошлись без дополнительных усовершенствований, которые и вызывали у меня по меньшей мере недоумение.

Профессиональные знания искушенного удильщика восстали во мне против варварского обращения с леской миллиметровой толщины. Эта леска ценилась в лесу на вес золота и с большим успехом применялась для ведения дорожки... Дорожка была еще одной

крючковой снастью, которую знали на наших озерах, но в отличие от удочек и жерлиц, которые требовали постоянной насадки, дорожка обходилась кусочком самоварной меди или старым серебряным рублем. Спорить о преимуществах того или иного металла, той или иной формы блесны не приходилось: каждая блесна была настоящим произведением искусства и, как всякое произведение искусства, могла быть истолкована до конца только самим мастером. Мастеров насчитывалось немало, и каждый мастер с завидным успехом промышлял только своей блесной.

Блесна прикреплялась к металлическому поводку, а поводок — к шнуру средней длины. Шнур, в свою очередь, или обматывался вокруг колена рыбака, или попросту зажимался зубами. После удачного броска щуки за блесной шнур дорожки либо со свистом выскальзывал у тебя изо рта, либо отчаянно дергал ногу, что и должно было оповещать рыбака о поклевке. Я с удовольствием перенял этот способ сигнализации, но наотрез отказался использовать чудовищный шнур.

Шнур изготавливался из двух, а то и из трех кусков миллиметровой лески. Правильно скрутить шнур мог не каждый рыбак, и тогда опять приходилось обращаться к какому-нибудь старику. Старик, поднаторевший в кручении льняной снасти, ловко обращался с синтетическим заменителем, и не проходило и двух часов, как просителю возвращалась готовая продукция, выполненная из материала заказчика. Наблюдая «модернизацию» и без того совершенной лески, я не мог не возмущаться. Я продолжал вслух считать старика варваром и ловить щук только на «фирменную» снасть.

Мое возмущение вызывала и оснастка удочек. Леска здесь использовалась по тому же принципу: чем толще, тем лучше, хотя и с некоторыми ограничениями. Но удочка для ловли щук уже не знала никаких

ограничений. К тому же вместо поплавка здесь применялась тяжелая берестяная трубка.

Наверное, все-таки можно было примириться и с размерами, и с «эстетическим оформлением» поплавка, но само удилище не выдерживало никакой критики. Назначение удилища — принимать на себя часть усилий при борьбе с рыбой — было забыто. Правда, иногда я видел неплохие березовые хлысты, но эти удилища обычно были когда-то вырезаны кем-нибудь из приезжих и теперь оставались понуро стоять у стены избы. Удилища как такового при ловле щук вообще не существовало, его заменяла толстая палка той же длины, что и леска.

В пылу возмущения я читал рыбакам лекции о преимуществах тонкой снасти и на это время прочно забывал то, что сам же без устали повторял гостям леса: не бросайтесь сразу в бой, сначала разберитесь, жизнь здесь началась давно, и не все созданное где-то, вдалеке отсюда, может подойти в лесу.

Но скоро мое дутое вознесение к небесам истины окончилось, и я начал сравнительно быстро падать. И первое поражение мне нанесли те самые щуки, которых я продолжал ловить на современную снасть с гибким пятиметровым удилищем. Щук приходилось ловить у вершин затонувших деревьев. Щуки вырывались из завалов, жадно хватали живца и тут же исчезали в своем непролазном убежище. Длинное удилище и соответственно длинная леска позволяли мне находиться сравнительно далеко от щучьих засад; у меня было больше поклевков, чем у местных рыбаков, ловивших рыбу у самой лодки, но держать в руках пойманную рыбу мне приходилось гораздо реже. Гибкое длинное удилище и длинная леска не особенно мешали подводному хищнику после броска к добыче почти беспрепятственно скрываться в своем убежище, и после этого в лучшем случае ко мне возвращался только

голый крючок. Чаще я вынужден был прекращать ловлю, подплывать к злополучной вершине и с шумом освобождать свою снасть.

Такая неудачная вершина уже пропадала для дальнейшей ловли. Я ехал к следующему затонувшему дереву, и все повторялось точь-в-точь. А в это время Василий Герасимов из-под каждой вершины вытаскивал на свою палку не одну приличную щуку.... День, другой, третий — измотанная завалами «изящная» снасть оставалась дома, а я начинал с успехом облавливать вершины той самой несуразной удочкой, которую совсем недавно вслух называл дубиной. Короткая, крепкая дубина не позволяла рыбе скрываться в завале, она, как рычаг, останавливала любую щуку и, не дав ей опомниться, доставляла ее в лодку.

Я признал прочную короткую снасть для ловли на живца, но продолжал упорно отказываться от толстого крученого шнура для дорожки и ловил на свою леску. Ловля проходила около тех же самых затонувших вершин и требовала от рыбака большой оперативности. Эта оперативность обеспечивалась твоей энергией и значительным запасом лески, который попросту выкладывался на коленях. Леска не всегда оставалась лежать неподвижно ровными кольцами, она сползала, кольца путались, и не раз мне приходилось поминать свою снасть крепкими словами. С толстым крученым шнуром получалось намного проще: он лежал на коленях ровными, упругими кольцами и никогда не путался. Шнур понравился, и я туг же пошел к старику...

В конце концов с лесками все обошлось благополучно, я отделался легким позором, никто не упрекал меня вслух, а, наоборот, все старались принять деятельное участие в «модернизации» моей снасти.

Гораздо хуже складывались у меня отношения с Чертушкой. Чертушка на Верхнем озере упорно

отказывался меня принимать.

Сначала «хозяин» водоема встретил нового рыбака по-царски щедро. Я подсчитывал добытые килограммы и проектировал еще более внушительные уловы. Но дедка Степанушка в самом начале остановил мое не в меру разгорячившееся воображение. Посмеиваясь в усы и бороду, старик объяснил мне, что Чертушка еще не разобрался, кто и зачем наведывается в тайгу. Уже сегодня ночью он соберет общее собрание и объявит всем-всем, что на озеро пришла беда. Беду следует избегать, но в то же время надо попробовать и откупиться от назойливого человека. Сегодня ночью рыбы бросят жребий и выберут тех, кто завтра обязан попасться на мой крючок. С каждым днем размер дани будет сокращаться: сначала девять щук, потом шесть, потом только три, а дальше Чертушка совсем отвернется от рыбака. И тогда на озеро можно не ходить: надо дать озеру отдохнуть, а Чертушке — успокоиться...

Из трех порций дани дедка Степанушка ошибся только в одной: только последний раз Чертушка подвел старика, и вместо нареченных трех я принес всего лишь две щуки. Дедка больше не повторял мне свою науку, а я продолжал бесцельно ходить на Верхнее озеро.

Знать одно поражение за другим становилось все неприятней, и я стал внимательней присматриваться к другим рыбакам. Сам дедка ходил на Елемское озеро подряд только два дня, но в эти дни всегда возвращался с хорошим уловом. Остальное время, когда дедкин Чертушка отдыхал, старик путешествовал к малым ничейным озерам или покачивался в лодчонке на волнах Домашнего озера. Точно так же вел себя и Василий: больше двух-трех дней он не задерживался нигде, и даже Иван Михайлович, разговаривать с которым о чертях было бесполезно, пропадал на своем

Янцельском озере всего пять-шесть дней, причем два дня из них занимала дорога туда и обратно.

Я искал причину своих неудач, но пока ничего не находил. Оставить поиски и уйти было неудобно перед Иваном Михайловичем, Васькой и дедкой Степанушкой, которые больше всего ценили упорство и верность данному слову.

Я дал себе слово разгадать тайну отхожих озер. Но тайна по-прежнему оставалась только тайной, пока я ничего не мог объяснить даже себе самому и в разговоре с дедкой на всякий случай оставлял Чертушку...

Возвращаясь домой уже в темноте, я все так же видел тусклый огонек дедкиного костра и так же переживал очередную неудачу. Дедка приносил с костра уху и чай. Потом мы зажигали лампу. У лампы давно не было стекла, и она больше походила на коптилку. В избе было тихо и чисто от легкого воздуха. Не было в избе и комаров: мы редко топили нашу печь, и противные насекомые, любившие собираться на тепло, оставались за окном. По вечерам над тетрадью дневника я вспоминал прожитый день и крутил махорку. Дедка посасывал сахар и прихлебывал горячий густой чай. Иногда дедка как будто куда-то исчезал, потом снова появлялся и снова долго рассказывал о лешем или Чертушке... «...А Он сидит и невесело так смотрит и ждет, что скажут... Ну прямо человек, только в волосах и не причесан...»

В избе почти темно. Тихие боязливые тени движутся по потолку. Тени живут помимо нас. Они дышат, ходят, добираются до дальних углов и там исчезают в темноте... И снова коптилка и дед кино лицо, тоже волосатое, тоже обросшее, и сказки...

А завтра снова лес, снова треск, стуки, выстрелы деревьев, снова крики ночных птиц, голос зверя и тяжелый плеск таинственной рыбы под глухим завалом,

и снова я буду искать тайну отхожих озер. Конечно, я найду еще много доводов, что чертей никаких и нет, но снова вечером буду слушать старика и очень жалеть тех рациональных людей, которые поспешно разложат для себя наш лес строго по полочкам...

Глава восьмая

ИЗБУШКА

Наша тайга никогда не вела своей письменной истории. Наверное, это не нужно было людям, которые подчас уходили в тайгу от других людей, уходили к свободной сильной жизни. Но тайга знала и долго хранила каждый шаг каждого человека... Она знала, куда ходил дедка Корнилушка, где он обошел Могово болото, где встретил лося, где подвесил в елку то, что не смог унести сразу, где шел обратно и легкими тесочками охотничьего топора помечал путь к спрятанному от зверей мясу...

Дедки Корнилушки давно нет, но еще можно встретить на стволах елей у Могова болота чуть заметные тески и по ним попытаться разгадать тайну чьей-то давнишней дороги. Тески могут рассказать и о самом человеке... Ровный тесок, чисто положенный на ствол, поведает о той уверенности, с которой человек шел в лес, поведает о ловкой, сильной руке, крепко державшей топор. Такая рука не скоблила елку, не торопилась и не клала тесок криво. Рука могла быть и бережливой — она не оставляла на дереве широкой раны, а только метила путь рачительной щербинкой.

Тески дедки Корнилушки давно заплыли смолой, они с трудом угадываются на еловых стволах, но даже и сейчас по ним можно рассказать, что старик хорошо знал лес и, прокладывая новую тропу, никогда не размахивал топором из стороны в сторону. Его тески лежали далеко друг от друга, казалось, что дедка мог обойтись и без них, но просто так, по привычке, оставшейся с самой первой тропы, все еще не забывал нет-нет да и коснуться лезвием топора еловой коры.

Легкая уверенность старика на тропе заставила меня по-другому посмотреть на тех остроумных лесных сказочников и балагуров, которые шуткой, а то и неожиданным действием скрашивали тяжелый труд в лесу или долгие зимние вечера в охотничьей избушке. Таких балагуров в лесу любили, им никогда не отказывали в равной доле промысла, но не отказывали прежде всего потому, что остроумные шутники умели и неплохо работать. И теперь, слушая лесные анекдоты, я приходил к твердому убеждению, что право на создание побасок и комичных историй получали только те люди, которые были с лесом запанибрата.

Сейчас в нашем лесу к таким людям, пожалуй, и принадлежит Василий Герасимов. В этом незаурядном человеке успех работы тесно переплетается с шуткой. Но шутка Василия никогда не заслоняла собой успех и, пожалуй, имела право быть только потому, что успех к Василию приходил много раньше, чем к остальным. Порой его шутки были несколько грубоватыми и даже обидными. Ему ничего не стоило в гостях спеть в лицо сидящему напротив человеку едкую прибаутку: «Взял Барончик в руки власть, стал в колхозе сено красть...» — когда герой устного творчества этого безусловно заслуживал. Герой мог возмущаться и даже пообещать свести счеты, но Васька, как правило, не унимался. И не унимался он прежде всего потому, что знал вокруг поддержку остальных гостей и свое неоспоримое преимущество перед вороватым «бароном».

Мог ли дедка Корнилушка рассказывать забавные и порой донельзя комичные истории о встрече с медведем, если бы в медведе понимал только вкус мяса? Истории и остроты дедки Корнилушки живы и до сих пор, и живы лишь по той причине, что рядом с анекдотами старика память людей и сейчас хранит тот случай, когда Корнилушка поймал медведя за уши...

Старик не признавал огнестрельного оружия, он промышлял больше старинной бесшумной снастью и даже на медведя ходил только с рогатиной. Та самая рогатина и сейчас торчит в бревне старого сруба на берегу Домашнего озера. Рогатина больше походит на пешню, которой долбят лед, чем на совершенное оружие. Но дедка Корнилушка насаживал эту пешню на прочное древко и отправлялся с ней на охоту.

В этот раз на берлогу пошли втроем: двое с ружьями, а третий — дедка Корнилушка. Медведь выскочил из своей зимней квартиры и умудрился увернуться и от ружей, и от рогатины. Корнилушка не привык упускать добычу и бросился вслед за зверем. Напарники несколько приотстали, а старик настиг беглеца на склоне лесного острова. Склон был крутой, у старика были лыжи, а медведь, как всегда не очень торопливый на спусках, наверное, уже не ожидал повторного нападения. Старик тоже не ожидал столь близкой встречи, но лыжи сами несли в объятия к зверю. Расстояние между двумя хозяевами тайги сократилось так быстро, что старик не успел развернуть свое оружие и попросту отшвырнул его в сторону... Когда остальные преследователи выкатили на бугор, они увидели сначала только дедкину лыжню и развороченный снег, а потом из сугроба донесся к неторопливым охотникам требовательный голос старика, подкрепленный соответствующими выражениями. Крепкие слова относились к охотникам. Старик требовал поторопиться и помочь ему утихомирить разбушевавшегося зверя. Зверь, подмятый человеком, лежал на спине, а старик крепко держал его руками за уши. Охотники не разглядели медведя, не поверили на слово и еще раз переспросили дедку, что он там делает. Корнилушка, лежащий на звере, ответил своим напарникам еще более грозно, но тут же разбавил крепкие слова таким двусмысленным

выражением, которое придало далеко не шутливой ситуации комическую окраску. Медведя добыли, принесли в деревню, а когда медведь оказался к тому же еще и медведицей, то двусмысленное выражение, оброненное стариком, приобрело еще более анекдотичный смысл.

В тот раз после добычи медведя охотники, как и заведено в тайге, поставили свои надписи на дереве. Рядом с надписями были оставлены число, месяц и год события. И теперь, встречая в лесу такие надписи, ты можешь очень точно определить, где, когда и кто встретил около этой елки медведя и победил его. Сколько выстрелов было сделано по зверю, чем добыли его: ружьем, петлей или рогатиной, — об этом надписи не говорят, но такие надписи есть, как есть в охотничьей избушке и зарубки на косяке двери.

Зарубки на косяке двери в отличие от тесков и стрелочек, которыми помечается тропа, делают ножом. Как правило, зарубки идут по косяку снизу вверх и рассказывают о том, сколько раз приходил человек в свою избушку.

Тяжелый заплечник остается пока у двери, и рыбак входит в свой домик посмотреть, как и что тут без него: не расплылась ли от сырости соль, не текло ли на нары. Затем человек возвращается к двери и широким ножом оставляет на косяке очередную зарубку. Потом в избушку заносится заплечник, и рыбак спускается к озеру проверить лодку.

Лодка дожидается рыбака на берегу, перевернутая кверху днищем. Не переворачивать лодку, оставленную без работы больше чем на один день, нельзя. Лодка — это тонкое и изящное творение людей, решивших победить ветер и волны, и, как всякое искусное творение, ее надо беречь от небрежного прикосновения. Неосторожно обойтись с нашими долблеными лодчонками могут гниль и солнце. Гниль

сама по себе уже неприятное соседство для любого искусства, но не меньше вреда произведению талантливых лесных мастеров может причинить и яркое солнце. Неперевернутую, не укрытую собственными бортами лодку солнце может раскрыть, распустить ее борта и превратить ладную посудинку в никому не нужный плоский блин.

Я давно полюбил лодки и волны, полюбил весла и ветер, срывающий пенные гребешки, знал тяжелые шитые шлюпки, спортивные гребные суда, неповоротливые плоскодонки и долбленые челны из осокори. На такие челны иногда нашивали высокие борта и легко перевозили в них с одного берега реки на другой тяжелые фляги с молоком. Мне нравились эти челны, но каноэ североамериканских индейцев все-таки не давало мне покоя. Каноэ казалось верхом совершенства, настоящим искусством. По словам многих авторов, такую лодку можно было свободно нести на одном плече и смело встречать в ней любую неудобную волну. Правда, каноэ не отличалось особой устойчивостью — исследователи жизни индейских племен в каноэ могли спокойно только сидеть, но изумительная транспортабельность судна искупала этот недостаток.

Поначалу я тоже не мог подняться во весь рост в наших лодчонках даже на тихой воде. Ноги не знали прочной опоры, лодка качалась, черпала бортами воду при малейшей попытке выпрямить трясущиеся ноги, и я казался себе тогда тем ванькой-встанькой, который в отличие от настоящего не поднимется обратно, если вдруг упадет... Потом я научился стоять в осиновой скорлупе на любой волне, научился сутками мотаться в легкой посудинке по ручьям и озерам. И вместе с тем по лодкам, по их ходу, по корме и бортам научился узнавать, кто сделал ту или иную посудинку.

Мне нравились небольшие проворные лодчонки, где не оставался лишний запас бортов на волну и ветер. Плавать в таких лодчонках было всегда легко и смело, легко — от неглубоких бортов и смело — от самого себя, познавшего любую неудобную волну. Такие лодки и делал на наших озерах Иван Михайлович.

Глубокие лодки с нашивными бортами любили люди степенные и медлительные, эти лодки никогда не торопились и без лишних хлопот всегда добирались к намеченной цели. Лодки длинные и тяжелые выходили из-под рук не очень смелого мастера, который нередко побаивался оставить борта потоньше: тонкие борта при разводе могли лопнуть и свести на нет весь предыдущий труд.

Разводили лодку уже в самую последнюю очередь... Сначала рыбак валил подходящую осину и обводил топором будущие борта, дно, нос и корму. Подходящую осину никогда долго не искали — она была на примете еще до того, как старая лодка отживет свой век. Такая примеченная осина нередко была известна всей деревне и носила имя будущего мастера. Обычно осину подыскивали недалеко от воды, чтобы тут же по окончании работы можно было проверить новую посудинку... Топор обводил контуры лодки и сверху, там, где пока сходились будущие борта, выполнял последнюю свою работу — наносил почти по всей длине ствола узкую неглубокую щель. Топор откладывался в сторону, и его место занимало тесло.

Сначала тесло тоже было топором, но потом кузнец ловко развернул лезвие и загнул его неглубокой ложечкой-долотом. Тесло насаживалось на обычное топорщице, и теперь с его помощью можно было изготовить любой долбленный предмет, будь то корыто, желоб для стока домашнего пива или лодка.

Тесло через узкую щель, прорубленную в осиновом стволе топором, с каждым легким ударом все глубже и

глубже уходило в будущую лодку, выбирая с бортов и со дна лишнюю древесину. Сколько выбрать этой древесины, какую ее часть посчитать ненужной, какой толщины оставить дно, борта, решалось здесь, определялось характером и рукой мастера, и, пожалуй, все это вместе и называлось искусством сделать неплохую лодку.

Искусству мастера помогали небольшой буравчик и коротенькие деревянные шпонки. Шпонки нарезались ножом из ровного прутка, толщина которого в точности соответствовала диаметру буравчика. Когда-то мастер не имел такого простого инструмента, как буравчик, и вынужден был выбирать древесину с бортов по слоям. Толщина слоя определялась расстоянием между теми годичными кольцами, по числу которых еще в начальной школе нас учили узнавать возраст лесного великана. Таких слоев у древнего дерева иногда насчитывалось много, мастер заранее по срезу определял их количество и, берясь за тесло, уже хорошо знал, сколько предстоит ему снять этих слоев от кормы к носу, чтобы не оставить слишком много древесины и не убрать лишнюю, то есть не прорубить лодку.

Это был долгий и тонкий труд — через узкую щель считать или, точнее, чувствовать многочисленные слои, цилиндрами идущие один за другим. И буравчик очень кстати пришел на помощь. Этим буравчиком мастер сверлил ствол по кругу. Круги следовали один за другим на расстоянии полуметра или метра в зависимости от размера лодки и ловкости тесла, и в каждом круге было по шесть — восемь отверстий. В отверстия тут же вставлялись круглые деревянные шпонки, шпонки имели определенную длину (эта длина соответствовала толщине будущего дна и будущих бортов), и теперь мастеру не приходилось считать годовые кольца. Теперь с большей свободой он выбирал

древесину и следил только за тем, чтобы тесло не забралось дальше вбитых в отверстия шпонок.

Шпонки из отверстий не выбивались, они оставались, набухали и прочно закрывали доступ воде, казалось бы, в такую дырявую посудинку. Иногда шпонки вылетали при разводе, но их возвращали на место по окончании самого сложного и ответственного процесса в изготовлении лодки.

Развод лодки, точнее, развод бортов происходил над не очень жарким костром. Жаркий костер мог быстро потянуть за собой сырую древесину и разорвать тонкую скорлупу. Осиновые борта расходятся постепенно, разворачиваясь на огне, как разворачиваются у нас под локтем плохо упакованные листы чертежной бумаги.

Лодка готова, осталось вернуть на место недостающие шпонки, установить шпангоуты и сиденье, которое мы называем беседкой.

Наши лодки не назовешь слишком плохими. Своей устойчивостью они напоминают на первых порах индейские каноэ, в борьбе с волнами превосходят последние, но наши лодки все-таки отстают от своих североамериканских братьев, и отстают только в одном отношении — наши лодки нельзя долго нести на плече. Правда, они без особого труда далеко затягиваются на берег одной рукой и свободно переносятся двумя рыбаками, и в отличие от индейских каноэ, сделанных из бересты, наши долбленки можно сколько угодно тянуть волоком за лошадью по лесной тропе. Наблюдая такой способ транспортировки, я однажды задумался: а не эта ли лошадь и помешала жителям заонежской тайги воспользоваться для изготовления лодок берестой?

С берестой местные жители умели справляться идеально. Заплечники, черпаки, солонки, ножны и даже футбольные мячи выполнялись из бересты с

изумительным изяществом. Широкие полосы бересты применялись и для починки лодок, пробитых при встрече с подводными препятствиями.

Такие встречи обычно происходили в тумане, в темноте или в большую волну и сопровождались неожиданным глухим ударом и предательской струйкой воды под ногами. Не один раз, затыкая пробоину сорванной с головы шапкой, я вспоминал шитые из досок прочные лодки и не раз сожалел, что таких средств передвижения нет на наших озерах. Но шитые прочные суда забывались, когда из озера в озеро приходилось пробираться по узким лесным ручьям. Вместе со шлюпками забывались в ручьях и легкие берестяные каноэ индейцев... Нет, Иван Михайлович, наверное, сумел бы сделать лодку и из бересты, но сколько раз пришлось бы латать берестяную лодку только за одну дорогу по заваленному лесом ручью...

Долбленую лодчонку вместе с веслом один человек делает не более трех дней. Если человек пришел на озеро, где нет ни лодки, ни избушки, ни печки, то следом за лодкой он обязательно примется сбивать печь. Для ухи, для чая и просто для тепла на берегу озера всегда можно обойтись костром, но для промысла нужна печь. В печи и сушат ту самую рыбу, которая затем у людей принимает качество общественно полезного продукта. Сухая рыба называется сушником, и для сушника-то и нужна хорошая жаркая печь.

Когда при ночлеге человек обходится без крыши, то печь сбивается просто на берегу озера под широким берестяным навесом. Навес спасает глину от дождей и годами хранит в лесу сооружение. В изготовлении печей много больших и малых хитростей. Плохо сделанная печь как следует не высушит рыбу. Такая рыба называется плохим сушником или испорченным продуктом, такой сушник не разойдется в чугушке, а человеку, изготовившему плохую печь, следует снова

пройти забытую или недостаточно усвоенную науку... О печах я расскажу как-нибудь потом, когда окончится летний рыбный промысел и начнутся длинные октябрьские вечера. Я расскажу вам о печах и душных и легких, об огне, расскажу о дровах и сказках углей, но этот рассказ будет уже потом, когда для него останется время рядом с нежным теплом березовых поленьев...

А сейчас я только что затопил печь в избушке на берегу Долгого озера. Дым из печи выходит прямо в помещение, сейчас еще открыта дверь, дым валит в это серое от дыма отверстие, дым еще не устоялся, не нашел свою правильную дорогу к прорези в стене под потолком, которая в курной избушке и называется трубой.

Курная избушка появилась в лесу не от желания людей жить в копоті. Боров, отвод — все эти необходимые части настоящей печи можно сложить только из кирпича. Кирпич надо делать — это не такой быстрый процесс. Для кирпича нужна определенная глина. А если такой глины нет, а если и до печи рыбак уже потратит не один день на изготовление лодки и избушки? Вот поэтому и появилась в лесу обычная курная печь. Такую печь или просто сбивают — лепят — из любой подвернувшейся под руку глины, или складывают из угловатых камней. Настоящую и курную печи сближает только одна общая деталь — очаг. И тут и там в этот очаг укладываются дрова, и тут и там разводится огонь, но дым из курной печи уходит не вверх по системе ходов, а просто тянется по потолку к прорези в стене. Такой ровный дым по потолку называется устоявшимся, он не задевает человека и не оставляет на тебе копоті. Устаивается дым всего три — пять минут. За это время с непривычки можно и покашлять, но зато потом, присев на нары, можно долго любоваться этим же самым дымом...

Дым в избушке уже не вертится клубами, он давно поднялся с пола и теперь живыми слоями тянется к прорези в стене. Слои дыма тонкие, цветные, к потолку они все плотней и плотней. Лучи солнца через прорезь в стене расцвечивают эти слои редким золотым веером, и мягкие стрелы веера качаются в потоке слева направо... А дым все течет и течет в солнечных лучах, течет легкой сизой пеленой.

Когда дым устоится, я закрываю дверь в избушку и принимаюсь разделывать рыбу. Рыбу разделываешь на столе. Маленький, прочный столик появился в избушке еще до моего прихода. Его тоже сделали руки рыбака, и по этому столику, да и, пожалуй, по всей мебели, начиная с лавочки из осинового полена и кончая кошелкой из дранки, можно представить, кто жил здесь до тебя...

Иногда среди охотничьих избушек попадаются неуютные, неладные жилища. Здесь как-то неаккуратно сложена из камня печь, небрежно положены на нары доски, да и вся мебель своей неопрятностью бросается в глаза, и тогда тебе верится, что делал эту избушку торопливый, безалаберный человек, который, пожалуй, не собирался оставаться здесь слишком долго. После такой избушки может появиться чувство брезгливости даже к самому озеру, и ты вряд ли снова заглянешь сюда...

Хорошие, умные избушки тянут к себе опрятностью и тем особым теплом, которое оставил после себя другим людям человек, срубивший ладный лесной домик. Это тепло живет и в аккуратно сложенной печи, и в крепком столике, и в удобной лавочке перед печью. Ты сразу узнаешь такое тепло и старательно пытаешься разобрать на прокоптившейся стене инициалы того человека, который жил здесь до тебя.

Оставлять инициалы на стенах избушки — это лесной обычай. Но этот обычай не имеет ничего общего

с желанием некультурных людей оставлять свои подписи на произведениях природы и искусства. Человек, расписавшийся на стене избушки, совсем не собирался тремя начальными буквами своего полного имени заявить последующим зрителям о своей близости к лесу или воде, как заявляют о своем приобщении к историческим и реликтовым местам любители стихотворных или прозаических автографов.

Лесной обычай «расписаться на стене избушки» начинаешь понимать, когда еще только подходишь к двери северного дома. И сейчас на дверях такого дома, как правило, нет замка. Когда хозяин отлучается, он всего-навсего припирает дверь батожком или старым косьевищем, то есть ручкой от косы. Задача такого замка — объявить гостю, что хозяев пока нет дома. Если у тебя есть время, можешь подождать. А если тебе что-нибудь надо попросить у хозяина дома, то можешь войти, взять нужную вещь, но по прибытии хозяина тут же доложить об этом.

Но, как правило, в дверь, заслоненную батожком, могут войти лишь близкие хозяину люди. Некоторое время я не знал об этом последнем условии и, встречая на своем пути подобные замки, преспокойно миновал их. Мне никто не выговаривал своих обид, никто не требовал отчета за те часы, которые я провел в чужом доме в ожидании хозяина, но однажды случай заставил меня пересмотреть свое поведение.

Это было на Домашнем озере. Я оставался в пустой деревушке один и занимал небольшой уютный домик. В домике лежали мои вещи, деньги и документы, на двери, конечно, не было никакого замка, и, уходя куда-нибудь даже надолго, я всего-навсего прикрывал дверь узенькой щеколдой. Щеколда не была препятствием даже для моего пса, но я никогда не задумывался над тем, что мое имущество однажды может пострадать. Через деревушку иногда проходили люди, они шли

дальше на речку Окштомку или возвращались обратно. Эти люди по пути заносили мне письма, приглашения посетить праздник, а то и просто местные новости. Такие встречи были для меня дороги, я боялся пропустить их и на всякий случай оставлял на своей двери плакат, нарисованный углем: «Дорогой друг! Если ты принес мне письмо или весточку, то положи их в шкаф и прими мое сердечное спасибо». Тогда мне казалось, что в своем обращении к прохожему я предусмотрел все.

Но вот, вернувшись домой, я встретил в деревне следы человека. Человек пришел с востока, от людей, и ушел на юго-запад, к другим людям. По пути он подошел к моему домику, даже поднялся на крыльцо, но дверь не открыл. За своим плакатом я обнаружил письма, аккуратно завернутые в газету. Но почему человек не положил почту туда, куда указывал ему плакат? Может быть, он торопился? Нет. Путник после посещения моего крыльца зашел в пустую ничейную избу, перекусил там и выкурил две папиросы. Почему он не зашел туда, где было теплей, где в печи всегда стоял горячий чай?

На это «почему?» мне ответил сам путник. На обратной дороге он снова зашел ко мне, мы встретились, выпили по стакану вина и долго и хорошо разговаривали. Этот человек уже не раз бывал у меня, не раз мы вместе переживали непогоду в одном и том же доме, но тогда наш дом был общим, а сейчас это строение принадлежало только мне, и зайти в него без разрешения, то есть в отсутствие хозяина, могли только близкие люди. В близких отношениях мы не состояли.

После этого открытия я снова припоминал все случаи посещения меня местными жителями и не совсем удовлетворительно оценил свое несколько вольное поведение. Замок в северных лесных деревнях все-таки существовал, существовала молчаливая

договоренность людей. И главным пунктом этого договора было уважение к человеку и его дому.

На дверях охотничьих избушек тоже никогда не бывает замка. Новый посетитель, как правило, не застаёт там и хозяина. Но в избушке остается имущество, снасть и запас продуктов. Здесь всегда можно найти спички, махорку, газету, соль, немного крупы, сухари и горючее для коптилки. Всем этим можно воспользоваться, а оставшееся и лишнее у тебя самого надо положить рядом. Такой порядок не раз выручал людей в лесу. Такой порядок надо беречь и уж никак не допускать в избушке разгрома или вреда.

Когда ты покидаешь избушку, то по закону уважения к человеку и его дому ты должен сказать «спасибо» тому, кто возвел в лесу крышу и сделал печь. А как сказать «спасибо», если ты. не видишь хозяина? Как отчитаться за взятое тобой? И каким образом хозяин может узнать о том человеке, который непорядочно вел себя в лесном домике?

О непорядочном человеке всегда можно узнать в лесу: лес долго хранит следы хотя бы тех же резиновых сапог, и охотнику, умеющему читать следы зверей, не так уж трудно разобраться, откуда и кто приходил в лесной домик и где искать провинившегося. Конечно, провинившийся человек вряд ли оставит свои инициалы там, где он совершил моральное преступление. Но другие вместо «спасибо», вместо отчета о посещении лесного жилища не слишком крикливо наносят на стене ножом три начальные буквы своего полного имени.

И сейчас, после ужина при свете коптилки на берегу хмурого и неприветливого Долгого озера, один в тайге, где за дверью сразу же поднимаются темные ночные ели, я старательно разбираю надписи на стенах и восстанавливаю по ним имена тех людей, которые до меня посетили этот лесной домик. Кто были они, эти

люди, оставившие мне тихий вечерний уют охотничьей избышки?

На столе коптилка, печь с дымом в избу, в кружке чай из всех ягод сразу, уха, в которой от рыбы стоит ложка... Коптилка прикрыта от сквозняка старой миской, крошечное окошечко в ночь, разрезанная луковица, чеснок, нож, брусочек, баночка с солью, пузырек с керосином, спичечный коробок с рекламой «Пчелы нужны садам»... Цветок, наверное, яблони, но на цветке очень хищная пчела... Из-под котелка выглядывает клочок как-то попавшей сюда газеты «Футбол», видно только заголовок: «Золото браззавильцев»... Это что-то про Африку... Тепло и тихо, только трещат угли, даже не трещат, а потрескивают или, точнее, шуршат... Опять ветер в осинах и далекий-далекий стон гагары — гадара обычно стонет перед непогодой...

От меня по стенам и по потолку большая-большая тень. Тень наклонилась над столиком. Рукой можно показывать на стене собак и голубей. Они тоже большие-большие... Под ножом рассыпается на ладони сахар, рассыпается белыми искрящимися изломами — хороший сахар. И тут же — мой дневник и шариковая авторучка. Авторучка давнишняя, какой-то западногерманской фирмы... Ее название я раньше помнил, а сейчас при свете коптилки не могу разобрать... Стержни чешские, мягкие и легкие для бумаги... А все остальное русское-русское, как этот лес, это загадочное озеро и теплая печь с голубыми потоками дыма под потолком...

Уже при свете коптилки я разобрал на досках стола еще несколько рядов старых закоптившихся зарубок. Длинные ряды, видимо, означали дни, окончившиеся, как мой сегодняшний день, у ночного огня. Другие ряды, покорооче, должны были рассказать о других днях, когда погода выпускала на озеро, когда был промысел и

рыба... Да, у тех людей, которые построили избушку, оставили мне крышу, печь, легкую лодчонку и крепкое весло, здесь, на озере, была та же цель, что и у меня, — рыба, много-много рыбы за не очень длинный срок летнего промысла.

В печи совсем гаснут угли, от них остаются только серые горки пепла. Пепел съеживается, остывает. Но в избушке тепло, тепло от недавнего огня и горячих камней, что оставили в себе жар хороших еловых дров.

Да, рыба. А что еще держало в этой избушке людей? О чем думали они у ночного огня после долгого и не всегда ясного дня среди волн и ветра? Что берегли в своей памяти? Во что верили? Кто ждал обратно этих людей, которые оставили для других свою тропу, тески на еловых стволах и маленький берестяной черпачок у ручья на пути к избушке?

Глава девятая

ПОГОДА

С утра над озером висели низкие рваные тучи. Тяжелые и сырые, они никуда не собирались уходить, они оставались, грозя каждую минуту свалиться вниз холодным осенним дождем. Эта минута была где-то рядом, но пока не приходила... И вдруг шум, далекий, неясный шум по воде. Шум приближается, торопится к твоей лодке, и вот ты уже видишь, как по озеру бежит, становится шире и ближе густая стена мутной воды...

От дождя я успел уехать и спрятаться под берегом. Вовремя избежать неприятности помог мне сам дождь — я узнал о нем заранее по шуму тяжелых отвесных струй воды, которые упали сначала в дальнем конце озера. Знать заранее дождь по его голосу и было самым близким моим прогнозом погоды.

Дождь кончился. После дождя появилось голубое, чистое, как весной, небо, и под этим небом вдруг поднялся над водой серебряный тростник. Дождь задержался на листьях и стеблях, не упал весь на воду, и теперь в зарослях тростника засверкало много-много маленьких солнц. Я осторожно стянул с себя плащ и бросил его в нос лодки, и тут же на плаще, как и на тростнике, вспыхнули маленькие яркие солнца. Лодка неслышно выбралась на озеро и остановилась — в лодке начиналась радуга... Радуга уходила вверх высоко и круто, и оттуда, сверху, смотрело на меня через радугу настоящее большое солнце...

Радуги могут быть самыми разными. Одни из них появляются перед дождем, другие сопровождают ливни, а третьи остаются после того, как дождь кончился. По форме радуги могут быть крутые и

пологие, и эти яркие полосы разных цветов, поднявшиеся от воды, не так уж редко помогают предсказывать погоду.

Радуга высокая и крутая обычно предвещает хорошую погоду, предвещает день без дождя. Низкая и пологая радуга, с трудом поднявшаяся над лесом, может обещать ненастье. Когда радуга, даже не очень высокая, появляется после дождя, смело жди хорошего, ясного вечера.

Сейчас радуга стояла над озером после целого дня густого, тоскливого ненастья. Ненастье кончилось только к вечеру, и появившаяся после непогоды радуга могла пообещать безмятежную рыбную ловлю лишь на несколько оставшихся светлых часов. А завтра, а следующий день? И снова радуга, появившаяся к вечеру, ответила на мой вопрос: завтра, если сегодняшний день кончится яркими цветными полосами, с утра жди дождь...

Завтра с утра снова будет гнетущая, сырая погода. Я вижу, знаю об этом и по закатному солнцу. Солнце сейчас желтоватое, мутное, оставшиеся после него облачка тоже тускло-желтого цвета. Такой закат не назовешь ведренным. Ведренный закат малиновый, мягкий. И пусть при таком закате солнце уходит, как скажут, в тучку, но края этой тучки перед завтрашней хорошей погодой всегда окрашены в тот же теплый цвет лесной ягоды малины.

Малиновый, мягкий цвет к ведренному закату, к закатным облачкам приходит от водяного пара, собравшегося к вечеру в нижних слоях атмосферы. Ночью этот пар осядет на землю, на тростник, на листья деревьев богатой густой росой, и на следующий день после ведренного заката и богатой ночной росы до обеда не будет дождя.

Сегодня ночью росы не будет — значит, завтра снова потянутся низкие сплошные тучи... Это можно

еще раз проверить сегодня, сейчас, безоблачным легким вечером, который опустился на мое озеро. Вечер ясный и чистый. В такой вечер далеко на горизонте видны отдельные резные вершинки елей, ты чувствуешь, видишь вокруг себя безграничный простор. Но этот простор, эта легкая видимость обманчиво успокаивают тебя: нижние слои атмосферы чисты, в них нет того самого водяного пара, который окрашивает ведренный закат малиновыми красками, нет близкой росы, над водой сегодня не будет тумана, и ты долго можешь слышать ясное, чистое эхо от удара весла по борту лодки.

Тыходишь к воде, берешь в руки легкое осиновое весло и слегка опускаешь его на борт лодки... Лодка звонко вскрикивает. Голос осинового судна поднимается к елям и долго и широко расходится над тайгой, рассказывая тебе о завтрашнем несчастье. Завтра к утру сырость опустится к земле, и перед восходом солнца появятся на востоке узкие, темные облачка с красными околышками, облака непогоды.

Желтый тоскливый закат уже давно ушел за тайгу. Давно протопилась моя печь, тоже предсказав по своему завтрашнее несчастье. Дым из прорези в стене избушки не поднялся сегодня вечером вверх. Сегодня вечером не было ветра, но густой тяжелый дым вдруг повернул в сторону и низко и медленно расплылся над водой. Дым вниз, к воде, — это тоже к завтрашней непогоде... Теперь оставалось подтвердить свой прогноз только по ночному небу.

Звезды стали к полуночи яркими и большими. Но звезды не казались застывшими, они мерцали. Час от часу мерцание звезд становилось сильнее. Если бы звезды мерцали с вечера, это все-таки предвещало бы хорошую погоду, но мерцание звезд к утру, мерцание, которое мы наблюдаем из-за большой влажности воздуха, могло обещать только дождь: водяные пары,

не успевшие осесть за ночь росой, к утру соберутся в тяжелые сумрачные облака и опрокинутся вниз холодным дождем...

Снова дождь, снова сырость, снова слушать шум приближающегося дождя, ждать радугу, новый закат, новое мерцание звезд и очень надеяться на скорую перемену погоды.

Погода скоро обязательно переменится. Об этом рассказывает луна, ущербная, умирающая луна ненастного месяца — на новом лунном месяце, особенно после сырой погоды, почти всегда наступает хорошая перемена. Перемена может наступить и тогда, когда луна достигнет полного круга и двинется на ущерб или уйдет на время совсем... Как объяснить это? Пожалуй, объяснить изменение погоды рядом с фазами луны все-таки можно. Но мне не хочется этого делать сейчас, когда разговор идет не о тонкой научной формулировке, а об умении человека, живущего в лесу, знать погоду вперед без справочников и счетно-вычислительных машин.

Луна редко когда подводила меня. Она не только подтверждала мои выводы о завтрашнем дне, но и помогала строить такой прогноз, который по своей длительности почти не уступал тем долгосрочным сводкам, с которыми знакомимся мы на страницах газет.

Узкий серпик только что народившегося светила оповещал меня о состоянии погоды на Домашнем озере вперед на двадцать дней. Когда луна появлялась на свет крутой, опрокинутой на спину, с загнутыми вверх рогами, месяц обещал быть хорошим, ведренным, без частых дождей. На нижний рог такой молодой луны, как на крюк, можно было повесить полное ведро воды, не опасаясь, что луна вдруг перевернется и выплеснет на тебя эту воду. Крутая луна вселяла уверенность не в пример той, другой луне, которая опрокидывалась

рогами вниз и выливала на тебя каждодневные потоки дождей...

С возрастом луна выправлялась, полнела, и тогда тебя интересовала не столько форма, сколько цвет луны, цвет и характер кругов около твоей ночной спутницы...

Бледная и мутная луна обещала назавтра ненастье, чистая и ясная — яркую, хорошую погоду. Иногда вокруг луны появлялось светлое неясное сияние, луна как бы умывалась этим туманным светом и, конечно, после совершения туалета выплескивала остатки воды на грешную землю. Когда вместо туманного сияния луне сопутствовал светлый, ясный круг и в этом круге, как в рамке зеркала, приветливо и открыто улыбалась благодущная селена, я редко опасался за следующие два-три дня.

В эти дни небеса оставались спокойными и приветливыми для человека, идущего по лесным тропам. Эти дни были на руку и сенокосцу: ведь два-три ведренных дня, угаданных вперед, — это скошенное, высушенное и уложенное в стог или зарод сено с приличного клочка земли, который в нашем лесу называют логом. Завтра можно валить лог, можно смело косить: сегодня ясная луна, сегодня ведренный закат, не слишком бойкое вечернее эхо, да к тому же сегодня после заката солнца на совершенно чистом небе долго было видно в западной стороне туманное серебристое сияние. Это сияние более точно, чем луна, пообещало надолго хорошую погоду...

Сколько дней простоят хорошая погода после вечернего серебристого сияния? Я долго не мог ответить на этот вопрос, и, когда погоду надо было знать совсем точно вперед на неделю, на десять дней, я попросту шел к какому-нибудь ветхому старику. В ответ на мою просьбу пожилой человек что-то долго и тщательно вспоминал, потом отодвигал недопитый

стакан чаю и еще раз уточнял: мол, что именно мне надо, знать точное расписание небес на десяток дней вперед или достаточно будет обойтись общими сведениями о погоде на месяц? И ту и другую просьбу старик мог удовлетворить.

Истины, преподнесенные лесными жителями, заносились мной в дневник и каждый день проверялись не только по цвету закатных облаков, но и по барометру... Цвет закатных облаков обычно не подводил, не подводил на день вперед и барометр. Но когда хотелось забежать вперед чуть дальше, чем позволяли роса и дым из трубы, вначале я нередко ошибался, несмотря на старательную помощь умного прибора...

В тот раз погода не обещала никаких каверз. Стояло ровное жаркое ведро. Каждый день уходил на покой в малиновом одеянии. Не было ветра, не было тяжелых облаков, луна по-прежнему приходила ясно и добро, но старик недвусмысленно нарек на третий день громкую грозовую погоду с ветрами. Рисковать или не рисковать? Еще раз обращаться к старику было некогда, и за отсутствием живого предсказателя я обратился к барометру. Барометр стоял на положительной отметке, и я все-таки рискнул осуществить в течение ближайших дней великое переселение.

В переселениях, которые я в шутку называл великими, не обойтись без вьюков. Вьюки мне неплохо заменял тяжелый рюкзак, а носильщиков и вьючных животных заменяли собственная спина и ноги. На этот раз целью переселения было новое озеро... Во время такого переселения меня и остановила гроза.

Барометр начал падать всего лишь к первому грому. Старик оказался прав. Но что предупредило старика? Ревматическая боль? Нет, тонкие, разреженные облачка, которые появились на чистом небе еще за три

дня до грозового шквала. И эти облачка сообщили внимательному человеку о близкой грозе еще задолго до того, как начал падать барометр...

Рассказывая о прогнозе погоды, я старался перечислить те внешние признаки, по которым сам учился узнавать о завтрашнем, о послезавтрашнем дне. Но однажды цвет облаков, направление ветра, движение туч и, наконец, цвет воды и запах болота перестали существовать для меня... Все осталось: и закаты, и волны, но теперь я редко присматривался к ним, редко отмечал вслух цвет вечерней луны, редко сравнивал полутона утренних и закатных облаков, но в то же время мои сводки стали более точными. Появилось новое качество — предчувствие. Человек стал тоньше, внимательнее относиться к окружающему, и со временем это окружающее как бы само по себе, без особых усилий со стороны человека стало помогать ему узнавать погоду вперед.

Теперь я уже не отмечал в дневнике сроки пролета гусей или лебедей, я просто помнил, что в эту осень птицы летели поздно и не очень дружно и что следом за таким перелетом редко сразу сваливаются крепкие холода... Летающие у земли ласточки, пузыри на лужах, плачущие окна и рамы, сырая соль, цыплята, собравшиеся под наседку, неожиданный выход рыбы на кормежку среди сухой жары, легкие полоски на чистом небе или видимая тяжесть облаков — все это, и как бы между прочим, оставалось в памяти и помогало мне предчувствовать погоду.

А что, если помнить из года в год и облака, и ветер, и серебристое сияние, и темные разводы на светлой воде озера? Может быть, тогда и я смогу, как и тот старик-ветродуй, точно обещать сенокосцам вперед на месяц хорошую погоду почти без дождей, а если и с дождем, то указывая, после скольких дней вёдра пройдет спорый дождь северного лета?

Это было верхом лесного мастерства — знать наперед не один следующий шаг, а всю дорогу. Мастерство порой поражало, казалось фантазией или случайным совпадением, но совпадения исправно повторялись, как признание большого внимания и богатого опыта человека. Опыт собирался яркий и богатый. Он оборачивался баснословными уловами, удачной охотой, сухим сеном, вовремя убранным ячменным снопом и легкой таежной тропой...

Сейчас я вспоминаю собственный небольшой опыт, который пришел ко мне после двух лет промысла рыбы... Тогда я не любил сетей, не знал их так хорошо, как крючковую снасть, и больше промыслял простой удочкой. Но искусство удильщика, к сожалению, было знакомо со значительным риском. И величина этого риска прежде всего определялась твоими знаниями воды и рыбы. Но однажды я вдруг почувствовал, что могу больше не рисковать... Теперь я начал выезжать на озеро только тогда, когда меня ждала рыба. И рыба, действительно, ждала... Совпадение, фантазия? Об этом я задумывался и там, на берегу отхожего озера, но сейчас я совсем точно знаю, что мое нежелание ехать сегодня, сейчас в тот или иной залив не было результатом каких-то неуправляемых процессов — в том заливе в тот час рыба не ловилась! Это можно было проверять изо дня в день, и факт оставался фактом: мы встречались с подводными жителями будто по заранее составленному расписанию. Правда, это расписание постоянно менялось, но оно было и позволяло мне говорить о том, что теперь я живу с окунями и щуками как бы одним настроением.

А может быть, все-таки что-то было не так, может, какой-то удачный час я пропускал, сославшись на свое неподходящее настроение? И я снова обращался к опыту живущих в лесу людей, сравнивал их и свои уловы и снова приходил к выводу, что ни щукам, ни

окуням, которых я навещал, почти никогда не приходилось бесцельно дожидаться меня: уловы местных рыбаков и мои «производственные показатели» на Долгом озере совпадали — я ловил не меньше.

Было ли что-нибудь странное в таких небольших открытиях? Вряд ли. Просто жизнь преподносила свои уроки, я старался честно запоминать их. Уроков было много, всех их не перечислишь на страницах даже очень большой книги, как не поместятся пока на страницах самого объемистого научного труда все математические выкладки, которыми мы постараемся описать те пути, что приводили потомка лесных язычников, внимательно прожившего жизнь, к точным и долгосрочным прогнозам погоды... Да вряд ли и удастся сейчас даже при очень большом желании строго и полно описать теорию предчувствия лесного ветродуя, которая помогала ему не раз подправлять газетные сообщения о преимущественных осадках и преобладающей облачности.

Газетные сообщения о погоде в нашем лесу никто, кроме меня, и не читал. Я читал их по старой городской привычке и всегда немного сожалел, что там, где составляют эти сообщения, не было в качестве самого последнего консультанта человека, жившего долго и безрезультатно один на один с природой...

Глава десятая

СУШНИК

Пожалуй, краски неба над вечерней водой стоят того, чтобы их искать и бережно и долго помнить. Я собирал закаты. Я видел малиновое и вишневое небо, видел фиолетовые перья вечерних облаков перед завтрашним инеем. Эти перья неслышно опускались на испуганную воду и холодно светились на середине озера. Помню я и небо мороза, небо в белых съезжившихся лапках, какие бывают зимой на оконном стекле. А приходилось ли видеть вам настоящий пожар неба, огненные, живые краски заката, вдруг взметнувшиеся из-под тяжелых свинцовых туч, сдавивших уходящее солнце? Эти тучи погасили солнце, погасили вечерний свет неба, и на озеро опустилась мутная, беспокойная хмарь... Тогда я сидел в лодчонке посреди Домашнего озера и проверял перемет. Я сидел спиной к закату и видел только воду впереди себя. И эта серая, почти ночная вода, вода цвета холодного, мертвого пепла вдруг вспыхнула красками пожара. Я обернулся и увидел, как последний огонь солнца все-таки вырвался из-под тяжести свинца и зло полыхнул по небу. Небо походило на костер, на груды сырых, брошенных на горячие угли дров. Казалось, дрова уже погасили костер, казалось, огню никогда не вырваться из-под тяжести поленьев, но он ждал, копился, молча воевал с сыростью и вдруг взметнулся широким, сердитым, всепожирающим языком...

Вслед за багровым огнем с запада сорвался тупой, громкий удар ветра. Ветер швырнул лодку, и я повис на шнуре перемета. Шнур резал грудь и уходил к якорям

двумя звенящими струнами. Якоря не могли подвести, они держали прочно, а лодка металась из стороны в сторону, грозя вырваться, умчаться и оставить меня одного посреди кипящей воды... Конечно, можно было бросить снасть, отвести от груди шнур, поднять его над головой и отпустить звенящую струну. Тогда весло, волны и скорый берег... Но бросать работу было нельзя. На перемете была рыба, ее надо было снять сегодня, чтобы она не погибла, чтобы не пропала дневная работа и чтобы к завтрашнему утру можно было вынуть из печи очередные килограммы высушенных окуней и щук...

За моей лодкой с берега беспокойно следили люди. Они стояли у самой воды и ждали, как ждут на земле, не имея возможности помочь попавшему в беду парашютисту, его товарищи... Помочь мне люди не могли. Шквал закрыл озеро для лодок, и людям на берегу осталось только надеяться на счастье и способности попавшего в беду.

Лодку отнесло далеко от деревушки, к счастью, протащило мимо камней, к счастью, не перевернуло. Переворачиваться не хотелось: на мне были ватник, высокие сапоги, теплая одежда... Уже на берегу я долго вспоминал, как отшвыривал ветер занесенное для гребка весло. Но сушник на следующее утро все-таки был.

Сушник — это сухая рыба, рыба, высушенная в печи. Из пяти килограммов крупной рыбы выходит один килограмм сухой. Свежую рыбу из леса не вынесешь — далеко и тяжело. На первый взгляд получается, что сушник — это вынужденная необходимость, но если разобраться глубже, то сушник выглядит уже незаменимым продуктом. Сухая рыба хранится месяцами, годами, ее легко и просто взять с собой на охотничий промысел зимой. А сенокос, когда работа проходит далеко от дома, когда людям нужна крепкая здоровая пища и когда летом нет мяса?

Вам приходилось когда-нибудь отведать картофельный суп со сметками? Мелкая сухая рыбешка доставлена вам на стол с какого-нибудь Лекшм- или Викшозера. Красивыми снежными дольками нарезан картофель. Можно добавить и лук, и перец, и лавровый лист. Вот мелкая, медленная закипь появляется по стенкам кастрюли, пузырьки чаще, больше, потом полчаса кипения, и по тарелкам разливается темно-янтарная жидкость, а во рту приятно с мягким неслышным хрустом рассыпается то, что совсем недавно называлось сухим сметком.

Суп из сухой плотвы готовится по такому же рецепту. Вкус бульона и рыбы повторяют собой вкус супа из сметка, но блюдо, приготовленное из сухой плотвы, ярче цветом и запахом. Суп из сухого окуня слаще и крепче. Оставленный в кастрюле не очень близко от печи, он застывает к утру и употребляется уже в холодном виде. Суп из сухих щучьих голов застывает в бледно-желтое заливное, и такое заливное по-своему аппетитно даже после классических рыбных блюд.

Сравнивать неизвестное с известным и таким путем объяснять непосвященному человеку ценность новых открытий — путь простой, но не всегда правильный... Сейчас я вспоминаю необыкновенные белые лилии, которые встретил однажды и о которых очень хотел рассказать другим. Тогда я жил на Долгом озере и ловил зеленых окуней...

Зеленые окуни были толстыми, жирными рыбами. Они жили в мелких, заросших заливах, подолгу копались в торфе, выискивая самый непотребный корм, и ловить этого зеленого окуня можно было всегда на любую насадку. Зеленые окуни были ленивыми болотными рыбами, и уха из них никогда не казалась такой прозрачной и легкой, как из голубых окуней.

Голубые окуни представлялись мне гордыми и быстрыми рыбами. Они жили на глубине среди камней и даже на поиски пищи никогда не заходили в мелкие, заросшие заливы. Голубые окуни не в пример зеленым никогда не сдавались без боя. Их трудно было найти, а когда и удавалось пересечь путь отважной стае, то встреча с ней длилась всего несколько минут.

По ночам и в густую летнюю жару голубые окуни опускались на самое дно, а с утренним солнцем снова выстраивались в свои быстрые походные колонны и направлялись в рейд к лудам...

Лудами на северных озерах называют приподнятости дна. Чаше луды не выходят на поверхность, чаще они скрыты под водой, и тогда о них узнаешь лишь по широким листьям, что поднялись вдруг посреди озера длинными зелеными островами. Когда нет ветра, когда молчалива вода и далеко видны на этой воде блестящие листья, рыбак вряд ли ошибется, если повернет свою лодку в их сторону. Там в глубину круто падает песчаный или каменистый скат, там держится малек, и туда в первых лучах пробудившегося солнца вырвется азартная стая голубых окуней.

На луду выезжаешь еще в тумане, осторожно привязываешь к колу лодку и ждешь. Туман постепенно уходит. Из тумана вода и листья будущих лилий появляются сначала мутными, потом светлеют и занимают тихим огнем утренней зари. Когда совсем наступает лето, когда отцветает рябина и появляются первые стайки суматошных утят, луды узнать и увидеть проще... Черная вода, вода без дна, вода, пришедшая сюда из елового лога, такого же черного и таинственного, как само озеро. Такая вода молчит глубиной и тайной, и над этой тайной цвета воронова крыла вдруг раскрываются белые огни лилий. Огонь лилий кажется остановившимся, остановившимся

навсегда. Вначале он тоже жил, разгорался новыми лепестками, расходился шире и ярче, но вот достиг чего-то очень большого и остановился, будто испугался своей таинственной силой погубить вокруг все живое...

Тогда на Долгом озере я очень ждал цветы белых лилий. Эти цветы должны были стать сигналом, известием, что теперь около луд появится голубой окунь. Я ждал голубого окуня, ждал первые цветы на лудах, объезжал на лодке все заливы и ручьи, посещал другие озера и вот тогда-то и встретил на речке Окштомке необычные лилии...

По берегу бочажка росла высокая густая трава. Траву еще не успели скосить, она еще была и прятала собой воду и необычные цветы. Я раздвинул траву и увидел лилии. Цветы, наверное, не уместились бы на ладони. Их нельзя было сорвать, взять с собой, на них можно было только смотреть, забыв, что где-то есть еще что-то более прекрасное.

На обратном пути я долго придумывал, как рассказать об этих лилиях другим людям. Рассказать можно было, только найдя что-то такое, что люди хорошо знали, а потом сравнить с этим известным мои лилии... Но о лилиях я так никому и не рассказал. Эти лилии не с чем было сравнить, их надо было видеть, они были первозданными...

И сейчас, перечисляя самые разные блюда, приготовленные из сухой рыбы, и делая попытку сравнить эти блюда с заливным из осетрины или с супом из головизны, я снова прихожу к выводу, что сравнивать можно только что-то близкое между собой. Осетр, севрюга, белуга — эту рыбу когда-то называли красной, то есть самой хорошей. Заливные, жаркое, супы, отварные блюда, кулебяки с вязигой — все это давала красная рыба, рыба редкая, а оттого и дорогая. Здесь был свой вкус, свой запах, свои поклонники и гурманы... Когда-то давно красная рыба была для меня

чем-то несбыточным, а потому и ценным. Но вот рядом оказались неторопливые костры волжских рыбаков. У этих костров я учился готовить зернистую икру, учился вынимать вязигу и разделять на балык тяжелых серо-голубых рыбин. Но даже у волжских костров рыбаки чаще говорили не об отварной осетрине, а об ухе из окуней, о жареных карасях или о сушеной тарашке. Окунь и здесь, рядом с красной рыбой, оставался продуктом желанным и никогда не надоедавшим. Осетрина приедалась, приедалась икра, приедались горбуша и сиги, но окуневую уху можно было варить каждый день, и каждый день она была необыкновенно приятна и обыкновенно нужна, как хорошо выпеченный хлеб. И наверное, эта необыкновенная обыкновенность окуня, чередующегося в рыбацком котелке или котле с лещом, плотвой или щукой, и была той преградой, которая не позволяла сравнивать заливное из сушника с фирменным заливным из осетрины.

Но на заливном и супах перечень блюд из сушника еще не оканчивался. Я не помню, какой это был праздник, но он остался в моей памяти не богатством стола, не радушием хозяев, не мягким северным многоголосием застольных песен — я запомнил низкую глиняную плошку, в которой гостям была подана сухая щука, предварительно выжаренная в молоке.

Пусть простят меня те, кто усмотрит в моем рассказе о сушнике излишний плотоядный интерес, за которым будто бы были забыты и душевные качества людей, пригласивших меня в гости, и чудесные народные песни. Я не боюсь еще и еще раз говорить о пище, об угощениях, в которые хозяйка вкладывает себя порой более полно, чем в послеобеденную песню. Наверное, в пище надо соблюдать не только положенные количества витаминов, белков, углеводов — пищу надо уметь готовить, уметь исполнить и

преподнести, как хорошую песню, и тогда за столом и сама песня будет звучать шире и добрей, и совсем не потому, что запоеется она на сытый желудок.

Искусство песни — это искусство исполнителя жить, быть человеком, уметь в каждый шаг вкладывать себя, будь то созданная сказка или простая пшенная каша с молоком. Даже самую простую кашу и ту надо знать: надо знать, когда поставить ее к огню, когда пододвинуть поглубже в печь, когда достать и подать к столу. Может быть, именно поэтому еще тогда, когда не было супружеских анкет, лицо будущей хозяйки оценивалось сначала по ее умению приготовить пищу... Не сердитесь на меня те хозяйки, которые предпочитают пользоваться домовыми кухнями, я совсем не хотел сказать, что удел женщины — стоять с ухватом у печи, но с этого самого ухвата когда-то и начинались очень хорошие песни. Неудачливый человек не исполнит хорошей песни, песни не может быть, не может быть искусства, когда исполнитель не умеет искусно подойти даже к обеденному столу. Пускай простят меня и создатели песен, но не такие уж последние песни создавались непосредственно у печи. Что помогало женщине, взявшей в руки ухват, сложить хорошую песню или добрую сказку? То ли игра огня, то ли шепот остывающих углей, а может быть, и ожидание доброй улыбки на лицах людей, которые отведают искусно приготовленную хозяйкой сухую щуку, выжаренную в молоке.

Природа Севера никогда не отличалась особой щедростью. Скупость природы оставила свой след и на разносолах лесного стола. У нас редко когда поднесут гостю яичницу на сале со сметаной, почти никогда не предложат огурцов и помидоров, не удивят ни жареным гусем, ни жареными белыми грибами. Белый гриб не растет в наших сырых еловых местах, но зато на столе вас всегда встретят соленые рыжики и волнушки,

пироги с черникой и брусникой, выжаренная сметана, отменная простокваша, то самое сливочное масло, отдаленного родственника которого мы называем вологодским, и, конечно, рыба... Рыба в ухе, уха из свежей рыбы и рыбы-сушника, рыба в пироге и просто рыба, вынутая из супа. И может быть, именно из-за этой самой рыбы и ждали меня с полудня на Меневом ручье женщины...

До людей мне оставалось еще с час пути. За плечами, как всегда, была ноша. Но на этот раз моя ноша была необычной — я выносил к людям сушник...

Сушить рыбу учили меня все сообща, учили, как подобает, с шутками и розыгрышами, но честно и ответственно. Сушник накапливался, заполнял кошелки, и наконец настал тот день, когда сухую рыбу надо было вынести и реализовать по существующим ценам, как реализуют в сфере товарного производства грибы, ягоды, плетеные кошелки и прочие дары леса. Ни о каких договорах с торгующими организациями тогда не могло быть и речи: брать на себя даже самые малые обязанности в то время я еще не мог и посему ограничился самым простым путем доставки сушника к столу потребителя — дорогой из нашей лесной деревушки к людям... И эту дорогу за день до меня прошел с таким же самым сушником Василий Герасимов. Васькина поспешность меня несколько насторожила. Спрос-предложения по части сухой рыбы — все это было для меня еще загадкой... А не придумал ли этот самый Васька перейти мне дорогу, перехватить спрос и оставить предложения без реализации?.. Васька уходил весело, с многозначительной ухмылкой разбитного таежного хозяина, убеждая меня, что отправляется вперед созвать ярмарку и выслать навстречу мне зазывал, именно мне, купцу. Я не очень верил Васькиному балагурству, к тому же меня мучил сам факт неожиданного перехода из одной, высшей

сферы производства в другую, более отсталую, и всю дорогу до Менева ручья я тащился, как в преисподнюю, в которой мне были уготованы разочарование, финансовый крах и вечный позор... Но Васька, как и случается с людьми, на первый взгляд не очень серьезными, еще раз подтвердил ту святую для себя истину, что даже чрезмерно бойкие слова он никогда не бросает на ветер, — у Менева ручья меня действительно ждали зазывалы.

Менев был первым ручьем на пути в лесу и последним по дороге к людям. На обратной дороге из леса я всегда отдыхал у этого ручья, долго курил и задумчиво смотрел на его глубокую воду цвета жидкого вываренного кофе. На этой воде распускались особо пышные кубышки. Эти кубышки казались совсем домашними после многих дней работы среди волн и ветра, работы на чистой глади отхожих озер, где по лудам горели лишь таинственные неживые огни белых лилий. Когда за долгими рабочими днями наступала усталость, белые огни лилий начинали казаться холодными и даже ледяными. Тогда я часто вспоминал Менев ручей и его теплые мирные цветы.

В желтых цветах кубышек кроме ласкового тепла жила и какая-то неразгаданная людьми тайна... Я любил срывать такие цветы еще не раскрывшимися и лепесток за лепестком двигаться к тайне. Сначала лепестки были зелеными и неподатливыми, как прочные латы рыцарей, охраняющих вход в замок вечных сокровищ. Потом латы все-таки отступали перед желанием человека знать дальше, и их место занимали желтые лепестки. Желтые лепестки становились все нежней и беззащитней... И наконец ты входил в таинственный и незнакомый мир. Таинственность звала... Еще, еще лепесток...

Но в этот раз заглянуть в тайну цветка воды так и не удалось. На бревнах около моста сидели женщины.

Их было две. Они учтиво поздоровались и после нескольких слов о том, что сено уже убрали и что для меня есть письма, прямо приступили к деловым переговорам. Целью переговоров было заполучить от меня право на монопольное приобретение всего сушника.

Такой оборот дела вселял надежду. Я тут же подписал со своими зазывалами благодарный договор и с легким сердцем взвалил натянувший было плечи мешок — мешок уже был не моим... Но последующие события несколько изменили мой договор с женщинами. По дороге нас встречали еще и еще люди и все до одного просили сушник, просили и все, что я принес, и часть, и только килограммчик, и, наконец, хотя бы на вару...

Кому и как разошелся мой мешок, я не знал. Вечером я пил чай, дымил «Беломором», угощал своего пса пряниками и, чувствуя себя по меньшей мере золотопромышленником, крыл Ваську. Крыть этого неугомонного человека все-таки стоило... Его преждевременный вояж, как и все остальные деяния доморощенного лешего, преследовал не просто деловые цели. Васька поторопился к людям, чтобы разыграть очередную комедию: с его слов люди представили, что я принесу очень много рыбы. Слух о близком явлении богатого купца распространился с быстротой наилучшего беспроволочного телеграфа, и еще к ночи все приходили и приходили люди с одной-единственной просьбой: «Ну хоть на вару, хоть с горсточку-то окуньков бы...»

Горсточка окуньков вовсе не была той мерой, которой принято оценивать размер подаяния. Люди были сыты. Каждый из них мог купить всю и мою, и Васькину рыбу и сделал бы это с удовольствием, но рыбы было мало, и просьба людей, эта горсточка, скорее всего напоминала очередь в рыбном магазине за

осетриной, когда продавщица объявляла, что товара почти не осталось. Тогда люди обращались с просьбой в кассу и к продавцу: отпускать в одни руки не более полукилограмма. Нередко такая просьба в рыбном магазине не имела успеха, и я с горечью сравнивал людей, стоявших у прилавка первыми, с теми женщинами, которые полдня ждали меня, которые получили в свои руки всю рыбу, но уступили ее другим, оставив себе лишь малую толику.

Откуда такое душевное качество? Может быть, от того самого сушника, от той избушки на берегу отхожего озера, где два-три рыбака рядом топят не один день общую печь и никогда не считают, чьи продукты израсходовали они сегодня или вчера на завтрак, на обед или на ужин...

Что было у меня в избушке на Долгом озере на завтраки, на обеды, на ужины, я, пожалуй, и не вспомню. Не вспомню хотя бы потому, что ни разу не знал ни завтраков, ни обедов, ни ужинов как таковых...

Говорят, что для подобного повествования неплохо подошла бы дневниковая форма, то есть форма дневника... Я никогда не задумывался над тем, в какую форму обрядить свой рассказ. Рассказ получался как-то сам по себе, и, начни я его снова, он, пожалуй, выглядел бы немного иначе. Безусловно, каждый день отхожего промысла отличается один от другого. Эти дни можно точно сосчитать по страницам дневника, который я все-таки умудрялся вести. Но после утра, дня и ночи ловли, после двух-трех кошелок вычищенной и выложенной в печь рыбы, после дождей, гроз, бесклевья, после двух-трех глотков крепкого-крепкого чая перед дорогой на озеро и точно таких же глотков по возвращении, уже перед новым утром, под гнетущий визг комаров мне оставалось записать в дневнике только отдельные факты... Выехал во столько-то, приехал тогда-то, улов такой-то, сухарей, сахара и

крупы осталось всего на столько-то дней... Уходить придется тогда-то... Я не буду сейчас возвращаться к своему дневнику, я просто вспомню столик в избушке и сорок пять зарубок, сделанных на его досках моим ножом... Сорок пять зарубок — это сорок пять дней и ночей на Долгом озере. Это на сорок пять дней хватило всего, занесенного в лес за один раз, это сорок пять раз я спускался к лодке, брал весло и сорок пять раз уезжал в туман или дождь, чтобы часам к одиннадцати вечера вернуться обратно. Иногда путешествия на лодчонке продолжались по восемнадцать — двадцать часов, иногда в такие путешествия я не брал даже сухарей... Иногда почти ничего не привозил домой...

Из всех вариантов приобретения мне больше всего нравится коллекционировать закаты, находить необыкновенные лилии и запоминать разговоры деревьев. Этим богатством поделился со мной лес. Но эти богатства были тогда лишь для меня. А рядом оставалась еще одна оценка моей дороги — оценка моего пути другими. Я не знал тогда, будут ли мои находки приняты и оценены, и, наверное, поэтому был очень рад доброй оценке людей, просивших у меня хоть немного сушника, хоть горсть, хоть на «вару».

Я всегда помнил эти слова и старался делать сушник таким, чтобы одной горсти моей рыбы хватило на целый чугунок хорошего супа. Из плохого сушника сварить хороший суп нельзя, плохой сушник не разваривался, отдавал гарью и углями, грязный сушник оставлял в тарелках чешую и темные пленочки неудаленной крови. Но даже чистый, хороший сушник мог быть первого, второго и нижеследующих сортов. Сухая рыба первого сорта всегда была белая, мясо почти не теряло цвета, и делать такой сушник доставляло удовольствие, как доставляет удовольствие хорошей хозяйке подать на стол румяный сочный рыбник или сдобные, тающие во рту кренделя.

У нас никогда не говорят «чистить рыбу» — рыбу у нас «порют». Но «пороть» рыбу можно лишь ловким движением острого ножа. Нож должен быть по руке, рядом всегда лежит брусочек, чтобы лезвие не знало тяжелого хода. И все это: острый нож, удобная рукоятка и широкая доска для разделки на ней рыбы — подчинено одному-единственному требованию: быстро и качественно обработать дневной улов. Сам процесс подготовки рыбы к печи не очень романтичен... Ловкое движение ножа по окуневому боку вдоль жаберной крышки надсекает рыбу от позвоночника до брюха, следующее движение лезвия — и на кончике ножа выбрасываются на доску внутренности. Рыба сложена в кошелку, хорошо промьгга в озере, промыта несколько раз. И теперь ее осталось положить на лопату и отправить в печь.

При сушке чешуя с окуней никогда не снимается, она остается, а потом легко и просто удаляется ложкой или ножом от отваренной рыбы. Окуневая чешуя даст клей и никогда не будет плавать по тарелке. Не снимается чешуя и со щуки, ибо чешуя щуки обладает точно такими же свойствами. Но сама щука разделяется несколько иначе. Щуку пластают, режут со спины от конца морды до хвоста, а потом разворачивают. Из развернутой распластанной щуки вынимают внутренности, икру, печень, а иногда и светлый мягкий жир, на котором можно жарить ту же икру... Когда щука слишком велика, ее режут на куски, промывают тяжелые желтые куски мяса и также приносят в кошелке к печке.

Быстро и легко обрабатывать только щуку и окуня. Сложней с белой рыбой. Белую рыбу нужно освободить от чешуи, и поэтому разделка сороги, леща и язя несколько затягивается.

Рыба вымыта, принесена к печи, а дальше начинается великая северная сказка...

Сказка начинается с умения топить печь. Печь можно топить под суп и кашу, можно топить под хлеб и рыбники, то есть пироги с рыбой, и совсем особо надо топить печь под хороший сушник. Печь для хорошего сушника должна быть в меру жаркая, а для этого надо знать и печь, и дрова, знать не хуже, чем знаем мы свой любимый инструмент, будь то топор или концертная гитара.

Итак, печь вытоплена. Ее нельзя остудить, а поэтому надо быстро вымести угли. Угли выметаются помелом, сосновой мохнатой метелкой на длинной ухватистой ручке. Помело предварительно смачивается, окунается в озеро или в кадуюшку с водой, и эта вода не дает сосновой игле вспыхнуть, заискриться рядом с жаркими углями. Углей в печи больше нет, и тогда на под, на ровный пол очага, тонкими рядками выкладываются тростник или солома.

Солома вздрогнет, затрещит, грозя вот-вот взорваться, вспыхнуть белым пламенем, но ловкая деревянная лопата уже успела выложить на солому куски рыбы. Рыба зашипит, заварится на жару, закроет собой солому, не пустит огонь, а солома, тонкая и слабая, не даст рыбе припечься к глиняному поду.

Сначала я долго удивлялся, как могут жить рядом огонь и хрупкая солома, что стелется под рыбу на раскаленную глину. Казалось непонятным, почему солома не вспыхнет, почему только потрескивает. Огонь и солома. И это радом, как рядом сейчас сырая холодная ночь и тихий уют рубленой избушки...

Первый раз я сушил рыбу с опаской, долго не мог уснуть, слушал шипение и треск в печи, вставал, зажигал коптилку и неуверенно всматривался в таинственную глубину очага. Рыба высохла, не сгорела, солома осталась соломой, я успокоился и где-то для себя понял, что, может быть, именно так, на таких контрастах, и живет северный лес, живет тайга, где

легкая, светлая березка вместе с ромашкой и земляникой приветливо встречает человека, только что покинувшего тяжелое, черное болото еловой тайги...

Я давно знаю, как будет сохнуть рыба, знаю, как положить солому, как вымести перед этим под и когда совсем закрыть печь. Но закрывать печь еще рано, в печи еще есть небольшой огонь, и около этого огня можно немного посидеть, отдохнуть после целого дня ветра и волн, можно вспомнить замерзшие ноги, одеревеневшую спину, какую-нибудь очередную неудачу... Нет, сейчас, когда кончается день и начинается ночь, когда начинается иной мир, мир огня и глубокой тишины, совсем не хочется вспоминать ушедшее на покой светлое, рабочее время суток, вспоминать прожитый день. Он был обычным лесным днем, целью которого оставался все тот же сушник, сушник, которого ждут, за которым меня проводили люди и который сегодня все-таки будет, несмотря на погоду и мою усталость.

Глава одиннадцатая

СТАДО

Есть у природы свои верные и вечные спутники. Пожалуй, это совсем другие люди. Я не видел у них никогда страха перед стихией, неуравновешенности или нервного беспокойства. Порой казалось, что все эти пасечники, бакенщики, лесники в пастухи отдали себя безвозмездно лесу, воде, а стихия одарила этих людей тихим душевным спокойствием.

Спокойствие не любит шума, и, наверное, поэтому пастухи казались мне раньше неразговорчивыми, замкнутыми людьми. Неразговорчивость иногда пугала или тайным замыслом, или абсолютной пустотой вечно молчащего человека, а неумные рассказы праздных людей порой подтверждали мою неглубокую догадку, что в пастухи Алеша Данилин пошел лишь потому, что в другие места дороги ему были закрыты...

Алеша Данилин жил на берегу Оки, далеко от тех мест, о которых сейчас мой рассказ. Наше знакомство состоялось давно, я не знаю, жив ли этот замечательный человек сейчас, но еще тогда Алеша, которого по деревне нередко поминали дурачком, заставил меня забыть и о пустоте, и о тайных замыслах пастухов. Правда, тайны у Алеши были, но эти тайны никогда не преследовали ничего темного и непорядочного — скорее всего Алеша был просто поэтом.

Нет, он не умел объясняться стихами, не сложил за всю жизнь ни одной песни, но тонкое чувство, через которое приходил к нему весь окружающий мир, не оставляло сомнения в особой одаренности этого человека. Он видел и понимал больше, чем те, для кого

кованый сундук был дороже песни рожка или запаха каши, поднявшей под утренней росой свою белую кудрявую головку...

Богатство пастухов часто не оставалось в себе. Когда увиденного и понятого накапливалось много, это приобретенное тонкой, внимательной душой вдруг начинало петь какой-нибудь очень простой, но надолго запоминающейся песней...

Шла Лизуха с Шильды пеша,
Принесла Петру депешу...
Говорит Петро Анюшке:
— Отберут у тя коклюшки...

Вам, наверное, не все понятно здесь. Но здесь нет ни безграмотности, ни желания втиснуть в размер стиха форму родительного падежа личного местоимения «ты». «Ты» — это очень русское слово. Оно родилось много раньше, чем узаконенный кодекс о склонениях и падежах. По этому кодексу меня учили знать, что есть: ты, тебя, тебе... Но когда принимали это постановление, наверное, забыли пригласить ходоков из нашего леса. А может, они и были на великом собрании, но их голоса не учли по причине малочисленности. Ходоки вернулись в лес, по-прежнему валили ели, ловили рыбу, возили на продажу рябчиков, грибы и клюкву и легко справлялись с местоимением «ты» по-своему... Ты, тя, те — безграмотность?.. Не знаю. «Ты» — это не французская или немецкая гостья, а очень свое, простое, и это «ты», может быть, не обидится, если его произнесут чуть-чуть по-другому... Так что очень прошу вас понять, что «тя» вместо «тебя» — это не из желания сохранить музыку стиха.

Что еще в этих четырех строчках... «Пеша»?.. «Пеша» означает, что по дороге из Шильды не всегда

проедешь, а потому часто приходится ходить пешком даже почтальону... Вот и все. А «коклюшки» — это местное название клочков земли.

Простота хранится памятью людей, а вместе с музыкой слова доходит до тебя ясно и очень запоминается, как песни Алехи Глазова про Лизуху, Петра и депешу.

Алеха Глазов тоже был пастухом, лесным загадочным пастухом в нашей деревушке. Тогда он придумывал песни, отдавал их людям, и люди пели эти песни, как поют свои старинные, протяжные и всегда сердечные и как поют «Три танкиста», «По диким степям Забайкалья...» и «Бабье лето».

От всех остальных лесных пастухов Алеха Глазов отличался редкой и бурной неумемностью нрава. Возможно, эта черта характера и не давала ему оставаться при стаде каждый год. Он вечно что-то искал, уходил, снова возвращался, снова менял батожок пастуха на рычаги бульдозера, снова приходил на наши выпасы, рядился в пастухи, приносил с собой пережитые за прошлый год истории и новое нетерпение опять вернуться туда, где эти истории, по его мнению, еще не были как следует доведены до конца.

Последняя история, вернувшая Алеху на наши выгоны, произошла с трактором. Этим трактором Алексей плотно прикрыл дверь больницы. Тогда тяжело заболел человек, просто человек, не состоявший с Глазовым ни в родстве, ни в панибратстве. Больница была далеко, но у Алексея был трактор. Трактор всполошил больницу, но врач наотрез отказался продолжить за полночь рабочий день. Алеха придвинул трактор к крыльцу и прикрыл дверь, за которой жил врач... Кажется, это был даже не трактор, а бульдозер... Конечно, машина оказалась чуть крепче крыльца. Больному все-таки помогли, а Алеха Глазов снова подался в лес.

Я хорошо знаю, что трактор Алексею скоро вернут. Наверное, то же самое чувствует и Глазов. И это беспокойное чувство все-таки мешает ему быть до конца пастухом.

В пастухи, наверное, нельзя бежать. В пастухи, к стаду всегда надо прийти, прийти раз и навсегда, прийти откровенно, добро и по-доброму щедро, как пришел навек к стаду на берегу среднерусской реки Оки Алеша Данилин.

Около Оки давно нет непроходимого леса, давно перевелись в оставшихся лесных островах лешие, и внимательное молчание пастуха, которым он хранит свою главную тайну, наверное, было у Алеши Данилина уже просто традицией. Но здесь, в лесу, в настоящем еловом лесу, в тайге, где все еще бродит леший, стащивший шапку у Васьки Герасимова, где медвежьи тропы идут бок о бок с тропами телушек, главная тайна пастуха остается реальной силой.

Главная тайна лесного пастуха — отпуск... Вы помните главу, которую я назвал этим именем? Речь там шла о пропавшей телушке, о Грише, на затылке у которого хранится шрам от медвежьей лапы, и о главном «хозяине» пастуха — лешем. Отпустить в лес пастуха и стадо и обещать покровительство и помощь может только этот, небольшого роста, косматый старик.

Говорят, раньше леший казался нашим предкам внушительной фигурой. Тогда он, наподобие знаменитого мороза-воеводы, разгуливал по тайге, сбивая суковатой дубиной вершины елей. Но сейчас леший стал пониже, сгорбился, одряхлел, забыл о своей сказочной силе и подстерегает только подгулявших прохожих.

Я не хочу сейчас идти в лес, садиться около столетней ели и, выложив на смолистый пенек многозначительную анкету, грозно требовать от трясущегося лесного скитальца искреннего признания.

Пусть доживает свой век этот рассыпающийся старик с темной биографией, тем более что сейчас он вроде бы и не делает ничего плохого. И даже больше: говорят, что на старости лет к лесному плутню пришло раскаяние, и теперь он, всячески стараясь загладить свою прежнюю вину, дарит людям мир и покой взамен на обещания этих людей хранить свою мораль, соблюдать свои обязанности перед другими людьми даже тогда, когда никто из близких не подсматривает за тобой.

Эти обещания и называются статьями отпуска, которые принимают на себя, в частности, пастухи...

Каждое утро мы выгоняем своих телушек из деревни. Куда гнать скот, решаем с вечера. Да мы никогда и не гнали своих телушек — мы просто открывали ворота из деревни в ту сторону, куда сегодня стаду положено было идти.

Торопиться за стадом, а тем более гнать его, наверное, нельзя. Стадо само, без лишнего крика, без палки, без кнута должно выйти на траву. Тихое стадо не станет носиться от низины к низине, чаще выберет то, что попадает под ноги, и не уйдет далеко. Такое стадо не надо долго собирать в обратный путь, да и сам спокойный мирный день богаче обернется к вечеру привесом или молоком. Наверное, поэтому у пастуха в лесной деревушке никогда не встретишь в руках кнута. Кнут не может быть там, где рядом лес, где напуганная корова шагнет в кусты, а потом ищи ее до следующего утра. Для кнута в лесу нет и пространства, да и сам характер лесного человека разрешает ему иногда пользоваться только легким батожком.

После батожка и тихого стада добрая медлительность того человека, которому все жители деревни доверили своих коров, является ко мне здесь над озером, рядом с нашими телушками еще с одной стороны...

Пастуха в лесной деревне не нанимают на работу, а рядят, уговаривают всем миром, окружают посулами, ждут отказа и снова уговаривают. Потом наступает день первого выгона. Он наступает добрыми словами пастуху, напутствием своим Буренкам, Пестронькам, Ракетам и Планетам и, конечно, колобом, знаменитым колобом пастуху от лица села, мира в знак уважения и благодарности за будущее добро. Колоб вкусный, он печется из толокна и масла, и получить такой подарок — не совсем последняя оценка твоей деятельности за прошлый год, когда ты лонись, то есть бывшим летом, отпас удачно, и не последняя просьба постараться и дальше...

И эти уговоры, этот колоб и добрые слова, произнесенные с расстановкой, пожалуй, и есть начало той легкой тишины, которая и окружает мир настоящего пастуха, мир, где все зависит только от него самого...

Стадо добрело до Щучьего ручья и разошлось по низине. Пастух поднимается выше к еловому острову, вешает на сук сумку с хлебом и бутылкой молока и просто сидит, прислонившись к березовому стволу. Внизу озеро и мирное покачивание волн у песчаной косы, рядом голубой шумок березняка, тонконогий шорох осинки, мудрое молчание елей и голоса редких колоколов на шеях телушек. А остальное — тишина. И в этой тишине у озера, около поляны и совсем в другом месте только «динь-динь» одинокого колокола... «Динь-динь» — там, «динь-динь» — слева и сзади. И уже не колокола, не стадо, не металл, а малиновый голос мягко и ласково плывет над водой вместе с белыми облаками... Малиновая спокойная тишина. Но рядом с этой тишиной — тайга, в которой могут таиться опасности и неприятности для пастухов.

Такую неприятность могут принести с собой рыжики... Я слышал и раньше об этих замечательных

грибах, мне нравится видеть их солеными и яркими в глубоких тарелках, поданных к столу, но я долго не верил, что эти самые грибы, эта слава северного леса, могут принести с собой долгие часы поиска заблудших коров.

Первый раз с рыжиками и коровами я познакомился несколько необычно. Я пас телушек не по отпуску и не очень соблюдал основное обещание лешему — не отлучаться от стада. Я отлучился, отлучился за грибами, принес целую корзинку волнушек и рыжиков и преспокойно уселся в тени перекусить. Дорога за грибами разморила, и я чистосердечно признался себе, что попросту хочу вздремнуть... Очнулся я от нетерпеливого сопения коровьих морд над моей головой. Телушки узрели рыжики, разнесли корзину с грибами, начисто съели все, собранное в лесу, сжевали оставленную на земле сумку и уже тянулись к моей шапке. Я вскочил, разогнал настырных вредителей, но тут же обнаружил еще одну беду: половина стада сбежала в лес.

Как правило, корову, попробовавшую гриб, уже ничто не могло остановить: ни мягкая трава под богатой росой, ни батог пастуха, — коровы шли туда, где появились грибы.

Иногда удерживать коров от разгульных походов помогали собаки. Этих собак никогда ничему не учили, но они верно и порой совершенно бескорыстно несли свою ответственную службу. Собаки лениво тащатся вслед за тобой, тут же укладываются под тем деревом, где ты повесил сумку, и порой кажется, что этим сонным животным давно надоела возня со стадом. Но так кажется только до твоей первой команды: «Шарик-то! Копейка-то! Уси!» Собаки мгновенно взвываются и бросаются именно к той корове, которую ты имел в виду. И тогда какой-нибудь гулящей Маньке здорово достается. Псы хватают за хвост, лязгают

зубами около морды. Манька испуганно таращит глаза, гремит колоколом и поспешно возвращается к стаду. И снова малиновая тишина, но в этой тишине настырная корова внимательно посматривает в ту сторону, где расположились ее сторожа. Сторожа могут чуть-чуть и забыться, и тогда дурной корове удастся незаметно проскользнуть за кусты ольшаника, потом — ельник — и ищи разгульную тварь всю ночь.

В лесу Маньку может выдать лишь колокол. Колокол большой и звучный. Такие колокола навешивают не всем, но ей, Маньке, он положен за бродячий нрав. И корова, видимо, знает это. Знает она и другое: как уйти в лес, чтобы колокол не рассказал о побеге. Хитрое животное вытягивает шею, колокол не шевелится, не касается груди, шея неподвижна, и колоколу совсем не обязательно греметь...

Таких коров пастухи не любят, и, бывает, договор с миром, с жителями села, может и не состояться всего лишь из-за какой-нибудь Маньки...

С травы сходит роса, выше и жарче плывет над головой солнце. Высокое солнце должно обещать тишину и полуденный покой в тени. Но летом в лесу нет полуденного покоя — его уничтожают слепни...

Слепней у нас почему-то называют оводами, именно оводами, а не оводами. С высоким солнцем овода сваливаются на стадо и доводят его до состояния буйного помешательства. Сначала только усиленная работа хвостами выдает приближение грозы. Потом по бокам, по спинам животных проносится нервный тик. Дальше хвосты поднимаются трубой, и вслед за первой выведенной из себя коровой все стадо срывается с места и мчится бог весть куда.

От оводов спасает только вода, озеро, в которое можно забраться чуть ли не с головой. В озере тоже есть пища, но листья и бутоны кувшинок не могут возместить обычный дневной рацион, и каждый день в

июльскую жару Пестроньки и Маньки недодают хозяевам молока. Недополучить с вложенного в хозяйство не принято, и тут же с наступлением оводов расписание стада меняется: днем стадо стоит во дворах, а в светлые ночи отправляется на выпас.

Но обезуметь стадо может не только от оводов. Вывести из равновесия, казалось бы, равнодушных ко всему животных могут чужие собаки и даже зайцы.

Своих и чужих собак коровы различают превосходно. Знают они псов и из соседних деревень и относятся к ним с таким же безразличным равнодушием, как и к своим придворным Шарикам и Копейкам. Но зато чужим собакам не спускается ничего. С протяжным победным мычанием коровы бросаются на незнакомого пса, и худо той собаке, которая по глупости или по незнанию вовремя не отступит.

Пожалуй, эта агрессия коров ведет свое начало еще с тех далеких времен, когда они назывались дикими животными, не знали заботы человека и вынуждены были защищать сами себя от нападения хищников. Сейчас дикие времена коровами позабылись, не каждая из сегодняшних Ракет и Планет знает волка, но инстинкты живы, и за их живучесть приходится расплачиваться чужим собакам и подвернувшемуся под копыта зайцу... Зайца коровы гоняют самозабвенно, окружают кольцом, и только чудо может спасти косого от азартных «охотников».

Сегодня к стаду чужие собаки не подходили, не подвернулся нашим телушкам и заяц, уже август — и нет оводов. Правда, в лесу есть рыжики, но с берез и осин на днях начал падать лист, и теперь редко какие отважные коровы забредут в тайгу. Падающий лист, его шорох пугают животных, телушки останавливаются, вертят головой и отступают из леса после каждой струйки ветра... Сейчас пасти скот легче, но вместо грибов и оводов появилась новая забота — звери. Звери

есть. Летом их почти не было слышно, но сейчас, к осени, медведи и волки могут невзначай посмотреть в сторону стада... Когда стадо затихнет, спустится к озеру, я ненадолго пойду в лес, чтобы по мокрой дороге узнать, не проходили ли сегодня поблизости волки...

Волки могут и совсем не подойти к стаду, но они есть. Вчера за озером близко подала голос волчица. Правда, ей никто не ответил: ни волк, ни волчата, — но волчата в этом году были, уже попадались следы волчьей семьи, да и коровы, зашедшие слишком далеко, не раз поспешно возвращались обратно к пастушьему станку.

Станок пастуха совсем нехитрое сооружение. Несколько березовых или осиновых стволиков, да иногда такая же березовая спинка, как у лавочки. Станок всегда установлен там, откуда можно хорошо видеть и слышать по колоколам все стадо, куда телушкам еще разрешается заходить и где, наконец, можно остановиться, встать и самому. У станка под вечер разводится огонь. Огонь невеликий — только для того, чтобы вскипятить чай да еще посмотреть на медленные язычки небольшого пламени...

Волчьих следов на дороге не оказалось. Прошел еще один день, прошел тихо. Кого благодарить за это? Себя? Себя не принято. Может, того дедку, который еще весной отпустил тебя в пастухи...

Отпуск в пастухи редко когда берется у самого лешего — в нужное время лешего никогда нет рядом, но где-нибудь в соседней деревушке есть старый, но еще крепкий и памятный дедка...

Таинство обряда не всегда повторяется точь-в-точь. Иногда дедка дает читать список отпуска тебе, иногда перечисляет твои обещания сам. Ты молчишь, слушаешь и чаще, ничего не говоря, не обещая старику, просто уходишь в свою лесную дорогу.

Я брал отпуск совсем по-другому... Дедка не доставал никакой бумажки, не возводил руки к лику святого и даже не уговаривал быть повнимательней. О нашей беседе осталась у меня просто хорошая память, будто перед дальней дорогой я выслушал очень нужные советы, а уж никак не нравоучения... Тогда я уходил в лес надолго и по пути зашел попрощаться к человеку, который и раньше помогал мне добрыми советами, зашел, совсем не зная, что у этого дедки всегда берут отпуск пастухи. От старика я ушел легко, запомнив все, что говорил мне он о рыбных местах, о волне и ветре, о том, как не пересушить рыбу и как заранее знать бурелом... Все это были нужные и полезные советы. И сейчас у станка, рядом с вечерним костром, я перебираю в памяти все известные мне статьи отпуска, статьи-обещания пастуха, и снова и снова обдумываю их...

...Не баловать с девками, не ломать дерево, не брать ягоду, не брать гриба, не знать крови... Рядом с моей сумкой на дереве висит старая безотказная двустволка. Но двустволка в этом году около стада еще ни разу не стреляла. А если случится выйти зверю, что тогда? Тогда первый выстрел будет только по елкам. Почему? Из-за списка, из-за статьи «не знать крови»? Наверное, нет. Зачем бить зверя, когда он может просто уйти, поняв предупреждение? Не будет стрелять ружье в зверя еще и потому, что сейчас зверь линный, негодный. А птица? Птицу здесь не бьют из ружья. Тогда в кого же стрелять?

А если другой человек, с другими мыслями пойдет к стаду, пойдет, не уяснив себе, что пастуху нельзя быть жестоким, нельзя попусту ломать деревья, колотить скот и отвлекаться за другим делом, будь то ягоды, грибы рыжики или кокетливые красавицы? Наверное, для такого человека и существуют статьи отпуска, существуют обязанности и ограничения, без

соблюдения которых человек не имеет права брать на себя ответственность за тех коровушек, которых доверили пастуху жители деревни. Ну, а если у человека все-таки нет совести, если он может нарушить отпуск и своим невниманием принести людям беду, как тогда? Тогда уже сам леший, что бродит где-то рядом, должен сказать свое слово. Но в хорошей деревне не положено нести сор за огород и идти на пересуд к каждому лешему — и негодного пастуха, халюзу, рассчитывают сами.

Телушки совсем близко подошли к станку, обступили меня, собак и, наверное, уже ждут, когда я поднимусь и пойду в деревню... Стадо возвращается домой чуть усталым, сытым шагом. Немного упрямится бык. Бык злой. Он рос не здесь. И где-то там, в другом месте, не очень мирный человек обучил его злости. Пока мы обходим быка стороной, но с каждым днем расстояние между животным и людьми сокращается. Бык давно уже не ворошил наши станки, не бросался на пастухов, присевших у костра. Да совсем и не страшно, если он даже бросится, — у быка в ноздрях кольцо, по кольцу можно ударить батошкой, и бык остановится, а уж в крайнем случае можно ухватиться за кольцо руками. Но зачем пускать в ход палку? Скоро бык успокоится сам, совсем перестанет припадать перед нами на колени и упрямо рыть землю крутым рогом...

Глава двенадцатая

МЕДВЕДИ

Начав предыдущий рассказ, я очень хотел посвятить его только животным, хотел вспомнить тех коров, которые по-своему не забыли дикие времена, хотел рассказать о лошадях, что заявлялись в деревню не чаще одного раза в неделю. Я находил следы этих вольных животных и с удивлением узнавал, что наши кони ведут в лесу жизнь, близкую к жизни лосей. Они давно проложили по тайге свои тропы, устроили свои дикие водопои и не раз пугали меня неожиданной встречей у лесного озера. Подойти в лесу к такой лошади, а тем более поймать ее было неразумной затеей.

Но деяния наших коней не ограничивались лесными походами. Порой поступки этих животных ставили в такой тупик, выбраться из которого удавалось не сразу... Первым меня поразил Демон, пожилой конь вороной масти... Дикая, развевающаяся грива, надменный взгляд, взбалмошный характер и добровольно взятые на себя обязанности пастуха... Демон действительно пас наших телушек. По утрам он возвращался из лесного похода и встречал стадо на выпасе. Под его надзором телушкам приходилось туго. Малейшее непослушание вызывало незамедлительное наказание. У Демона, разумеется, не было кнута, и он пользовался для обуздания подопечных своими крепкими зубами, по которым не так уж редко выбирали когда-то хорошего коня...

Я сказал «когда-то», вспомнив те времена, когда лошадь была в деревне единственной тягловой силой. И это «когда-то» приводило меня к интересной догадке.

Догадка, вызванная воспоминаниями все тех же стариков, говорила мне, что лошадь выбирали не только по зубам. У лошади был еще и норов, или в переводе на наши понятия — характер. Характеры у коней могли быть самые разные. И это многообразие лошадиных норовов рядом с незаурядными способностями или, робко произнося, умом, ставило лошадей не на последнюю ступень среди прочих домашних животных. О лошадях и сейчас рассказывают настоящие легенды: лошадь понимала хозяина, знала его настроение, желания, могла грустить, тяжело переживать разлуку с ним, находить его и даже спасти от беды... Сбирать по лесным деревушкам рассказы о лошадях сейчас уже трудно, но даже сам факт существования таких рассказов, наверное, заслуживает внимания...

Я не хочу сравнивать несравнимые вещи, не хочу отдавать пальму первенства в деле глубокого изучения высококалорийных кормов простому, заурядному пастуху, но пастух был и есть, и этот пастух умел подчас выжимать с отведенных выпасов все наличные калории. Но только калориями дело никогда не обходилось. Коровка могла усиленно питаться, но по той или иной причине вдруг отказаться выдать причитающееся с нее молочко. И вот тут-то хозяйка и пускалась в долгий, но обычный путь изыскания тех причин, которые подвели Пестроньку ведра с молоком... Хозяйка вставала на путь зоопсихолог и порой совершала настоящие открытия.

Хозяйка, недополучившая молоко, шла к пастуху и вопрос за вопросом выпрашивала его: как сегодня вела себя на выпасе ее коровка, как шла туда, как обратно полохалась ли от зверя, бил ли ее кто и долго ли играл пастух нынче с утра и к вечеру на своей дудке...

Дудка была не последним условием высокой продуктивности стада. Простая мелодия, извлекаемая из рожка или дудки, не только доставляла

удовольствие самому обладателю чудесного инструмента, музыку, оказывается понимали еще и коровы. Под дудку или рожок коровы тише вели себя, ели с большим аппетитом и, вернувшись домой после такого концерта, добрее рассчитывались с хозяйкой... И хозяйка знала и дудку, и окрики пастуха, и основы зоопсихологии.

В лесу за вечерним чаем я часто вспоминал и рожок пастуха, и хозяйку коровы. Ни один чай не проходил у нас без интересных разговоров. Это были разговоры-воспоминания, разговоры — анализ прошедших событий и отчет за прожитый день. И в этих вечерних разговорах неизменно присутствовали медведи...

Когда начинались медвежьи истории, я молча слушал рассказчика, старался запомнить каждую деталь повествования и задавал вопросы только тогда, когда рассказчик был немногословен.

...Медведь поначалу всегда ружье отбирает, а потом и ломать примется. Встретились с ним как до угла избы. Стрелил раз — заранил только. Стволы откинул, гильзу вынуть хотел, и никуда — вздуло ее. Я уж ружье в левую руку переложил да правой за топор... А он и смял...

...А бабу на сносях медведь любит. Эту не ломает. Да вот за Васькиной бабой шел... (Василий Герасимов молчит, молчанием подтверждая правду.) Из кустов вышел и поднялся на лапы. А Валентина в кусты по нужде ходила.

На сенокосе по речке были. Да никак и ты был тогда-то, Петро? Валентина возвращается, а медведь за ней стоймя идет, лапы развел, будто обхватить хочет...

Оканчивается один рассказ, молчание, глоток-второй чаю, сизый дым махорки — и новая история...

А кто его знает, что он думает. Другой раз такое сотворит, чище человека другого. Лодку я тогда сделал, спустил на воду, а стружка ворохом рядом лежала. С

работы домой побрел отдохнуть, на другой день вернулся — лодка на месте, а стружки нет — вся в лодке и чисто так перенес... А другой раз рассерчает, что ли, и лодку от берега отведет. Но человека уважает... Ждал его на овсе. И луна уже вышла, сижу в кустах, на поле поглядываю. И ни шороха, ни треска не было — тишина такая, как после праздника. И чувствую, будто кто в спину смотрит. Обертываюсь — а он и стоит сзади...

Уходя после вечернего чая к себе в комнатку, я долго и старательно перебирал полученные за день сведения о медведях нашего леса... Отобранное ружье, баба на сносях, стружка, перенесенная в лодку, и многие другие неясные, но, вероятно, правдивые истории пока откладывались в сторону... Пока меня интересовали два более простых вопроса: сколько медведей обитает вокруг нашей деревушки и как умудряются жить бок о бок два лесных хозяина — медведь и человек? И наверное, поэтому меня больше волновала до предела сухая, но очень полезная информация, принесенная Василием с таежных троп:

— Медведицу с медвежатами видел... Два было. Слышал, больше...

— Где?

— От избушки вправо...

И все. В другой раз:

— Опять медведь в Концезерье.

— Свежий след?

— Нахожено.

— Давно?

— С этого дня шастал...

С каждым новым клочком информации, полученным от Василия, медвежье окружение вырисовывалось все яснее... По ночам в своей комнатке рядом с табаком, кружкой густого чая, тщедушной коптилкой и собственной угрюмой тенью по стенам, по потолку я все

острее и реальнее понимал, что местное общество, состоящее из трех человек, четырех собак и семидесяти несмышленных телушек во главе со строптивым быком, находится в кольце медвежьего окружения... Нас впустили в лес и отрезали дорогу назад тремя эшелонами глубокой обороны: медведь у Пашева ручья, медведица с медвежатами у Вологодского и не очень большой медведь на Черепове, всего в четырех километрах от нашей крепости. Но это еще не все. Впереди на тропе к Верхнему озеру тоже ходит медведь, даже два. Слева и чуть сзади от нас — еще. Есть и за озером. И это только первый ряд оборонительного кольца. А может, и наступательных позиций...

Предварительная разметка медвежьих владений уже была произведена. Я знал число обитающих около нас медведей, и теперь мне предстояло утвердиться в предположении, что летом медведь строго охраняет занятый им участок тайги. И прежде всего меня интересовала с этой целью восточная дорога к людям, которую на своей карте я называл Главной дорогой людей. С этой дороги, пожалуй, и началась та сторона моей лесной жизни, которую я в шутку именовал медвежьей...

Все началось в начале лета 1965 года. Позади уже оставались многие километры пути по лесным дорогам, но эти километры пока преследовали меня грохотом лесовозов и не всегда верными суждениями о тайге тех, кто были в этой тайге случайными людьми. Но еще там, среди беспардонного хаоса выстрелов во все живое, мне надолго запомнился человек, с которым я встретился в светлую летнюю ночь на берегу глубокого, но уже избитого леспромхозом озера. Человек рассказывал о медведе:

— ...Человека он не боится, когда не досаждают. Бывает, и сам покажется. Сидели вот так же у костра.

Котелок сняли, чаю попили. И огня-то не осталось — уголья одни. А он и пришел...

Была белая северная ночь, и даже не белая, а прозрачная, голубая в малиновых околышках зари. У глубокой, молчащей воды дымил костер, дымил от комаров и для первого таинственного рассказа, рассказа о медведях. Рассказывал охотник. Их было трое. У каждого ружье.. Могли стрелять, но не стреляли. Почему?

— ...А зачем стрелять, за мясо, что ль? За лосем хожу — думаю про мясо, а за медведем — нет...

Человек сейчас уедет на озеро. Отведет от берега плот. Плот качнется, подтолкнет впереди себя воду. Потом шест и мягкие, недалекие круги от шеста... Человеку надо уезжать — уже гуляет рыба, но он не торопится...

...Бил его. И сразу, и ранить случалось. И на меня шел. Страшный он зверь. И не от силы, а на человека похож. Мясо его есть не могу: как лапу вспомню, что рука, — так и выворачивает. А бил, когда отступать некуда...

Что это? Фанатизм, убеждение, построенное на случайном сходстве: «на человека похож», «лапу вспомню, что рука»?.. Или другое: «страшный зверь»?..

...Другой раз увидишь, и кажется, будто ждет он, что ты ему скажешь. А ничего такого и не скажешь, постоишь, посмотришь — он и уходит сам... Редко когда перед лицом встанет. А вот к кострищу тогда выходил... Сидим курим, а он лапой погребся по угольям, какие не жаркие, и ушел. И ладно так ушел, будто проверить что приходил... Зверь добрый. И все понимает. От его ума и страшно делается...

Что подействовало на меня в том негромком рассказе? Доброта человека? Необычность суждения рядом с беспардонными выстрелами? Или те особые черты медведя, о которых говорилось у костра на

берегу не очень известного лесного озера? Тогда еще совсем рядом была желез-ная дорога, к нашему костру нет-нет да и приходили тяжелый шум составов и глухие гудки тепловозов, но уже тогда медведи стали для меня главной целью лесного похода. О своих целях я молчал, помня, что совсем недавно за убийство медведя платили здесь премию, большую, чем за истребление волков.

Говорить вслух о добродушии медведя, которому я дал имя Лесник, да еще привести точное расписание его, медвежьего, дня было бы преступлением перед теми животными, которых я называл своими друзьями. Чаще мне приходилось попросту лгать, объясняя свои необычные хождения в лес — как будто ни за чем: ни за грибами, ни за мясом — очередной охотничьей неудачей. Часто приходилось брать с собой в лес и ружье, чтобы не навлекать на себя ненужные вопросы, но это ружье всегда оставалось на еловом сучке в начале моей очередной тропы к медведям.

И мечта нарисовать настоящую медвежью карту нашего леса осуществлялась... Первый медвежий дом появился на моей карте еще тогда, когда я впервые миновал Соболю пашню и впервые ждала меня Прямая дорога. Там произошла первая встреча со следом большого, уверенного в себе медведя, которого я не мог не назвать Хозяином. У Вологодского ручья я нанес на карту границу владений Мамаши и ее «детского сада». Еще дальше, на поляне под названием Черепово, я обнаружил Черепка. Потом в лесу появились для меня Лесник, Дурной, Мой Мишка, Мамаша номер два, Домашний медведь, Неизвестный и еще одна, обиженная позже людьми медведица, обитавшая на другой стороне Домашнего озера.

Обида пришла к медведице с появлением в нашем лесу какой-то безответственной экспедиции. Экспедиция заявила шумно и тут же расстреляла

малолетнего зайчишку. Я хорошо запомнил белобрысого, краснорожего Гену с двустволкой ижевского производства. Ссылаясь на особые права, выданные якобы экспедициям, работающим в поле, Гена лупил из своей двустволки до тех пор, пока не осталось ни одного патрона. Стрелять он умел, стрелял подряд во все и, наверное, не очень задумывался перед выстрелом. Не задумался он и у Мохова болота, где бродила медведица с медвежонком. Непутевый охотник, привыкший считать все пригодное для котла безраздельно своим, разошелся на медвежонка. Пулевых патронов не было, и двустволка сработала дробовым зарядом. Второй раз недалекий охотник выстрелить не успел. Из кустов вырвалась медведица — и Гена бежал. Спасли вроде бы ноги. А может быть, медведица просто лишний раз подтвердила свою врожденную порядочность. Ей ничего не стоило догнать агрессора и завернуть ему назад голову. Так бывало, бывало и хуже, когда умные, целевые экспедиции вдруг превращались в экспедиции варваров... Спросите геологов, геодезистов, может быть, они еще помнят, как однажды после гибели медвежат мать разыскала ночлег убийц и совершила лесное правосудие. Кажется, из тех «охотников» никого не осталось в живых.

В этот раз медведица поступила иначе — она покинула свой дом и вместе с раненым медвежонком ушла подальше, оставив право вершить правосудие мне.

Выслушав нехитрый рассказ о бездумном выстреле жестокого человека и вспомнив только что упомянутые имена медведей — моих соседей, вы вправе задать мне вопрос-обвинение: как же так, почему раньше, когда медведи помогали тебе утверждаться в твоих предположениях, ты скрывал их имена и почему сейчас, когда животные стали достоянием повести, ты так смело приводишь координаты своих друзей?

Я могу назвать и более точные данные, могу привести время выхода того или иного медведя на тропу сухого или дождливого дня — такие тропы у медведей есть, могу назвать даже места медвежьих лежек — и я все-таки не совершу преступления — моих медведей около нашей лес-ной деревушки уже нет. И нет только потому, что в самой деревушке люди больше не живут.

Давно ушел на новое место жительства, поближе к другим людям, Мой Мишка, ушел и Лесник, уплелся даже Дурной медведь, Дольше всех оставался на своем месте Хозяин. И секрет подобного переселения только в том, что в лесу медведь и порядочный человек всегда были неплохими соседями. В таком соседстве медведь преследует один интерес: рядом с человеком — вырубки, ягодники, поляны с муравейниками, овсы. А что делать животному в сырой еловой тайге? Правда, там тоже живут «лесные хозяева», но живут свободней, и эта свобода обусловлена прежде всего бедностью кормовых запасов.

Медведи начали разбредаться из наших мест уже к концу лета 1966 года. Провожать их было по-человечески тяжело. Они уходили, разумеется, не прощаясь. Я бродил по знакомым тропам, никого не встречал и с грустью вспоминал начало своих медвежьих походов. Вспоминал первую встречу с Лесником у Верхнего озера, вспоминал его глубокие внимательные глаза и свою робкую скованность при этой встрече, вспоминал и ту Главную дорогу людей, где встречал меня Хозяин и где я все-таки убедился в добродушии медведицы-матери.

Добродушие, покладистость медведя — это и были те самые черты животного, которые позволили людям относительно просто жить рядом с серьезным зверем... Мирный характер бурого хозяина предстал передо мной еще в начале пути. Я надолго запомнил слова человека,

который рассказывал мне о медведях: «Встретишь и, если в глаза ему посмотришь, — плохого не думай... поймет он, что зла не таишь». Эти слова стали для меня символическим ключом. Моя вера еще более окрепла после многих и порой ярко противоречивых рассказов о лесном хозяине, которые встретили меня в нашей деревушке.

От Петра я слышал почтение к медведю, осторожность в обращении с его именем. Эти осторожность и почтение к медведю были у Петра сродни обращению с телушками — и тут и там Петр Мушаров оставался мягким, внимательным человеком.

Васька Герасимов резал проще, переводя все в выстрелы, осечки, премии и мясо. И только напоминание о медвежьей мести иногда останавливало не в меру заготовительный темперамент охотника. Нет, Василий не боялся, но знал, что стрелять надо близко, чтобы «стрелить враз». За этим «стрелить враз» покоилось многое: отжившие берлоги, бывшие медведи, медведицы с медвежатами... Приходилось порой и убегать. Убегать успевал — видел по нему. Рассказы растут, лепятся, как снежный ком, потом ком тает, и остаются картины тупого глумления и просто убийства...

...Трех тогда привезли. Медведица была — с нее и начали. Стреляли — ревет, и в кусты. Медвежата в елку ползут. Их стрелили — не падают...

А потом еще и еще раз, как окончились пулевые патроны, как Васька с братом Николой расстреляли в упор дробовыми зарядами двух медвежат, как мать бросалась из кустов, только пугала, тяжело раненная не лезла в драку, и как люди ничего не поняли и ради премии расстреляли и ее... «давали премию». Петр молчит. Молчанием подтверждает правду, а иногда тоже говорит об овсах и раненом звере...

— А на человека раненый идет?

— Не помню такого. Вот на Черепове стрелили, заранили только — он и ушел в выломок.

— А на овсах близко подходит?

— Другой раз и к тебе подкатит. Мы же лабазы не строим, с земли ждем, сидишь в борозде и ждешь...

Что это? Отвага? Вера в ружье? Или другое — убеждение, что зверь мирный и всегда уходит, даже сильно раненный, если не мешают уйти? Откуда это?

— А скот у вас медведь драл?

— Не бывало вроде...

— А мужиков ломал?

— Этого зазря нет. Да уходит он...

— Не бывало вроде, этого нет...

— За что же премии?.. — В таких случаях Васька обычно крутит папиросу и подводит итог нашей беседы рассеянным, мутным дымком самокрутки... Он, пожалуй, тоже не помнит, чтобы медведь кого-нибудь просто так сломал.

И снова день, снова стадо, малиновый звон колокольчиков, снова Василий приносит с тропы очередную информацию о передвижении медведей вокруг нас, и снова наших телушек никто не трогает...

Границы Медвежьего государства обрисовываются новыми подробностями. Я знаю, где бродят телушки, где их разыскивает Петр, сам хожу в такие поиски, но ни разу не видел коровьих дорог, перерезанных медвежьим следом. Было другое: сначала на дорогу легли лапы зверя, потом копыта телушек, и больше зверь не проходил... Что это? Ходовой, случайный медведь? Нет. Медведь живет здесь постоянно, рядом со стадом, и рядом с нашим стадом охотится на лосей.

Новые происшествия, новые встречи и новая полезная информация... Костя, лесник, разошелся на медведя. Медведь свалил лося. Костя увидел зверя и упал на землю. Потом пришел в себя и невредимым вернулся домой...

Зверь на добыче. Голод. Инстинкт насыщения. Тот крайний случай состояния животного, когда агрессия со стороны грозного зверя кажется неминуемой... Но Костя вернулся невредимым. И при встрече с человеком был рык медведя. А если рык медведя — это предупреждение? Предупреждение, как у всякого порядочного животного: «Не трогай мою добычу! Я голоден! Уходи! Смотри, если не уйдешь!» Ведь так же и у собаки сначала «рр-рр-р», а потом могут быть и зубы. Зубы будут, если «рр-рр-р» не произвело впечатления... В ответ на рык зверя Костя упал. А что, если жест человека был принят медведем как согласный ответ, как фраза, произнесенная на молчаливом языке жестов? Ведь медведь не бросился... А что, если, начиная с этой фразы, пойти дальше, пойти к языку жестов животного, пойти, зная заранее, что всегда можешь отступить, выкинув «белый флаг», как выкидывает «белый флаг» собака, перевернувшись на спину перед более сильным соперником.

Язык жестов. Я разучивал его уже потом перед огрызком зеркала, чудом сохранившимся в пустой избе. Уроки не всегда проходили даром, но об этих уроках я более подробно расскажу потом, когда представится случай поговорить только о медведях. Эти уроки пришли ко мне год спустя, а первые недели жизни по соседству с животными были отведены для общего знакомства друг с другом. Тогда меня больше занимал исход встречи с медведем, и я тщательно заносил в дневник и показания Петра, и рассказы дедки Степанушки, и даже короткие сообщения тетки Матрены.

— ...Стоит, пугает меня, плюется, а конь щиплет траву, а медвежата по елкам сидят — эти слова принадлежат дедке Степанушке. Дедка ехал по Главной дороге людей верхом на коне и у Вологодского ручья встретил медведицу. Я хорошо знаю дедку

Степанушку — он мог сидеть на коне перед медведицей, сидеть тихо, без страха и даже добро щурить подслеповатые глаза, а потом негромко сказать коню, именно сказать, а не рвануть удила: «Поехали, что ль...» И конь пошел, оставив сзади успокоившуюся медведицу.

«Пугает меня, плюется» — снова предупреждение, снова акт благородства, шаг в сторону от крови. И опять в крайнем случае — инстинкт материнства.

Со всеми подробностями я вспомнил дедкин рассказ, когда сам встретил медведицу у легендарного Вологодского ручья.

Я возвращался домой на берег Домашнего озера с тяжелым мешком за плечами. Рюкзак не оставлял мне ничего, кроме желания наконец сбросить его на лавку. Я видел впереди себя дорогу всего на полтора шага, тогда и услышал, как плюется медведица...

Медведица действительно плевалась — это было фыркание, чуть с рыком, но и фыркание и рык приходили ко мне через слюну. Слюна не предвещала бешенства, скорее она была вызвана чем-то съестным, что Мамаша недавно отыскала для себя и своих детей. Рык повторился и перешел в неразборчивое ворчание. Испытывать нервы не слишком беспечной медведицы мне не хотелось — я отступил, попросив вслух Мамашу успокоиться. Медведица вскоре ушла, уступив мне дорогу, и я благополучно добрался домой, подтвердив одновременно не только рассказ дедки Степанушки, но и рассказ Петра о встрече с медведем около того же самого Вологодского ручья.

...Медведь рылся у дороги, фыркал, чихал, а Петр Му- шаров просто шел, припадая на протез. До медведя близко. Ждать, когда уйдет сам? Поздно ждать — «отемняешь» в дороге, и Петр подошел еще ближе и добро сказал: «Здравствуй, Мишко...»

«Здравствуй, Мишко» — эти слова я помнил на своих тропах и при первом удобном случае произнес их вслух. Это было уже не на Вологодском ручье, а на Угольных полянах, где состоялось мое знакомство с покладистым, добродушным животным. Медведь принял меня, принял даже моего пса. На слова, произнесенные человеком, он реагировал с интересом, а на желание собаки познакомиться поближе отвечал точно таким же рыком-предупреждением, каким встретила меня медведица Мамаша.

Встречая со стороны медведей почти радушный прием, я невольно задавал себе вопрос: «А что, если все эти жесты примирения и согласия только от трусости? По лесу носились такие безумные охотники, как Васька, громыхали ружьями, били зверя, и теперь зверь, встречая человека и помня его воинственные сигналы, просто извиняется, просит пощады и фыркает от страха, как месячный котенок на зверового кобеля?» Ох уж нет. Как бы не хотел я оказаться на месте того же Василия, когда охотник раскатился на медведицу, решил ее попугать, а потом бежал... И бежал тот самый Васька, что знался в лесу даже с нечистой силой! И как бы не хотел я повторить свою собственную неудачную встречу с Лесником, когда слишком фамильярно обратился к угрюмому хозяину тропы на Верхнее озеро...

Медведь был занят трапезой. Он тоже встретил меня предупреждающим рыком. Мне удалось отступить, и я благодарил случай за то, что рядом не оказалось моего пса, который почему-то тоже стал считать медведей чуть ли не близкими родственниками — пожалуй, в тот момент хватило бы даже взъерошенной холки Бурана, чтобы драма разыгралась... Но даже в этом случае медведь оказался благородным существом: даже будучи голоден, он

позволил мне исправить ошибку и безнаказанно удалиться от его обеденного «стола».

Да, у медведя может не оказаться многих из тех качеств, которые приписывает ему устное творчество, может оказаться, что медведь и не собирается никогда отбирать у охотника ружье, а что это ружье просто мешает животному на пути к мести, как мешает разъяренному быку подвернувшийся забор. Но нельзя отнять у хозяина тайги доверчивости и откровенного любопытства до нанесения ему глубоких обид. Природная сила, чувство независимости при силе, наверное, могут родить у животного и добродушие. И пусть я был где-то необъективен в оценке этих качеств медведя, пусть в рассказах Петра и дедки Степанушки живет некоторая недостоверность, но и тут и там есть общие утверждения. Пусть некоторая недостоверность, но множество маленьких «да», произнесенных с разной эмоциональной окраской, наверное, все-таки определяют путь к истине — путь к большому «Да!». А не-обходимое множество, пожалуй, имеет право родиться не только из достаточного количества имен, населенных пунктов и прочих документальных данных статистической ведомости. Часто и вероятно большое «Да!» вдруг оживает рядом с той простотой, с которой какая-нибудь тетка Матрена, женщина далеко не охотничьего призвания, рассказывает тебе только что пройденную лесную дорогу...

— ...Сошла дорогу легко... Так у Пашева водой побрела.

— А медведя не встречали?

— А что я, за зверем шла, что ль?

— А видели?

— Поди и видала.

— Где?

— Да где же ему быть? За Пашевым и был, у грязи самой.

Я слушаю несложные ответы тетки Матрены и знаю, что там, в начале Прямой дороги, сразу за Пашевым ручьем, и сегодня стоял тот самый медведь, которого я называл Хозяином. Хозяин был, оставался хозяином своего леса, своей тайги, как остается хозяином своего леса, своей тайги другой хозяин — Иван Михайлович.

Я не всегда мог доверять отдельным деталям Васькиных побед, но Ивана Михайловича слушал с уважением, и мы часто вместе подолгу разгадывали медвежьи загадки. Это к нему в лодку собрал стружку медведь. Это Иван Михайлович рассказал мне о медведе, которого он ждал на краю овсяного поля, а медведь подошел к нему сзади и чуть не уткнулся в затылок. Тогда зверь ушел, не причинив охотнику никакого вреда... Неужели зверь не знал заранее о человеке? А мог бы узнать. А что, если это сильное, уверенное в себе животное, не обиженное пока человеком, ходит по тайге точно так же, как Иван Михайлович?

Старик бредет по тропе молча, неслышно и совсем не думает о встрече с неприятностями. Часто не берет ружья, ходит открыто и верит, что медведь добр и зла не сделает без обиды. Но даже эта вера, как и память о возможной встрече, живут не остро на лесной тропе старика — просто они где-то есть, а появляются только при виде хозяина. А кто из них хозяин тропы: Иван Михайлович или медведь? Наверное, оба. И оба спокойны и добры, как согласные соседи...

Глава тринадцатая

МОЕ ОЗЕРО. ЛОСИ

Над озером все так же хрипели грозы, все так же парил и варил июль, и молнии, уходя через тайгу в землю, каждый день оставляли на тропах длинные белые щепки с раскрошенных елей. От избушки к озеру спускалась пробитая моими сапогами, глубокая торфяная дорожка. Обрато дорожка начиналась внизу у лодки, поднималась по тростнику, крапиве, малиннику, смородине и сворачивала к выскобленной дождями и ветром двери. Дорожка шла и дальше в осинник, переваливала высокий еловый берег, спускалась к болоту. За болотом долго и трудно тянулась таежная тропа. Я давно не видел тропу и не знал, много ли новых завалов перегородило узенькую дорожку.

Эта дорожка была к людям. Под дождями и парным теплом тропа от избушки в еловый остров давно заросла, и ее можно было угадать только по старой памяти. Я знал, что до самой осени никто не придет ко мне, и всякий раз, поднимаясь с озера в избушку, спокойно видел свою обратную тропу совсем заросшей. Пожалуй, эта нехоженная тропа тоже была особым условием лесной жизни, и следы на этой тропе могли бы меня насторожить.

И тропа насторожила. По тропе мимо избушки к озеру спустился лось. Я узнал об этом по глубоким, скользившим вниз острым следам — это был бык, молодой и сильный бык. Конечно, у него еще не выросли рога. Рога у лоса будут только к осени, к желтому листу на березе. Тогда лось впервые попробует эти рога на еловом стволе. Он будет

старательно и долго вытирать о ель новую корону лесного царя. С короны слетит музейная позолота, и она вспыхнет горячим цветом новых подвигов. К желтым листьям на березе в тайге родится новый царь. А пока завтрашний рыцарь незадолго до моего возвращения домой спустился к воде, постоял на берегу и тихо ушел по тонкому снулому ручью к другому озеру.

Появление лося около избышки я отнес к области случайных событий, отдал положенную дань сантименту при воссоздании картины визита и снова вернулся к обычному представлению о лосях: мол, лось — животное угрюмое, лось — постоянная добыча волка и медведя, постоянный объект охоты людей, и что еще может остаться ему, кроме беспокойного прислушивания и принюхивания? Правда, среди обычных суждений о лосях моя память хранила и такие встречи, которые позволяли все-таки надеяться на возможный контакт с этими осторожными животными.

Одно такое событие произошло этой весной. Я бродил по краю осинника в надежде отыскать первые бутончики ландыша и услышал неподалеку обезумевший хрип бездомных псов и страшные для человека крики лесных телят...

Телята жались к кусту можжевельника и кричали. На спине лосенка-однодневка цвела глубокая рана. Я разогнал псов. Раненый лосенок еще кричал, а другой, сла-бенький последыш, вытянул губы и зачмокал на моем пальце. Лосихи нигде не было. Мать, видимо, ушла далеко, отелившись на ходу под собаками. Я нес лосят в деревню. Они еще не могли ходить, еще не знали молока, и я, человек, был тогда для них тем первым добрым впечатлением жизни, которое могло навсегда привязать лесных телят к людям...

Здесь мне хочется остановиться и совершить небольшой экскурс по первым метрам увлекательной дороги, что небезуспешно ищут те люди, для которых

лоси, медведи и даже дикие свиньи не только поставщики мяса...

Слишком занятый собственным желудком волосатый предок человека, наверное, и был классическим примером того голого потребительства, которое во имя наживы встречается и сегодня, в электронном зареве цивилизации. Но еще там, в начале становления, вероятно, и был задан вопрос: а как дальше? — который принес человеку его благородное имя.

Как дальше? Этот вопрос возникает до сих пор. Как дальше при совершенном охотничьем оружии? И даже когда на этот вопрос нам удастся ответить, в мире находятся люди, мало чем отличающиеся от того рыбака первобытных стоянок, который жил только сегодняшним днем.

Тот рыбак еще не знал, что вслед за ручьем, по берегам которого свели лес, может пострадать и озеро, куда приходит этот ручей. Уже совсем потом люди наконец поняли, что природа может предъявить к оплате свой счет не только там, где после леса осталось гнилое болото. Но сначала мысль, что вслед за ручьем может пострадать и озеро, принявшее в себя болотную воду, казалась чуть ли не бредом. Как и сейчас, во времена строгих теорий, описывающих равновесие природы, кажется воплем вегетарианца требование оставить в покое то животное, которое мирно живет по соседству с человеком и доверчиво смотрит ему в глаза.

Наверное, для аргументации такого требования не обязательно прибегать к понятиям гуманности или благородства. Эти понятия известны. И поэтому мне просто хочется напомнить любителям быстрого оборота капитала, что бездумно убитый лось — это не только набеги волков на хозяйство людей.

Представьте себе: лось убит, и волк, живший рядом с лосем, потерял свою привычную добычу и вырвался к стаду коров. Но за нападение на хозяйство людей волку положена смертная казнь. Приговор приведен в исполнение. В лесу теперь не стало ни волка-потребителя, ни волка-санитара. Отсутствие санитаро-хищника приведет к болезням других животных... И пусть нас не удивит тот факт, что лес, по которому человек слишком необдуманно расхаживал с ружьем, вдруг встретит очередного гостя мертвой тишиной. А может быть, очень скоро мы не встретим и самого леса, уничтоженного вредителями. Мы долго будем ломать голову над причинами опустошения, но вряд ли сразу поймем, что беда пришла после того, как, не подумав, мы запросто выстрелили в аборигена — лося.

Убитый лось обернулся разорванной системой регулирования природы, система пришла в неустойчивое состояние, нарушилось равновесие... Когда и в каком конкретном случае может начаться катастрофа — это вопрос следующих дней. Будет ли эта катастрофа всеобщей или ограничится локальными потрясениями — на это ответит строгая теория. Но пока нет теорий, пока есть только жестокие примеры нарушения равновесия природы, примеры рек, озер, леса, камня, воздуха и даже тишины; давайте не будем строго судить тех людей, которые убеждают нас, что не все годное в пищу может быть внесено в перечни горячих и холодных блюд. Давайте поверим этим людям, что и лось, и медведь, и прочие традиционные поставщики вкусного мяса имеют право и даже обязаны иногда просто жить, зная собственные трудности и заботы, а то и погибнуть своей смертью.

Сколько оставить рядом с собой животных, сколько и кого из них попросить принести себя в жертву человеку — на это точно ответит разум. И к этому ответу человек, желающий жить дальше, должен

приготовиться, должен подготовиться жить рядом со своими лесными, степными и прочими внешне дикими соседями.

Дикость животных настораживает людей. За дикостью видится прежде всего возможная агрессия. Но эта агрессия, пожалуй, имеет под собой только одну-единственную объективную почву — люди где-то внутри себя, видимо, побаиваются, как бы медведь, вчерашний объект усиленного преследования со стороны человека, после благодушного к нему отношения не вспомнил бы прежние обиды и не перешел бы в контрнаступление.

Не волнуйтесь, завтрашние соседи диких животных. Уже сейчас есть люди, которые научились жить рядом с этими животными и положительно решили для вас многие волнующие вопросы так называемой возможной агрессии. Это те самые люди, которые уговаривают вас не уничтожать все живое.

Решение пришло к этим людям вместе с доверием животных, пришло через умение объяснить своему дикому соседу, что ты сам не представляешь для животного никакой опасности. Порой такое объяснение проходит предельно просто, как в примере с крошечными лосятами, которых я принес в деревню.

Но история с лосятами закончилась все-таки печально. Человек мог, но не остался для них человеком... Деревня тут же разделилась. Одни кликали беду, милицию, штрафы и сторонились. Другие несли молоко, соски. Я промыл рану, засыпал лекарством. Мальчишки и девчонки тащили куртки, сено, укрывали бедолажек и очень просили оставить лосят им. Но жадность и трусость стояли рядом, и в сельсовет пошла моя записка, записка с тайной надеждой, что лосят возьмут на ферму к совхозным телятам. Записка шла, а лосята сосали молоко, доверчиво жались к ребятам и больше не кричали.

Лесные телята уже пробовали ходить, когда из сельсовета прислали отрицательный ответ.

Обратная дорога в лес была трудной. Я отыскал утренние следы лосихи, оставил около этих следов телят и повернул в деревню. Лосята стояли такие же слабенькие и жалкие, как утром. По лесу все еще носились ошалевшие псы. А я уходил, боясь повернуться и увидеть глаза лесных телят... Я все-таки повернулся. Лосята ковыляли за мной. Они шли за человеком, шли, еще не умея как следует ходить, шли, с трудом переставляя свои ножки-палочки, не гнущиеся еще в коленях, и снова кричали...

После истории с лосятами мне стало совсем ясно, к кому из жителей деревни можно обратиться с просьбой, кто поймет тебя, кто поможет в деле или в трудностях, а кому можно и доверить свои тайны, и даже попросить сохранить их в мое отсутствие...

А тайны уже были. Они постепенно окружали мою жизнь в лесу. И главной тайной было доверие животных, которые обитали рядом с моей избушкой.

Сначала доверие диких животных казалось мне сказочной мечтой. Но все-таки, надеясь на успех, я начал свою жизнь в избушке на берегу озера сравнительно тихо. Первым и главным условием моей жизни было — не допустить таких действий, которые могли быть восприняты моими лесными соседями как акты агрессии. Я учился быть тишиной, учился во многом ограничивать себя, и на эти старания животные ответили мне своим доверием.

Первыми около моей избушки поселились белые трясогузки. Они заявили ко мне разом, дружно обследовали мое хозяйство, нашли, видимо, его вполне подходящим и летом, в период сложившихся территорий, вдруг поделили мое владение, но далеко не на равные части: одной птичке досталась избушка, другой — дорожка к озеру, а третья заняла лодку и

пристань. Теперь совсем близко я мог видеть, как трясогузки оберегали свои территории, как придерживались принципа невмешательства, как голосами предупреждали соседей, что хозяин «дома» вступил в свои права, и как самой тихой из птиц достался худший участок...

Вскоре я уяснил для себя, что у птиц были разные характеры. Одна, ленивая, но злая и задиристая, захватила избушку. Там было больше комаров и мух, там чаще бывал я, а вокруг меня всегда носились стаи слепней. Я назвал эту птичку «комендантом». Сначала «комендант» мирился с подругами, но однажды утром он уселся на край крыши и зло крикнул. Подруги остановились, испуганно замахали хвостиками и отступили... Первой исчезла бойкая и суетливая трясогузка. Я нашел ее в тот же день у пристани. Она захватила лодку и хозяйничала там. На досках около воды остались после нее прозрачные крылышки стрекоз, а на моих удочках тут же появились белые пятнышки помета. Третья, и последняя, птичка сунулась было обратно к домику, но «комендант» прогнал ее, и нерасторопной подружке осталось занять только сухой куст между пристанью и моим жилищем. Когда я надолго уходил из избушки и снова возвращался, птички тут же слетались ко мне, снова дружно вертелись у самых ног, но быстро спохватывались и бросались занимать свои прежние хозяйства — и они никогда не перепутывали их...

Порой привычная обстановка взаимного доверия человека и его лесных соседей казалась мне самому сказочной, но эта сказка постепенно начала оборачиваться нежелательными на первый взгляд последствиями, и я не раз сравнивал себя с теми отчаянными вегетарианцами, которых мясокомбинат и рыборазводные пруды считают чуть ли не адом...

Вы помните начало моего повествования, где я, объясняя неудачи промысла на летних озерах, ссылаясь на не-подходящую погоду? Но в тот раз погода не могла взять на, себя всю вину за мои неудачи. И эти неудачи крылись в моем не очень ясном даже для самого себя положении: я был рыбаком, охотником и совсем не собирался давать лешему обещания «не знать крови», но в то же время рядом со мной жили не только трясогузки, которых я называл по имени. Имена получили и некоторые щуки, и даже стайки плотвичек, которых я приучал не бояться моей лодки и брать корм из рук. Возвращаясь домой после развлечения с плотвичками и окунями, я видел просящие глаза пса, молча и немного грустно разводил руками, показывал Бурану пустую кошелку и отправлялся варить своему плотоядному другу ячневую кашу.

Но я все-таки не был вегетарианцем. Когда растительная пища уже не могла заменить мне животный белок, я брал ружье, призывал пса и отправлялся на охоту подальше от избушки. Из дальней дороги мы приносили пяток рябчиков или глухаря и тут же, рядом с нашей избушкой, видели точно таких же глухарей и рябчиков. Они были вполне доступны для моего ружья, но ружье по-прежнему молчало на берегу нашего озера. Молчал и мой пес, которому по его охотничьей специальности было положено вязко облаивать любых глухарей. Что это? Усталость собаки? Нет! Пес по-своему привык к нашим соседям и не видел в них объекта охоты. Так неужели даже собака, настоящая охотничья собака, просто пес, имела в своем арсенале тот механизм поведения, который обеспечивал мир ее постоянным соседям?

После таких наблюдений я окончательно уверился в своей правоте, примирился с неудачами промысла и растительной пищей, подкрепив это смирение той

истиной, что в любом начинании никогда не обойтись без лишений.

Пожалуй, лишения всегда сопутствовали трудным дорогам, поискам любой, даже самой малой цели, но всегда окупались радостью пройденных дорог. Мои трудные до-роги тоже окупались — тайга платила мне за них благорасположением животных. Но пока меня окружали только пернатые, а соседство с пернатыми было привычным для человека. Для этого не стоило забираться в таежную глухомань и коптиться в охотничьей избушке. И я мечтал увидеть рядом с собой тех животных, которые обитали только здесь, на берегу дальнего отхожего озера... Правда, медведи уже были известны мне по прошлому году. Их соседство не пугало, не беспокоило меня, я знал, как встретиться, как разойтись с ними, но наши встречи пока не очень походили на встречи существ, живущих под одной крышей, а я хотел видеть медведя, который обязательно поселится около моей избушки... Такой медведь появился чуть позже, а до этого мне пришлось познакомиться поближе с лосем и даже с целым стадом лосей.

Молодой бык, посетивший мое хозяйство, не был случайным прохожим. День спустя он повторил свой визит. Из тайги в мутное от копоты окошко домика уже бился туманный рассвет. В рассвете гудели комары. Я записывал что-то в дневник и слушал передачу по «Маяку». И вот в привычный хрипок транзисторного приемника неожиданно вошли новые для меня ночные звуки. «Чмок-чмок, чмок-чмок» — сначала далеко, потом ближе, потом совсем рядом, и за крошечным квадратиком стекла появился неторопливый силуэт ночного гостя.

Утром на дорожке после лося остались точно такие же, как и в первый раз, следы раздвоенных копыт. Эти

следы снова спустились к воде, обошли лодку и по ручью направились к Тимкову озеру.

Чего ждал я от возможной встречи с лосем? Я не буду перечислять все вопросы, которые может решить человек, установивший так называемый контакт с представителями животного мира, — это достояние специальных книг. Но для тех, кого волнует встреча с диким животным, я отвечу: помимо всего мне очень хотелось проверить: можно ли ждать со стороны лоса агрессии в том случае, когда человек убедительно продемонстрирует ему свою беззащитность?

Демонстрация добрых намерений животному, с которым ты собираешься установить контакт в природе, обычно начинается с такого шага: увидеть, показаться, не испугать своего будущего знакомого. Здесь много тонкостей, но главное — надо уметь особенно не выделяться из обстановки, привычной для животного. Порой этот шаг труден, но иногда на пути к контакту с четвероногим или пернатым собратом тебя могут ожидать и приятные неожиданности — бывает, животное, еще не знавшее людей с плохой стороны, примет тебя сразу, и от тебя не потребуется особых усилий.

Такая приятная неожиданность ждала меня и на Тимкове озере. Выбираться из ручья в озеро пришлось с шумом. Я стоял в лодке, работал шестом. Шелест тростник, срывался шест, и я уже не надеялся увидеть не только лоса, но даже утиный выводок. Тростник наконец кончился, и открылась вода. Вокруг воды ровным кругом громоздилась еловая стена, и от этой стены далеко выбежал на воду веселый зеленый мысок. По мыску торчало с пяток тоненьких кривых березок. А впереди, чуть загораживая и оттеняя эти березки бурым огнем, стоял лось. И лось никуда не собирался уходить.

Теперь мне предстояло подойти и познакомиться с животным. Подойти к животному — это искусство охотников. Секрет такого искусства заключается в умении не быть навязчивым, знать, точнее, чувствовать допустимые дистанции и в конце концов оказаться рядом с добычей, оказаться на расстоянии верного выстрела. Но наука охотников оканчивается как раз там, где выстрел должен был принести успех. Человек, решивший не убить, а познакомиться, искал оценку своему труду много позже.

Знакомство с животным обычно редко проходит по выписанным заранее рецептам, где точно указываются характер твоих движений, метры, минуты. Здесь проявля-ется твоя индивидуальность, твое умение объяснить животному, что ты существо вполне мирное... Вспомните дедку Степанушку, успокоившего медведицу, вспомните Петра Мушарова, который сказал животному: «Здравствуй, Мишко...» Тогда мишка все-таки ушел, тогда этого хотел человек. Я же не хотел, чтобы мой новый знакомый уходил. И лось не ушел. Он опустился в озеро и долго бродил вдоль мыска. Я дождался вечера, дождался тумана и только тогда вернулся домой. На следующий день я прибыл в озеро раньше своего нового знакомого. Лось спокойно вышел к воде и принялся бродить вдоль берега в поисках пищи... Потом я уже курил в его присутствии, поднимался в лодке и даже ловил рыбу. Я делал все, что делал без него, но делал тихо и мирно и иногда даже разговаривал с ним, произнося тихие, короткие слова.

После нашего знакомства лось не изменил своих привычек, не покинул ни озеро, ни тропу около моей избушки, я по-прежнему опасался агрессии со стороны животного, но вскоре убедился, что громадный лесной бык может причинить мне одну-единственную неприятность — случайно наступить на мое легкое

долбленное суденышко. Я помнил лодку, которую сокрушил лось, живший рядом с Серой Совой, помнил историю этого замечательного человека и очень завидовал ему — ведь его лось жил совсем рядом с человеком.

Снова, хотя и не очень остро, я вспомнил о возможной агрессии со стороны лесных коров и быков, когда встретился со стадом лосей в Долгом ручье...

На Долгий ручей лоси выходили только с заходом солнца и далеко слышались в тихие вечера. Лосей много. Они уже привыкли ко мне. По вечерам я пробирался в ручей, прижимался вместе с лодкой к берегу, оборванному ногами грузных животных, и подолгу ждал их появления.

Ночь за ночью я научился узнавать животных «в лицо». Меня занимал тот порядок, в котором они появлялись здесь и исчезали в тайге. Порядок поддерживался строго и твердо, но без окриков и приказов. Всем животным я дал свои клички, по которым мне легче было потом в дневнике разбираться, кто и как вышел в прошедшую ночь на ручей. Лоси появлялись строго между десятью и одиннадцатью часами. Был июль, и ночь хорошо просматривалась. Первым всегда заявлялся могучий бык. Бык опускался в воду тяжело, будто падал, рвал задними ногами берег, а потом долго обнюхивал и ощипывал оторвавшийся кусок торфа. Ел он мало. Он больше стоял, гордый и сильный, не отвечая на интригующие пируэты своих поклонниц. Быка я назвал Подвигом. Он первым подходил к лодке и проверял: я ли это? До него оставалось тогда десять — пятнадцать легких ударов весла. К утру Подвиг независимо продвигался вверх по ручью. Иногда мы встречались глазами. Наверное, туманный сумрак немного мешал этой встрече, и бык, видимо не разобрав моих немых фраз, отводил взгляд. За все время я не слышал от него ни единого звука,

кроме тяжелого плеска туловища и редкого удара ногой по воде, — он даже не фыркал.

Следом за Подвигом являлись сразу две коровы. Я боюсь утверждать, что они были слишком молоды, но меня смущало отсутствие рядом с ними телят. Первую, быструю и стройную, в светлых подпалах, я называл Люсенькой. Люсенька всегда находилась рядом с героем. В ее поведении не было ничего замысловатого. Она так же пережевывала траву, так же копалась в воде, но реже других оставалась на одном месте и вечно бросалась к Подвигу, чтобы ухватить поднятое им со дна лакомство. И бывало, Подвиг отступал, отдавая дань той лукавой нежности, с которой Люсенька тянулась к сочному стеблю. Тут же рядом, но чуть в стороне паслась Алла. Тихое, скромное на вид существо, она деликатно разбирала листья кувшинок, отыскивая среди них закрывшиеся на ночь бутоны...

Я не боюсь даже самых крайних ассоциаций, ибо любое количество фантазии, построенной на реальных фактах, дороже и ясней грошового равнодушия к загадкам... Да, у всех членов лосиного клуба на Долгом ручье были свои характеры.

Алла порой казалась задумчивой, но за этим наигранным безразличием ко всему, а главное, к Подвигу мне виделась глубокая уверенность лосихи в своих чарах... Да, именно она, Алла, уведет за собой этого героя осенью, в сентябре. Именно по ее следу понесется лесной рыцарь, чтобы найти ее и попросить остаться. Потом Подвиг поднимет голову и затрубит на весь лес, вызывая соперника... Но песня над тайгой будет не скоро. Она начнется тогда, когда у Подвига над головой вспыхнут бурым огнем новые рога. Рогов пока нет, нет сентября и нет песен. И Алла просто ждет.

Сейчас я, наверное, могу сказать: «Да, я почти не ошибся». Осенью я видел бой лосей. Два самца хрипели друг на друга. Рев, мыльная пена по бокам, по груди,

грохот падающих деревьев, удары копыт и земля, летящая клочьями из-под ног.. Бой был на Долгом озере у самой воды. А чуть в стороне так же уверенно разгуливала складная лосиха. Иногда она безразлично трогала губами попавшиеся на пути веточки. И я не мог ошибиться — это была она, Алла... А как же Люсенька? Не знаю. Наверное, ее навязчивость была не по душе самостоятельному «мужчине». Конечно, она не плоха. Но доступна и без боя... А как же бой? Для чего рога и голос? А придет ли соперник, если будет знать, что у Подвига уже есть дама сердца, которая не уйдет к другому?

Клянусь всеми честными именами, которые светили мне в пути к Долгому ручью! Клянусь: лоси, наверное, не думают. У них, видимо, многое получается просто так. Но все же иногда поступки и характеры зверей приводили меня к смешным аналогиям.

Алла еще не замыкала стада. Чуть дальше всегда бродила еще одна бездетная лосиха. Лосиху я называл Татьяной. Она была немолода. Пожалуй, весной, в мае, у нее и был теленок, но лосенок, видимо, погиб... Татьяна вечно грустила. Все, что она делала, как брела сзади за молодыми подругами, говорило о какой-то тяжести, что висела над животным. Может, старость, может, не те силы, а может, сравнение себя с молодыми делало ее тихой и незаметной. Так и хотелось иногда услышать от нее короткую жалобу: «А что делать...»

Эти животные вместе бродили по ручью ночью, а к утру расходились в разные стороны и до следующего сбора вели в тайге индивидуальный образ жизни.

Посещала Долгий ручей и Тетя Маша. Тетя Маша приходила позже других, уходила раньше, реже спускалась в воду и вечно вылизывала своего теленка. Я объяснял ее скользкий график наличием лосенка и прощал ей опоздания и преждевременные уходы. Но Тетя Маша все-таки приходила, приходила всегда,

будто существовала и у лосей необходимость оставить свой след в разделе «Учет посещаемости».

Следующий участок ручья занимал Председатель. Он был невелик, достаточно грузен и в меру суров. Но Председатель не лез вперед — видимо, он обязан был следить только за тылами. Его больше интересовала Тетя Маша. Он часто останавливался около нее, но никогда не подбирал листья возле стола счастливой мамы. Так и уходил Председатель в тайгу вслед за первыми лучами солнца и Тетей Машей.

Ручей пустел. Утренняя тишина доставалась птицам и щучьим хвостам. Скрипели камышовки, верещали дрозды. Я плыл домой и всегда знал, что могу встретить еще лосей. С этими животными я проводил меньше времени, они хуже знали меня, а потому относились к моей особе более осторожно. И только один из них, Старик, почти никогда не уходил при виде моей лодки. А если он все-та-ки и поднимался с земли, то низко опускал голову и с трудом волочил по болоту ноги. Старик давно устал, но крепкая память все еще вела к ручью, где, может быть, не так давно он уступил свое место мужественному Подвигу.

Старик оставался сзади. Я спокойно работал веслом и всегда встречал при выходе из ручья дурную Милку. Милка толкалась в стороне от стада. То ли ее еще не пускали туда по молодости, то ли девичья гордость молча ждала особого приглашения... Милка была пуглива и стройна. В эту осень ей придется проложить по тайге первую дорожку своей испуганной любви. Милка понесется по лесным островам, она еще не будет знать зачем, но вдруг почувствует, что это уже любовь, и шарахнется в сторону. Потом устанет бегать и останется кого-то ждать на краю уютного болотца... А пока Милка еще ничего не знает, пока она только стройная и красивая, но одна. Она бродит по ручью,

убегает, снова возвращается и, вылупив глаза, удивленно смотрит в мою сторону...

От каждой ночи, проведенной на Долгом ручье, остается странное и тревожное чувство. Еще долго мир вокруг кажется нереальным. Я еще там, на ручье, среди лосей... Голова кружится от всего виденного, от счастья достигаемой цели. Да, я, наверное, почти приучил этих лосей не бояться меня. Теперь проще и легче разгадывать тайны их троп, их хозяйств... Лоси уже приняли меня. Еще немного, и я пойду к пугливым гагарам...

А пока гагары уплывают, правда, уже не ныряют от лодки, а просто уплывают, и даже не очень быстро. Но гагары все-таки еще без меня — они пока не мои... Я не боюсь этих слов — «мой», «мои». У меня уже есть мои лоси на Долгом ручье. Их приходится скрывать, скрывать от тех людей, которые иногда появляются в моем лесу и которые, пожалуй, не отказались бы от куска свежего мяса. У меня в лодке всегда топор, веревка и ружье. Топор — перерубить кости, веревка — опустить в воду излишки мяса. Ручей холодный, и мясо в воде пробудет долго. Я показываю на свою лодку, на топор и веревку и жалуясь, что вот уже три недели катаюсь по ночам, а лосей нет. Мне задают вопросы: куда же ушли? Где искать? Я молчу. А если и отвечаю, то показываю совсем в другую сторону.

Я никому не рассказываю и про свое озеро, про своего лося на Тимкове, про своих уток и своего журавля... Да, у меня есть мои лоси и мое озеро. Мое — это не собственность. Это — доверие, а может, и любовь. Сейчас в избушке после сырой ночи, после тайги и бульканья лосей, достающих со дна корневища кувшинок, после долгой разлуки с людьми я вспоминаю чистое и большое чувство, ради которого мы, наверное, и живем... Я вспоминаю весну, Северный вокзал столицы, я не вижу вагонов, а только платформа, и не

платформа, а женщина, идущая все быстрее и быстрее за убегающим поручнем... Для этой женщины я тоже мой. И это «мой» не собственность. Собственность — право только брать. «Мой» — это доверие. Доверие и любовь. Вот почему мне и бывает хорошо даже в избушке, даже среди болот и тайги, когда знаешь, что есть большая любовь, которую долго ищешь, которая может пугливо убежать, улететь, скрыться, но которая может и остаться, поверить и каждый день приходить, как мои лоси на Долгом ручье...

Глава четырнадцатая

СОБАКИ

Не знаю, повезло или не повезло собакам, живущим в лесных деревушках. Они не так обеспечены человеком, как их городские собратья, но в то же время деревенские собаки получили почти неограниченное право общаться друг с другом.

Это были толковые охотничьи псы. Зимой они уходили с охотниками в тайгу и только там получали от людей материальное вознаграждение. Оканчивался недолгий охотничий сезон — собаки возвращались в деревню и безропотно пережидали весну, лето и половину осени, чтобы снова отправиться на работу. Весной и летом люди забывали о своих помощниках. Собакам тогда не уделялось ни человеческого внимания, ни остатков с человеческого стола. И вот это отсутствие заботы и внимания со стороны людей и заставило меня вспомнить слова Лоис Крайслер.

«Мы хорошо обращаемся с ними, — заявил нам один владелец собак. — Мы даем им пить».... Должно быть, эскимосов спасает от угрызений совести удобное соображение: все предметы, даже неодушевленные, имеют душу, только не собаки. У собаки души нет. Запретнее всех запретов для собаки-раба — мясо. Случалось, мы перехватывали взгляд, который Тутч бросала на подвешенное мясо, и от одного этого она впадала в страшное замешательство. Уже сама мысль о мясе казалась ей не менее греховной, чем поступок...»

Эти слова принадлежат перу отважной женщины и благородного человека, далекого от обобщений эмоционально-художественного характера. «Тропами карибу» называется книга, которую Лоис Крайслер

посвятила «волкам полярной тундры и тем, кто хочет действовать, чтобы спасти им родину и жизнь».

У волков родина, действительно, пока есть. Родина для наших собак — это то место, где сейчас остановился их владелец. Волки имеют право на открытое сопротивление. Наши собаки — нет. Наша собака — раб без родины и без права заявить о своем несогласии. Несогласие выбивалось палкой. А само рабство пришло к Копейке, Шарику, Дозору и Моряку чуть ли не по их собственному желанию.

Вы помните льва, классического льва рядом с маленькой собачкой? Первое, что увидел лев, открыв свои «детские» глаза, была эта самая собака. Первое впечатление жизни стало для льва законом — собака стала его собратом и предводителем. За собаку лев поднимался на бой и горько страдал, когда с его любимым существом что-либо происходило. Вспомните лосят, которые шли следом за мной из леса, вспомните других животных, согретых руками человека, — такие животные, как правило, выбирают вас явлением номер один и по-своему выделяют и боготворят. И причина этому — первое впечатление, которое оставило в жизни животного неизгладимый след.

Вот это самое первое впечатление и подвело однажды всех собак сразу. Собака, принесенная в дом слепым щенком, открыла глаза и увидела человека. Человек стал законом и необходимостью жизни. Он мог бить, морить голодом, отнимать у собаки душу, собака могла терзаться, но уйти она, к сожалению, не могла. Первое впечатление сделало собаку добровольным рабом.

Меня всегда удивляла двойная жизнь наших псов. Рядом с людьми псы выглядели ничтожно и зависимо даже тогда, когда ничего не собирались выпрашивать у человека. Опущенные, зажатые между ног хвосты, нервные, забитые взгляды, трусливые, опасливые

движения и немая покорность, с которой собака сносила побои и пинки, даже не пытаясь убежать. И тут же рядом, без человека, собаки преображались и становились смелыми и независимыми животными. Чем-то наши собаки походили на гордых актеров, которые вынуждены были играть ничтожные роли. После сцены актер снова возвращался к своей гордой жизни. Но, к сожалению, не каждая роль проходила бесследно, к сожалению, обязанности раба закреплялись, рабские черты могли повторяться из поколения в поколение, и в следующий раз человеку было уже не так трудно приучить нового щенка к полному повиновению...

Обучение рабской роли начиналось с куска хлеба... Орешка, смешной кудлатый щенок, единственный оставленный по воле хозяина сын Копейки, давно и пока безрезультатно выпрашивал у своего грозного покровителя, который для меня был всего-навсего Васькой Герасимовым, кусок хлеба. Подаяние Орешка все-таки получил, но не из рук — кусок хлеба был брошен на землю. Брошен один, второй кусок — и теперь взять пищу из рук для собаки-раба означало переступить запретный рубеж.

Следующим средством обучения покорности была палка или тупой тяжелый сапог. Собаку избивали только один раз, избивали за малейшую провинность, а дальше... Дальше собака безропотно и неотступно следовала за своим покровителем, каждую минуту ожидая нового наказания, но все-таки шла, боясь послушаться и получить наказание тут же... Собака шла, плелась, служила, сторожила и везла, не в силах разорвать ту единственную, но прочную связь с человеком, которая появилась еще у несмышленного щенка.

Орешке не удалось дожить до тех дней, когда на него должны были первый раз обрушиться палка или

сапог: он заболел и умер. Но Орешка мог бы и избежать рабской доли — он должен был по достижении зрелого возраста перейти к другому хозяину, рассудительному человеку, обладающему к тому же достаточно большим и внимательным к бедам других сердцем.

За такие достоинства наши собаки, знакомые с черствой жестокостью, обычно платят людям щедрой любовью и бескорыстной собачьей верностью. Примеров такой любви и бескорыстия собак, воистину привязанных к человеку, в наших местах много. Здесь можно назвать и тоскливый вой пса по больному или погибшему человеку, и самопожертвование четвероногого друга при встрече охотника с раненым медведем, и даже такие, казалось бы, неправдоподобные случаи, когда неграмотная, необразованная собака, собака, никогда не проходившая специальных школ дрессировки, вдруг выполняла сложную просьбу человека...

Случай, о котором я расскажу, произошел еще до моего поселения в заонежской тайге, но память о нем жива, как жива память о собаке, которая спасла жизнь охотнику...

Начало события не представляется интересным. Это был заурядный несчастный случай на охоте. Раненый медведь подмывал человека. В ход был пущен нож, но схватку завершала собака, завершала уже тогда, когда человек потерял сознание в объятиях зверя... В избушке человек то ли рубахой, то ли еще какой тряпицей перевязал раны, немного пришел в себя. Но на следующий день снова почувствовал себя плохо. Теряя сознание, подзвал пса и, как мог, попросил его пойти домой и сообщить о случившемся. Как происходил этот разговор, что говорил человек, как ответила собака — это остается для нас тайной, как остаются пока тайной почти любые взаимные объяснения человека и собаки.

Но собака все-таки явилась в деревню, где был дом охотника.

Здесь можно остановиться и поставить под сомнение путь, по которому собака попала в деревню из леса. Собака могла после встречи с медведем просто испугаться и сбежать. Но пес был не из пугливых, да и рана, нанесенная медвежьей лапой, никак не говорила о том, что при схватке собака стояла в стороне... Можно выдвинуть еще много всяких предположений, но факт остается фактом: следы пса, пришедшего в деревню, начались около избушки на другой день после несчастного случая и не свернули с дороги даже тогда, когда собаку встретили волки...

Волков было два. К счастью для собаки, которая к тому же не отличалась хилым телосложением, волки оказались подростками. Схватка продолжалась долго. О ее накале рассказало людям месиво снега и крови, а об исходе битвы поведали две туши волков с разорванными глотками... Окончив долгий и трудный бой в тайге, собака двинулась дальше. Возможно, тогда у людей и возникли бы сомнения: куда все-таки идти теперь тяжелораненой собаке? В деревню? Или обратно в избушку, до которой было значительно ближе? Но пес, наверное, не задавал себе таких вопросов — ползком он все-таки добрался к людям и свалился под окном, успев издать тихий стон... Раненая собака, явившаяся среди промысла из леса, подняла людей, которые на пути к избушке и увидели следы пса, принесшего весть, и мертвых волков...

Кажется, описание события на этом можно было бы и закончить, но история с собакой на этом не оборвалась... Собаку принесли в избу, промыли и перевязали ей раны и уложили еле живого героя под лавку. Потом нашли в лесу охотника и двинулись обратно и на обратном пути снова встретили на дороге того самого пса, который в своем собачьем понимании,

видимо, считал просьбу человека не до конца выполненной — пес, посланный в деревню, должен был вернуться обратно и по-своему доложить, что он сделал все, что мог... Придя в себя, изодранная в клочья собака поднялась из-под лавки, выбила стекла и, теряя бинты, умудрилась ползком преодолеть такое расстояние, которое может показаться слишком большим даже для здорового животного.

Я рассказал эту историю совсем не для того, чтобы приписать собакам особые черты, владеть которыми монопольно желает лишь человек. Нет, я знаю и классическое учение о физиологии высшей нервной деятельности, и основы науки о поведении животных — и вспомнил пса-героя, чтобышний раз подчеркнуть, что Василий Герасимов, который держит своих собак на положении бессловесных рабов, вряд ли дождетя от них бескорыстной преданности.

В личной собственности Василия находились Копейка и Шарик. Если Копейка как поставщик будущих охотников еще пользовалась изредка благосклонностью хозяина, то Шарик имел право лишь выступать гладиатором в лесных походах. Лесные походы оканчивались, пустела арена, и Шарик снова превращался в раба. Но рабство Шарика не оставалось без последствий. Оно почти тут же привело за собой трусость и унижение. Унижение способствовало далеко не талантливой черте характера — попрошайничеству, а за трусостью следовали нервозность и неожиданный оскал зубов без видимого повода. Когда попрошайничество не помогало, Шарик прибегал к другому испытанному средству — воровству, лишний раз демонстрируя этим, что собак тоже может коснуться падение нравов...

Пес-жулик никогда не раздумывал над моралью и этикой при виде на нашем столе румяных оладьев... После очередного падения Шарика на досках стола

оставались следы грязных лап и пустая миска. Нет, Шарик не утаскивал олады, не прятал их поспешно в укромном месте, чтобы по окончании грабежа с аппетитом употребить наше печение, — пес просто пожирал наш завтрак там, где его обнаруживал.

За каждое мародерство Шарж получал от хозяина очередную палку по ребрам. По закону существующего среди людей благородства Василий сначала предупреждал своего пса сигналом о наступлении и только потом бил. Сигнал о наступлении звучал просто: Василий всасывал в себя воздух, всасывал резко, со злостью через редкие зубы... Звук получался достаточно громким, Шарик знал его, но, застигнутый на месте преступления, никогда не убегал, а покорно подставлял бок. Пожалуй, в его ограниченном или сверх меры испорченном умишке олады стоили наказания, ибо разбои пса никогда не прекращались.

Не уважал Шарик и правил, установленных в четвероногом обществе. Он не признавал рыка-предупреждения, за которым тут же могли следовать клыки, и без зазрения совести бросался на своего собрата, когда тот опрокидывался на спину, выкидывая таким образом «белый флаг», уважать который обязана каждая нормальная собака.

Такое поведение пса в обществе себе подобных, разумеется, не встречало одобрения, и при удобном случае все остальные лающие жители деревни ополчались на непорядочного Шарика. Шарик получал очередную коллективную трепку, но вскоре приходил в себя и снова принимался за провокации в обществе соплеменников...

Общество собак в нашей деревушке делилось на четыре самостоятельных класса.

Самый беззаботный и менее ответственный класс составляли малолетние щенки. Щенкам позволялось многое, спрашивалось с них меньше, нередко даже

подросших щенков матери избавляли от забот о хлебе насущном, но в то же время щенки обязаны были считаться не только с желаниями, но и с настроением своих старших собратьев.

Следующий класс в четвероногом обществе занимали годовалые, почти взрослые собаки. От старших собратьев их отличала, как правило, большая подвижность. Этим собакам еще позволялась возня по пустяковым причинам, они могли бродить небольшими бестолковыми стайками по краю деревни, но самостоятельные походы в лес для них были закрыты, и закрыты прежде всего потому, что псы-юноши еще не знали того, что знали взрослые собаки. Все остальное представителям этого класса было разрешено. Они принимали участие в коллективных походах и получали право на собственные территории, которые обычно примыкали к тому дому, где эти собаки были «прописаны». Доверялось собакам-юношам и еще одно немаловажное дело — первыми встречать явившихся в деревню гостей.

Собаки-гости делились на две категории: гости желанные и гости нежеланные... Чужих собак, заглянувших к нам, мне сначала хотелось разделить на покорных и непокорных, но, наблюдая ритуал встреч, я раз от разу приходил к выводу, что отношение к пришельцу складывается не только в зависимости от умения гостя продемонстрировать свое уважение к хозяевам.

Еще весной на краю нашей деревни появился настырный кобелек. Пришелец сумел учтиво объясниться с хозяевами, но ни в первый, ни во второй раз это не помогло ему получить разрешение на вход в чужой дом. Всякий раз гость робко подбирался к забору и покорно ждал, когда хозяева явятся к нему для таможенной проверки. Подобные проверки иногда затягивались. Первыми к гостю устремлялись псы-

юноши. Каждому из них пришелец, наверное, мог бы доказать, что он вовсе не робкого десятка, но хозяева есть хозяева, и их поначалу всегда надо уважать. Гость в знак мира и дружбы высоко поднимал виляющий хвост и терпеливо проходил проверку на лояльность. Молодые хозяева деревни приближались к пришельцу неторопливо, скорее всего, они сами немного побаивались напористого кобелька. Но вот гость и хозяева сближаются на кругах. Пришелец продолжает вертеть хвостом, хвостами покручивают и хозяева... Круг, еще круг друг за другом, тщательное обнюхивание, круги расходятся, те же дружелюбные помахивания хвостами, молодые хозяева возвращаются в деревню, укладываются в настороженной позе у входа в свои владения, гость делал было шаг вперед, но тут же останавливался: к нему медленно и горделиво движутся главные силы...

В главные силы нашего четвероногого общества входили: флегматичный Дозор, вредный Шарик и грозный, неумный в охоте и драках Моряк.

Дальнейшая судьба Моряка кажется загадочной, и эта загадка по сей день не разрешена до конца... Год спустя после описываемых событий Моряк отправился в лес с людьми и не вернулся. Люди видели волчьи следы, видели, как эти следы встретились со следом собаки, но не нашли на месте этой встречи ни «протокола» схватки, ни извещения о гибели пса... Что произошло тогда в лесу? Я долго искал ответ и только в конце второго года жизни в лесу услышал скупой рассказ рабочего экспедиции. Рабочий возвращался из тайги и почти столкнулся с двумя волками и большой рыжей собакой. Этот человек был новым в наших местах, он только что пришел на берег Домашнего озера, конечно, никогда не слышал о Моряке, но его описание собаки, бредущей по лесу вместе с волками, меня поразило. Собака среди волков! Конечно, это была

только догадка, но догадка, на мой взгляд, не очень бестактная по отношению к Моряку... Сумрачный, внушительный взгляд, бесконечные пинки людей в ответ на приветливое помахивание хвостом и неумная сила, которой, видимо, трудно было ужиться рядом с унижениями и редкими подвигами на арене... Ведь был же когда-то среди рабов Спартак...

А пока наш «Спартак», еще далекий от своего таинственного исчезновения, предводительствовал во всех походах и громких баталиях. И при встрече гостей он тоже двигался впереди главных сил четвероногого общества. Остальные представители второго воинственного класса лишь на несколько метров переходили ту линию обороны, которую заняли псы помоложе, и тоже укладывались перед входом в деревню, предоставив Моряку право единолично проводить переговоры.

Первый раз гость, несмотря на внешнюю добропорядочность, был признан нежелательным. «Персона нон грата» после недолгого обнюхивания с Моряком и его предупреждающего рыка поджала хвост и поспешно ретировалась. Во время второго визита пришельца переговоры прошли мягче, но и на этот раз гость не получил желанной визы. И только после третьего визита сопровождаемый любопытной толпой щенков пришелец беспрепятственно прошагал по деревенской улице.

Гость шествовал по деревне спокойно, но достаточно осмотрительно, не забывая чуть-чуть приспущенным хвостом заявлять о своей готовности в любой момент признать безоговорочную капитуляцию. Приспущенный хвост и не слишком воинственно поднятая голова были неременными условиями мирного визита. И эта поза своеобразного уважения чужих стен и дала мне повод вначале поделить гостей на покорных и непокорных.

Непокорный гость туг же изгонялся под общий воинственный клич всех взрослых членов собачьего общества. За ним могла быть срочно организована погоня. Тогда все способные держать оружие срывались с места и гнались за пришельцем, чтобы заставить его признать себя побежденным... Гостя обычно догоняли, окружали, и тут-то и начинался многоголосый собачий хрип. Этот жуткий хрип был не только сигналом угрозы и средством вырвать из пришельца чистосердечное признание — хрип служил в то же время подбадривающим воинственным кличем, который взводил самих нападающих... Казалось, вот-вот должно заговорить самое грозное оружие собак — клыки, но и здесь незнакомцу отводилось право почетно завершить инцидент. Попавший в окружение пользовался, как правило, именно этим путем — он подставлял свою шею по очереди каждому хрипящему псу, и хрип начинал умолкать. Но упаси бог оказаться гостю строптивым, упаси бог показать свои клыки и разразиться ответным ворчанием. Здесь путь к мирным переговорам закрывался, и нерасчетливому забияке приходилось, теряя боевое достоинство и клочья шерсти, спастись постыдным бегством...

Описывая детально встречу чужой собаки, я отмечал и примирительное повиливание хвостом, и его смиренное приспущенное положение, упоминались и подставленная под клыки нападающего шея, и мирный исход, казалось бы, неминуемой свалки. Эти и многие другие «молчаливые фразы» и составляют тот самый язык жестов собак, который наряду со звуковыми сигналами дает животным возможность передавать и получать ту или иную информацию. Животное не только может, но и должно выражать себя, свое состояние, настроение, а то и желание... Животное чем-то напугано. За испугом может следовать реальная неприятность. Если бы испуг не вызвал неприятного

чувства, то животное никогда не смогло бы заранее подготовиться к неприятности. А если бы голод не вызывал неприятных ощущений, смогло бы животное отправиться на поиски пищи?

И вот первая, еще совсем неполная информация об опасности, но собака уже приспустила хвост и на всякий случай приподняла над клыком левую губу... Дальше события могут развиваться в двух направлениях: или побег, или грозный рык и встречная атака. Но до рыка или побега собака уже выразила себя, уже приготовилась встретить опасность. И мы видим поджатый хвост, вздыбленную холку, мы еще не знаем, кто и что явится сейчас за поворотом лесной тропы, но ружье уже снято с плеча... Мы поняли собаку, разобрались в ее эмоциях, поняли их по внешнему выражению состояние собаки, как разбираемся по выражению лица даже совсем незнакомого человека, с чем он подходит к нам.

К сожалению для себя, мы умеем отмечать у собаки лишь несколько «фраз», и прежде всего предупредительный рык, которым пес, находящийся при исполнении сторожевых обязанностей, останавливает человека, заглянувшего в чужой дом. Не зная досконально языка жестов и сигналов собак, мы теряем не только пути к многообещающему контакту с животным миром, мы теряем в лице пса верного и внимательного друга, «душевные» способности которого нами далеко еще не оценены. Мы теряем многообразный и сложный мир поведения животных, которые живут рядом с нами, за которыми не надо идти по глухим таежным тропам, втайне сожалея порой, что не прихватил с собой ружье. И, не умея подчас объяснить себе роль собак-разведчиков, собак-осведомителей, не зная до конца иерархии этих животных, мы уходим порой от истины или в глубокое очеловечивание собак, или в ту область, о которой

писала Лоис Крайслер, в область, где у собак не принято признавать «душу».

А пока люди раздумывают, что можно, а что нельзя допустить у собак, наши деревенские псы, только что прогнавшие неугодного гостя, победителями возвращаются обратно, и притихшее было хозяйство тут же начинает оживать. Откуда-то появляются щенки и крутятся около походной колонны. Победители довольны, они укладываются под забором или у стены дома, вытягивают перед собой лапы, расстилают сзади уставшие от «разговоров» хвосты и высоко поднимают гордые головы. Победители требуют почестей, и почести им оказывают щенки. Щенки крутятся около бойцов, поднимаются на задние лапки, чтобы дотянуться до гордого носа взрослой собаки, — и на это время забыты все уважительные расстояния, все запреты. Мелькают щенячьи хвостики, трясутся лапки, вот один, другой щенок начинает забывать, зачем допустили их к лику героя, вот щенки уже затеяли возню между собой — и тогда легкий оскал зубов старшего собрата и его осторожный рык моментально восстанавливают заведенный порядок, по которому каждой собаке, а тем более щенку надо знать свое место.

Кроме личных владений, на которые наша деревня была поделена собаками, существовали и общие, не принадлежащие никому участки. На этих участках и происходили порой те события, объяснить которые мне никак не удавалось. Сюда я относил прежде всего заседания «верховой думы».

Заседание «думы» всегда начиналось с исчезновения из деревни всех взрослых псов. Подойти поближе и по-слушать «разговор» собак мне никогда не удавалось. Обычно благорасположенные к человеку, наши собаки во время таких «заседаний» становились неузнаваемыми. Достаточно было человеку оказаться

поблизости, как заседание тут же закрывалось, и псы исчезали в кустах так же поспешно и боязливо, как провинившаяся лиса. Никакие уговоры не помогали, и мне только иногда представлялся случай издали понаблюдать, как на «заседаниях думы» вполголоса «разговаривают» между собой собаки. Чем было для собак это таинственное сборище? Обсуждением текущих вопросов? Отчетом вожака? После подобных сборов никогда не происходило заметных событий в жизни четвероногого общества, и мне оставалось только ломать голову над тайнами жизни наших псов.

Никакого внимания «думе» не уделяли только Копейка и Лапка. Копейка и Лапка составляли в четвероногом обществе первый, высший класс. Собаки женского пола не участвовали в баталиях и никогда не встречали гостей, но зато на них лежала обязанность воспитывать подрастающее поколение.

«Школа» будущих охотников «работала» почти каждый день, и этой «работе» могла помешать только непогода. После «теоретической» части, где «обучение» велось при помощи тряпки или старой кошелки, «педагог» собирал своих «учеников» и отправлялся с ними на экскурсию. Целью экскурсии было найти подлинный объект охоты. Таким объектом обычно служили мыши. Вернувшись из похода, щенки укладывались спать, а их мамы отправлялись обследовать хозяйство мужской половины. Все обнаруженное и пригодное в пищу реквизировалось незамедлительно и без всякого сопротивления со стороны прежнего владельца. Копейка или Лапка, отобравшие у Шарика, Дозора, Моряка кость или клочок шкуры, убирались в собственные хозяйства, и эти хозяйства пользовались уже полнейшей неприкосновенностью.

Если случайно зашедший не к себе домой кобель тут же ретировался, принимая перед хозяйкой самые

извинительные позы, то территориальные споры между подругами не так уж редко доходили до воинственных пограничных инцидентов. И в этих стычках никогда не было места ни извинительным объяснениям, ни почетному миру. Атака следовала незамедлительно, причем собаки женского пола воевали между собой с таким завидным мастерством, что невольно воскрешали легенды об отважных амазонках.

Но постепенно я начал замечать, что среди наших «амазонок» существует своя собственная «организация», или, как ее еще называют, иерархия. Эта «организация» не касалась отношений между собаками-воинами, она была организацией внутри организации, но была и приносила свои плоды первой «даме».

Первой «дамой» слыла Копейка. Если Моряк завоевал право быть предводителем явными достоинствами бойца, то Копейка, пожалуй, выглядела не настолько солидной Лапки, чтобы именно эти качества позволили занять ей ведущую роль...

Как-то Копейка вернулась в деревню со щенками раньше обычного и почти тут же заняла место под моим окном. Копейка не имела ко мне практически никакого отношения. Правда, с ее хозяином мы никогда не были в ссоре, но ни с его, ни с моей стороны не было сделано ничего такого, что послужило бы для собаки поводом считать этих двух людей чем-то общим. К тому же я старался не нарушать суровый лесной закон, который строго-настрого запрещал даже изредка подкармливать чужих собак.

Итак, Копейка была для меня чужой, но сейчас она сидела под моим окном, явно выпрашивая подношения. Так продолжалось долго. Я отошел от окна, чтобы избежать соблазна, но собака продолжала ждать. Тогда мне оставалось одно: пойти к хозяину и напомнить ему, что собаку можно было бы и покормить. По моей

просьбе про собаку вспомнили. А на следующее утро Копейка встретила меня подчеркнуто ласково. Я несложно ответил на ее приветствие и тут же попытался подозвать к себе Лапку. Лапка нехотя подошла. Копейка вертелась уже в стороне, соперница, видимо, не интересовала ее, но Лапка никак не могла забыть, что совсем рядом находится первая «дама»...

Через день я все-таки встретился с Лапкой, и собака выплеснула на меня всю свою искреннюю собачью радость. Но вот откуда-то явилась Копейка, и недавняя история повторилась: Лапка тут же ретировалась, а Копейка восторженно заняла ее место... День, другой — и я стал принадлежать только Копейке. Около меня не было ни драк, ни ссор, но я стал личной собственностью одной собаки.

Личной собственностью Копейки считался не только я. Копейка первой встречала по утрам пастухов, рыбаков, первой являлась к нашим гостям, вертелась у костра с ужином или обедом, в то время как Лапке разрешалось знать только своего хозяина — деду Степанушку. Причем среди этих собак никогда не было ни драк, ни борьбы за первое место...

Кто вмешался в отношения этих собак, кто выделил среди них одну, примадонну? Какая черта первой «дамы» способствовала этому? Неужели ласка, кокетство, которые помогали даже рабыне стать хозяйкой своего владельца?

Возможно, раньше диким предкам сегодняшних собак, их женской половине, тоже требовались качества, близкие к качествам бойца, но новые условия, новые отношения, новые пути к вершинам благополучия — и на арену спора за превосходство между подругами выдвинулись иные качества — податливость, ласка, которые оценил властелин...

Но властелин оставался все-таки властелином, жестоким и невнимательным даже к тем рабам,

которые радовали его своим искусством ласки. И этот властелин всегда строго чтит тот самый закон, о котором я упомянул: чужих собак нельзя кормить даже тогда, когда хозяину совсем нет дела до своих псов.

Протяните любой собаке из нашей деревушки кусок хлеба, и даже не надо хлеба, а просто руку, ласковую приветливую руку, положите такому кудлатому псу на голову свою теплую ладонь, и вы увидите то глубоко хранимое богатство, которое не могли уничтожить ни голод, ни палка, ни удар сапога. Это богатство обрушится на вас тут же потоком ласки, внимания, искренней верности, и, очень возможно, этой верности более внимательному человеку и боялся Василий Герасимов, который в первый день моего прибытия на берег Домашнего озера попросил не давать ни Шарику, ни Копейке даже корки хлеба...

Глава пятнадцатая

ВОЛКИ

Отношение с волками складывалось у меня не так просто, как с медведями. И в этом, пожалуй, было виновато то самое первое впечатление, которое я упоминал в рассказе о собаках. Таким первым впечатлением, надолго определившим мое отношение к серым хищникам, было впечатление детства, проведенного во время войны на берегу реки Камы...

Мы поселились тогда в уральском селе и, как подобает вновь прибывшим, начали постепенно изучать законы местной жизни. Вот здесь-то моей детской впечатлительности и пришлось встретиться сначала со словом «волк», а потом и с самими волками. Сейчас, спустя много лет, я несколько иначе смотрю на те причины, которые вызвали нашествие волков в трудные военные зимы. Сейчас я склонен верить тому предположению, что там, на Урале, вдалеке от линии фронта, количество волков вряд ли резко возросло с началом войны. Появление волков в деревне я объясняю лишь притуплением бдительности людей. Безусловно, волки были в округе и до войны, но тогда были и охотники, и эти охотники, их ружья являлись не последним сдерживающим волков фактором.

Человек и волк — это то самое извечное противостояние, которое в память о древности проблемы можно было бы назвать Великим. Человек из века в век уничтожал серых хищников, и из века в век волки не упускали случая нагрянуть в хозяйство людей. Нагрянуть, и нагрянуть с победой, пожалуй, это было большой заслугой животных, находящихся под гласным надзором. И эта заслуга не безосновательно

приписывается волчьей изворотливости и даже волчьему уму. Умение жить на поле боя, не оставить под выстрелами свое основное ремесло — такими качествами рядом с волком может похвалиться еще разве только рыжий лис.

И теперь, принимая эти факты за исходные, я и осмелился утверждать, что именно временное притупление бдительности населения, а не резкое возрастание численности хищников открыло волкам путь в наше уральское село. К тому же память более авторитетных тогда людей до сих пор хранит тот факт, что во всех зимних набегах из года в год участвовала лишь одна волчья стая...

Об объектах волчьей охоты и в зимнем лесу я узнавал уже здесь, в заонежской тайге. Я видел трудную тропу стаи по глубокому снегу, тропу, которая за целый день похода могла не принести животным успеха, и невольно представлял себе, насколько легче был бы путь волка по накатанной дороге, которая пролегла от деревни к деревне. Но сейчас в нашем лесу эти дороги заняты человеком, заняты прочно и весомо, и волки только в безысходном случае отваживаются посетить деревню.

Но тогда на Урале люди отступили, отложили на время ружья, и волки ворвались в село... Утром по дороге в школу мы находили следы волчьей стаи, находили оброненные в спешке остатки волчьей трапезы и по клочкам шерсти, по собачьим головам с горечью узнавали, что на обратном пути нас уже не встретят ни Дружок, ни Жучка... По утрам мы жались у крайней избы, поджидали остальных, зажигали факелы и не слишком смело отправлялись в школу по той дороге, которая стала принадлежать волкам... Память еще и сейчас прочно держит густую метельную тьму декабрьского раннего утра и далекие и близкие вереницы, кучки и толпы факелов, по которым можно

было безошибочно определить, из какой деревни движутся в школу ученики... Факелы горели, роняя искры, почти гасли на ветру и снова вспыхивали желтоватым светом, освещая ребячьи руки, шапки и лица, встревоженные недетской заботой... Факелы освещали переметенную снегом дорогу и уверенно отпечатанные на снегу волчьи следы, по которым с опаской шагали стоптанные ребячьи валенки... И возможно, эта самая память, это первое впечатление и поставили передо мной преграду на пути к волку, которую пришлось долго преодолевать...

Первый раз слово «волк» было произнесено за нашим вечерним чаем где-то в середине августа. С Янцельского озера только что вернулся Василий и рассказал о встрече со следом волчицы и волчат. В этот вечер я поднялся на бугор за деревней и несколько раз предложил животным на их собственном языке ответить: где они и сколько их тайно путешествует по округе? Подражать вою волчицы я умел не так чисто, а поэтому преподнес животным свое предложение голосом волка-самца. Эхо долго носило над вершинами елей мой вой, потом тайга успокоилась, и я снова повторил свой призыв... Третий, четвертый раз, но мне никто не ответил... Я вернулся в избу и успокоил пастухов, что волки, видимо, случайные. Но пастухи тут же после чая уселись забивать в старые позеленевшие гильзы сумасшедшие заряды пороха. В этот раз на порох дробы не полагалось: выстрелы предназначались только для вежливого предупреждения хищников. После таких предупреждений, произнесенных прямо с крыльца, на пол избы сыпалась давно высохшая замазка и глухо потрескивали оконные стекла...

Что подействовало тогда на волков: то ли фальшь моего голоса, то ли громовые выстрелы в небо, — но обнаружить новые следы непрошенных гостей в следующие дни никому из нас не удалось. В деревушку

снова пришла тишина. Мирная тишина жила с неделю, но в конце недели волки снова удостоили нас своим вниманием. Они явились в конец озера и огласили тайгу своим тоскливым воем... За озером завывала волчица. Она выла высоким, жутким голосом, будто кого-то звала. От такой песни животного становилось одиноко и страшновато рядом с темной стеной сентябрьского леса... Волчица еще раз повторила свой призыв, и опять ей никто не ответил...

Зная в общих чертах осеннюю жизнь волчьей семьи, я мог ожидать в ответ на вой волчицы голос волка-самца, скулеж молодых, прибылых волчат, рожденных в этом году, или почти поставленные тенора волков-переварков, старших детей волчицы, родившихся в прошлом году... Туман совсем затянул озеро, спрятал крыши наших домиков, а я стоял на холме за деревушкой и слушал ночной лес. Волчица по-прежнему выла в одиночестве... Ждать дальше было нельзя: волки могли уйти, и я не смог бы разобраться, сколько серых гостей пожаловало к нам. Снова, как и в прошлый раз, я приложил ладони к губам и затянул требовательную песню волка-самца... Я окончил песню, переждал эхо и снова повторил вой. И почти тут же из дальнего конца озера, из Концезерья, мне ответила волчица... Три, пять минут — и я еще раз на волчьем языке объявил о своем желании встретиться с животными. Последний раз волчица ответила мне оттуда, где оканчивался лес и начинался выпас для скота... Дальше она не пошла.

На следующее утро я отыскал следы ночного визита волков и лишний раз убедился, что ответить постороннему волку-самцу волчица могла тогда, когда рядом с ней не было отца волчат.

Рядом с волчицей не оказалось и ее прошлогодних детей, волков-переварков. Только два не очень взрослых волчонка следовали за матерью в ночном походе. Этот

поход начался где-то за Долгим озером и продолжился далеко на север от нашей деревушки.

Казалось, после ночного визита волков в нашем лесу ничего не изменилось. Так же беззаботно разгуливали телушки, так же благополучно собаки совершали свои лесные походы, но к пастухам пришла настоящая тревога. Днем мы стали внимательно следить за стадом и не совсем спокойно принялись ждать следующую пятницу.

Сначала пятница казалась мне сказкой или случайным совпадением, но пастухи говорили об этом вполне серьезно, и следующая неделя полностью подтвердила их предсказание: волчица вновь посетила наши места в ночь с пятницы на субботу... Еще с вечера мы закрыли в избах собак и чутко прислушивались к таежной тишине... Вой повис над озером с первой ясной звездой. Он жил недолго, но, еще тоскливей, чем на прошлой неделе. И снова в ночном концерте принимала участие только волчица. Она по-прежнему отвечала мне, но уже не так смело продвигалась в мою сторону...

Постепенно волчья пятница стала для меня законом животных. Волки никогда долго не задерживались на одном месте, они всегда куда-то шли, торопились, их маршрут, видимо, был точно расписан, все охотничьи уголья надо было обойти в положенное время, строго придерживаясь того расписания, в котором за нашей деревушкой значилась только ночь с пятницы на субботу. Эти пятницы также не приносили мне никакой беды, и у меня оставалось время поразмыслить над своим дневником, куда я тщательно заносил всю информацию о передвижении нашей волчьей стаи... Хотя и редкие, но достаточно точные сведения позволили мне в общих чертах нарисовать тот маршрут, по которому в течение недели следовали волки. Этот маршрут начинался и замыкался на нашей деревушке, и такой четкий круг приводил меня к сравнению волчьих

походов с путями передвижения тигров в индийских джунглях...

Охотник в Индии, взявший на себя миссию избавить жителей глухого селения от тигра-людоеда, никогда сразу не торопился к месту происшествия. Прежде всего он приобретал карту окрестных мест и, сидя в своем городском кабинете, тщательно наносил на нее путь передвижения тигра, который отмечался в джунглях очередными жертвами. Такое стоическое терпение рядом с кровью людей могло показаться чуть ли не преступлением, но другого выхода не было: людоед все еще шел своим кругом, который охотнику пока не был известен. Но вот круг замкнут, расписание животного известно, и охотник выезжал в джунгли для приведения приговора в исполнение...

Сравнение наших волков с тигром-людоедом, мое и без того неприязненное отношение к серым хищникам — все это заставляло ждать одну из очередных пятниц во всеоружии... Неприязнь к волкам подогревалась и последними сведениями, поступившими оттуда, куда ушли телушки и пастухи. На краю леса волки разорвали Шарика, который жил рядом со мной целое лето. Тогда, в первые свои волчьи ночи, я еще не задавал себе вопрос: почему в глуши, в самом волчьем логове Шарик избежал гибели и почему его не стало там, где было больше людей и куда путь волкам вроде бы был прегражден? Что было виной моей невнимательности и необъективности? Может быть, тяжелые воющие ночи глубокой осени, когда ветер ломился в дом, рвал крышу, гремел дверью, когда на небе не было ни луны, ни звезд и когда крик о помощи никуда и никогда не дойдет?

В такие ночи я пропускал очередную волчью пятницу, не выходил за деревню и не слышал волчьего воя. Но именно в такую ночь волки и появились под самые окна моего домика... Что хотели, что ждали эти

скрытные звери от человека, зачем круг за кругом бродили около моего дома?.. О ночном визите я узнал только под утро по размытым следам — волки снова выдержали свое расписание...

Последняя встреча с волками в 1965 году произошла зимой, ночью. Тогда я спутал дни, у меня не работал приемник, я забыл нанести на краю стола очередную зарубку и почему-то уверенно считал, что волки пропустили свою очередную пятницу. Но волки снова оказались верными себе, снова нагрянули ко мне вдруг и снова ушли безнаказанными...

С вечера я кинул на бугор за деревней клочок клевера и с появлением луны выбрался на улицу, чтобы дожждаться зайцев. Я стоял прислонившись к стене старого амбара и любовался серебристо-седой хребтиной косогора. Оттуда, из-за косогора, вот-вот мог появиться быстрый пушистый зверек. Снег горел под луной, как вышедшая^[2] спинка голубого песка. Луна висела позади, отбрасывая на снег мою тень, и я старался не шевелиться.

Заяц должен был показаться мне сначала голубым призраком. Он обязательно немного постоит и осторожным шариком скатится потом вниз ко мне, к клеверу... Я буду долго любоваться его тенью... и, может быть, выстрелю...

Луна уже немного прошла вперед и вот-вот должна была появиться у моего левого плеча. Стоило повернуть голову — и я увидел бы ее, белую и чистую, луну жестокой зимы. Но поворачивать голову не хотелось. Мороз был вокруг: он был у щек, у носа и настойчивыми язычками уже заползал под куртку. Морозные струйки холодно копошились на спине под рубашкой, и стоило шевельнуться, как они тут же разлились бы по всему телу...

Еще немного — и я ушел бы от мороза. Убежал бы, на ходу откинул дверь и остановился бы только у печки... Я бы убежал, но, может, нежелание ощутить холод именно в эту минуту и задержало меня еще у стены амбара.

И тут на косогоре серым дымком встала тень. Тень встала вдруг, как в теневом театре, но не так четко, будто не в фокусе... Лиса! Еще далеко. Немного ближе — и стволы ружья закроют ее...

Ты не увидишь зверя, полуприкрытого стволами, ты просто знаешь сейчас, что верное ружье ляжет в плечо именно так, за полсекунды до того момента, когда зверь рванется вперед, тяжело осядет и свалится набок... А потом в серебро снега вольется дымчато-бурый отлив лисьего хвоста.

А может, и не стрелять?..

А тень все стояла на прежнем месте, стояла слишком долго для непоседливого животного. Стояла в вымороженной тишине ноябрьской ночи, неподвижно и смутно, как призрак, но уже не в одиночестве... Рядом стояла вторая тень... третья... четвертая... Волки!.. Четыре ночные тени, четыре серых убийцы, четыре врага, и только пяток патронов, да и то с бесполезной сейчас дробью...

Прошла зима, наступила весна, волки вернулись в тайгу, и теперь я снова почти каждый день встречал их следы. Мне встречались следы расправы хищников с лосями, встречались кровь и останки жертв, но, несмотря на это, исподволь я стал испытывать глубокий интерес к жизни серых охотников. Этот интерес приходил после анализа волчьих засад, в которых хищники ждали на краю болота лося. Я отмечал волчье терпение, умение расчетливой атакой загнать лося на вязкое болото, лишить его возможности пустить в ход острые копыта передних ног... Все яснее и яснее стала вырисовываться для меня строгая и четкая организация

летнего хозяйства волков, и я начал ловить себя на мысли, что уже не с такой непримиримостью наношу на свою карту очередную волчью тропу.

Откуда взялось это более терпимое отношение к волкам? Может, оно появилось только потому, что волки стали для меня объектом исследования, а всякий живой объект исследования должен был оставаться живым до тех пор, пока мои вопросы не получают полных ответов? А может, мое отношение начало меняться только потому, что кровь и жертвы попадались не так часто, как рисовалось это прежде моему воображению? Все это были вопросы вопросов. Эти вопросы остаются и по сей день, как остается и по сей день Великое противостояние человека и волка.

Да, безусловно, волки дали мне возможность разобраться в их хозяйстве, понять тактику их охот, их законы и ограничения, а главное, они помогли мне разобраться в самом себе и еще раз утвердиться в мысли, что не каждое детское впечатление имеет право оставаться ключом к пониманию дальнейших событий. Я не хочу сейчас останавливаться на роли волка-санитара, регулятора численности, регулятора качества животного мира — эти вопросы широко обсуждаются. Я просто снова вернусь в нашу лесную деревушку, чтобы еще раз вспомнить выстрелы пастухов в ночное небо и более подробно рассказать о местном решении вопроса «человек и волк» как о варианте решения проблемы Великого противостояния...

То ли в силу чрезмерной занятости, то ли в силу, в общем-то, мягкого, терпимого характера жители нашей деревушки никогда не стремились выбить вокруг себя все живое. Рядом с деревушкой всегда оставалось мирно поживать изрядное количество медведей, лосей, лис и зайцев. Не составляли исключения из этого правила и волки, которые, впрочем-то, иногда все-таки приносили дань за мирное соседство с человеком. Но

такую дань человек собирал, как правило, только в том случае, когда волчья шкура, а с нею и премия сами шли в руки... А в остальном? В остальном жители деревушки ограничивались выстрелами в небо, да и то лишь с конца лета, когда волчья семья отправлялась в свои походы...

Добиться от местных жителей глубокого обоснования такого способа мирного существования со своим злейшим врагом мне не удалось, чаще в ответ я слышал короткие фразы, вроде: выстрела боится, помнит долго, ученый волк лучше неученого, место у нас для волков подходящее — убей одного, придет другой, а от нового жди беды... Но в этих коротких фразах, кажется, и скрывалась логика мирного соседства, по которой жила не только наша лесная деревушка. Такой логике с успехом следовало до и после войны село на Урале, где проходило мое детство, где волк был просто оттеснен с дорог в лес, в котором серому хищнику и полагалось по всем теориям быть регулятором и санитаром дикого животного мира, пока обходящегося без человека.

Я не хочу утверждать, что данная логика выдержит любую критику, но выстрелы в нашей деревушке были, изредка они гремят и в других лесных деревнях, рядом с этими деревнями тоже живут волки, и, как правило, потерь от такого соседства наблюдается совсем мало.... Выстрелы вверх и мирное соседство с волками мне посчастливилось и самому проверить на берегу Долгого озера, где я и моя собака были самыми близкими соседями волчьей семьи.

До нашего появления на озере избушка и залив, которые мы называли нашими, входили в летнее хозяйство той самой волчицы, что прошлую осень строго по пятницам заводила ночные концерты неподалеку от лесной деревни. И вскоре после

поселения в лесу я начал отмечать непрошенные визиты волчицы к моему домику...

Обычно волчица выходила на тропу следом за мной. Проводив меня немного, она сворачивала в сторону и исчезала в тайге. Новый день, новые следы на тропе — и теперь эти следы подходили к моему жилью совсем близко... Что искало животное? Что хотело оно от меня?..

Я вспоминал все известные мне встречи с волками, вспоминал прошлогодние визиты стаи под мои окна и начинал испытывать тревожное беспокойство за свою собаку...

Собаку я больше не оставлял одну даже тогда, когда отправлялся ловить рыбу. Иногда мы покидали избушку не на одну ночь, пытаясь хоть как-то отвлечь внимание волчицы, но, возвращаясь обратно, снова узнавали о визите непрошенной гостьи... Волчица — гостья, и пока мирная — это была для меня еще одна загадка. Загадку хотелось решить. И тогда я и задал себе вопрос: а может быть, здесь, в тайге, рядом с волчьим хозяйством непрошенными гостями были мы? Может быть, наше появление заставило волчицу кружить около избушки, чтобы выяснить намерения новых соседей?

Я слышал, что волки не выдерживают взгляда человека, что они всячески избегают встреч с людьми, но эта волчица озадачила меня своим поведением, и скоро я начал глубоко верить, что она все-таки ищет разгадку: кто поселился в ее владениях... Не знаю, что осталось у волчицы после нашей встречи, но тогда она ушла спокойно, ушла в сторону своего логова и больше не повторяла своих загадочных кругов. Встреча с волчицей произошла неожиданно. Утром, как всегда, я выпустил на прогулку пса, взял полотенце и отправился к лодке совершить утренний туалет. Я спускался к лодке немного шумно, до лодки оставались метры, я

поднял глаза и увидел волчицу... Волчица смотрела на меня внимательными глубокими глазами умной собаки, которая, пожалуй, немного знала, что такое наказание. В глазах животного не было того самого хищного огонька, о котором рассказывают в страшных сказках... Она долго и пристально всматривалась в меня. Потом волчица чуть-чуть наклонила голову, будто желала еще раз и немного со стороны убедиться, что за существо поселилось там, где положено жить только ей.

Мы расстались спокойно. Волчица отступила на полшага, повернулась и, не прячась, открыто и независимо, ушла от лодки берегом озера. Потом она перепрыгнула через ручей, что вел в Тимково озеро, потом я еще видел ее серую шубу, мелькнувшую на противоположной стороне озера...

После встречи в лесу началась мирная полоса. Волки больше не крались за мной по тропам, а собака пребывала в хорошем настроении. Такой мир, установившийся между нами и соседями-волками, я мог объяснить себе, вспомнив пожар на лесном болоте. Там, около лесного болота, тоже жили люди, и эти люди тоже не знали нападения волков на свое хозяйство, хотя следы хищников нередко встречались чуть ли не за огородами деревни. Где жили эти волки, почему они бродили за огородами, не причиняя никому вреда? На эти вопросы и ответил лесной пожар... Захламленное лесное болото загорелось в начале лета. Первыми поднялись с горящего болота тетерева, а следом за птицами ушла с болота и волчья семья. Волки шли открыто, оставили чуть в стороне деревню и скрылись в лесу...

На лесном болоте рядом с деревней было логово волков, там волки из года в год приносили своих щенят и, боясь выдать местонахождение волчат, строго поддерживали мир с людьми, своими ближайшими соседями. Этот мир был установлен волками по их

собственной инициативе. Видимо, точно такое же решение приняла и наша волчица, логово которой находилось совсем недалеко от избушки. Но подобный встречный мир волков, пожалуй, еще не был достаточным оправданием для любого близкого соседства человека и хищника: логово рядом с селением — случай единичный, и я ждал осени, ждал, когда животные отправятся в свои глубокие охотничьи рейды.

И такое время наступило. О начале волчьих рейдов первой объявила волчица, почти тут же ответил ей волк-самец, а спустя две недели к семье присоединились и те два волка-подростка, которые прошлой осенью пришли вместе с матерью на свой первый сборный пункт. Волки отправились в дорогу, и мне пришлось вспомнить выстрелы, которыми пастухи регулярно предупреждали своих серых соседей...

Ночью меня разбудило злое ворчание собаки. Дверь у нас никогда не запиралась, и я осторожно подошел к окну, чтобы узнать, кто нарушил ночной покой. За окном никого не было, но собака зарычала громче и с хрипом двинулась к дверям. Я привязал собаку, взял ружье и открыл дверь. Рядом с избушкой сидели волки, те самые волки, которые не так давно были нашими мирными соседями...

Тайга, ночь... А если бы я не привязал собаку? Остановили бы тогда волков какие-нибудь мирные договоры?

В волков можно было стрелять, но я по примеру Василия и Петра предпочел разговаривать с волками иначе. Мое ружье выстрелило несколько раз по вершинам деревьев. Волки исчезли. Нет, они не ушли из тайги, они еще много раз показывались в наших местах, по-прежнему выдерживая расписание своих походов, но мое хозяйство упорно обходили, как обходили

прошлой осенью нашу деревушку, когда из нее разносились по тайге громовые выстрелы...

Глава шестнадцатая

СЛЕДЫ НА ВОДЕ

У нас плотву называют сорогой. Сорога всегда казалась мне глупой рыбой. Сороги много — стадо спасает вид от разорения, — и я не раз удивлялся той невозмутимости, с которой стая этих рыб пересекает чистую полосу озера, предоставив себя на это время в безвозмездную жертву окуням и щукам.

Я подбирался к стайкам сорог и предлагал им наживленный крючок. Если я не шумел, а рыбам не мешала гроза или тяжелый восточный ветер, то сорогу можно ловить без конца. Рыбешки срывались с крючка, падали обратно в воду, испуганно бросались в сторону, следом за ними скрывались в зарослях и остальные сорожки, но проходило всего несколько секунд — и стайка в полном составе снова вертелась около моего крючка.

Я пытался поступать и по-другому. Пойманных рыбешек я отпускал обратно и поодиночке, и небольшими группами. Сорожки, узнавшие не только укол крючка, но и лодку, и руки человека, вроде бы должны были увести от опасного места всю стайку. Увы! Стайка, сбежавшая было за освобожденными пленниками, не могла запомнить опасного места, опасной снасти. Пойманных рыбешек я метил, считал, отпускал обратно, скоро мне начали встречаться стайки, где почти все рыбешки были помечены, но даже такие стайки не становились осторожнее...

С окунями удавалось проделывать то же самое. Но окуни могли сбежать от меня надолго. Полосатые рыбы после беспокойного плеска попавшегося на крючок «товарища» нередко почти тут же исчезали. Еще более

убедительную информацию об опасности передавал стае сорвавшийся с крючка «товарищ», тогда окуневую стайку не удавалось дожидаться на прежнем месте в течение целого дня. Окунь оказались осторожней сороги — они умели запомнить опасное место.

На окуневых хвостах тоже стали появляться мои метки, стали появляться в озере знакомые мне отряды окуней, для этих отрядов побег «товарища» или возвращение пленника также служили неплохим уроком, но уже на завтра урок забывался, и окуни вновь представляли перед неизбежной гибелью, представляли в то же самое время, на той же подводной тропе, строго придерживаясь своего расписания...

Сороги и даже окуни не очень радовали меня своим «умом», но щуки постепенно начинали вызывать особое уважение. Быстрые хищные рыбы умели лучше приспособиться к изменению обстановки, умели гибко изменить тактику и стратегию охоты, перейти от стационарных засад к скрадыванию и к подвижным засадам. Щука была индивидуалистом, от своих собратьев она могла ожидать только нападения и, наверное, поэтому вынуждена была «думать» сама о себе... Да, можно было разгромить одну, две, три окуневые стаи, можно было изрядно побеспокоить сорогу, но выловить, не прибегая к сетям, всех щук в озере было нельзя.

Порой озеро казалось пустым, казалось, в нем нет никаких щук. Но щуки были, на тех же местах продолжали свои охоты за теми же жертвами, теперь упорно игнорируя снасть человека... Были на Долгом озере такие щуки, которым трех, двух, а то и одной ошибки с неминуемым уколом о крючок вполне хватало, чтобы не на один день запомнить опасность. Причем щуки «помнили» именно источник опасности — снасть человека, оставляя засаду для дальнейшей охоты. Знать источник опасности, а не опасное место, уметь

дифференцировать — это было уже верхом подводного «интеллекта»...

Близкое знакомство с «интеллектом» рыб стало неминуемым условием для человека, который выбрал своей специальностью ловить рыбу... Новые открытия, новые уроки и, казалось бы, новые успехи в работе. Но мои успехи по-прежнему носили характер нестационарного процесса. Правда, на графике моих уловов в отличие от кривых полного хаоса все-таки можно было обнаружить некоторую закономерность, которую год назад премудрый дедка Степанушка выразил простыми, но многозначительными словами: «Сначала девять, потом шесть, потом три, а дальше Чертушка совсем отвернется от рыбака...»

Отвернуться от меня совсем хозяину воды не удалось. Первая встреча состоялась под самую зиму, в последние дни открытой воды. У берегов тогда тяжело и глухо билась густая, мутная шуга. Лодка оплывала по бортам льдом, весло все время приходилось окалывать ножом, иначе оно быстро тяжело и выскальзывало из рук. Плавать уже было опасно; надеяться на быстрый маневр при неожиданной волне или резком порыве ветра было так же смешно, как и надеяться выйти из ноябрьского озера сухим... И в это время Чертушка и попался на мой крючок. Сначала червь, потом ерш, а на ерша окунь. Это был рядовой бесшабашный житель Домашнего озера. Ему не хватало солидной осмотрительности своих старших собратьев, и он еще позволял себе необдуманные поступки. Окунь расхорохорился и проглотил здорового ерша... Пожалуй, я освободил бы незадачливую рыбешку, но Чертушка предупредил акт милосердия. Чертушку, видимо, сгубили стяжательство и неразборчивость в средствах. И я не собирался его отпускать...

Дома я еще раз убедился, что хозяином озера оказалась все-таки щука, а потом взвесил рыбину.

Взвешивать пришлось по частям, ибо мой пружинный динамометр был рассчитан только на пять килограммов.

Не помог мне и десятикилограммовый динамометр при встрече с «хозяином» на этот раз уже Долгого озера...

Есть на Долгом озере большой и мрачный залив. Скорее всего, это самостоятельное озеро, которое, по обычаю местных жителей давать своей географии простые и понятные имена, я называл Дальним. С берега в залив давно уже падали старые, уставшие стоять у воды ели. Ели падали друг на друга, теряли ветви, обрастали скользким зеленым мхом и теперь торчали по всему заливу мертвыми корявыми рогами. До мрачного залива меня всегда провожали птицы. Я слышал голоса уток, «ку-ку-вы» гагар и частые свисточки куликов. У залива птицы стихали, оставались сзади — мрачный залив всегда молчал. Но как раз в этом заливе, видимо, и обитал главный «хозяин» местных водоемов...

Ловить рыбу в Дальнем озере-заливе пробовали и до меня. Настойчивые люди не один раз опускали у коряг свои сети и очень часто не находили их на следующее утро. Пропавшие сети долго пытались подцепить шестом, и, когда это удавалось, рыбаки видели свою снасть изорванной. Дыры были большие — в них могла пройти моя лодка. Такие сети уже не чинили, а просто оставляли на еловых стволах, и рыбаки больше никогда не возвращались сюда. Пробовали ловить здесь рыбу и на блесны-дорожки. Иногда за такой блесной кто-то гнался, но только один раз рыбаку посчастливилось увидеть таинственное существо, обитающее под завалами. Существо все-таки схватило блесну и долго таскало за собой лодку. Шнур был короткий, и человеку с трудом удавалось удерживать свое суденышко на воде. Потом таинственное существо

вдруг всплыло, громко перевернулось и унесло с собой навсегда кусок шнура и хорошую медную блесну...

Теперь Дальний залив и его «хозяин» ждали меня. Было темно и неприятно на черной ночной воде, лодка вот-вот должна была последний раз зачерпнуть бортом неприветливую воду, шнур резал руку, а в лицо летели холодные тяжелые брызги. А «хозяин» озера то тонул, то всплывал, то снова тянул лодку за собой...

Уже соевем в темноте я гнал лодку домой. Я снова слышал гагар, на ходу отчерпывал из лодки воду и, еще не очень веря в удачу, нет-нет да и дотрагивался до широкого хвоста громадной щуки...

Все! Теперь все! Больше нет никаких чертей, нет тайн, есть законы жизни подводного мира. Теперь на научной основе можно планировать завтрашние уловы! Но еще какой-то оставшийся в живых Чертушка снова вмешался в мои планы, снова после двух-трех дней удачи предложил мне отступить от воды и дать озеру передохнуть... Откуда такая наглая уверенность мифического существа? Откуда такая власть нематериального черта над представителями вполне реального класса рыб? Откуда стоическая покорность дедки Степанушки, откуда вера в неизбежность события у Ивана Михайловича, с удовольствием воспринимавшего мои разгромные суждения по поводу фанатической веры какой-нибудь старушенции в близкий конец света, предсказанный прохожим человеком еще в незапамятные времена? Ответ на этот вопрос мне принесли младшие братья того самого Чертушки, которого совсем недавно я выловил в Дальнем заливе Долгого озера.

Меня не раз удивляло массовое явление щук на охоту. До этого озеро казалось не очень богатым, и дневной улов в полтора десятка щук считался очень завидным. Но даже такой улов обычно приходил после многих часов обследования каждого участка берега,

хоть отдаленно похожего на щучьи засады. К концу второго года я знал почти все постоянные засады щук на Долгом озере, отмечал их колышками и постепенно приходил к выводу, что щук в озере намного больше, чем постоянных засад. Правда, некоторые засады были «многоэтажными», но даже наличие нескольких охотников в одном уголке не опровергало моего предположения.

В том, что щук в озере больше, чем подходящих засад, я мог еще раз убедиться, наблюдая массовый выход хищников из глубин на охоту к берегу. На глубине щуки пребывали в состоянии оцепенения. Там их не удавалось сманить ни обещаниями, ни реальными подношениями. Но на глубине рыбыны все-таки были, и, доставленные оттуда, они всегда оказывались с пустыми животами. Но вот, насидевшись на голодном пайке, щуки вырывались к берегам, и тут-то и начинался тот самый знаменитый и не всегда точно предсказываемый жор, о котором мечтает каждый рыбак.

Жор наводил меня на мысль, что щуки в течение длительного времени умеют вести на глубине полуголодное существование или, точнее, могут находиться в состоянии оцепенения. Жор оканчивался, рыбыны снова скатывались на глубину, но не все. У берега, у затопленных деревьев, у вершин все-таки оставались щуки, которые и служили предметом наших постоянных и далеко не бескорыстных забот. И этих рыб оставалось в охотничьих уголках ровно столько, сколько могли принять подходящие места для засад... Вот тут-то и пришел ко мне ответ на вопрос, который все еще задавал Чертушка. Я пытался решить этот вопрос по-своему и подмеченное явление, не долго раздумывая, назвал «эшелонами щук».

С «эшелонами щук» я встретился около тех самых вершин, где год назад неудачно сдавала экзамен моя

гармоничная снасть. Две, три, а то и четыре щуки занимали одну вершину. Рыбак не очень шумно подъезжал к затонувшему дереву, отлавливал часть щук и отправлялся дальше, к следующей вершине. День, другой — озеро считалось обловленным. Такое озеро незамедлительно покидалось. Но проходило еще четыре-пять дней, и рыба снова появлялась в своих засадах, приглашая рыбаков вновь вернуться на отдохнувший водоем. Рыбаки отлично знали это явление и объясняли его предельно точно и просто: рыба должна скопиться. Какая рыба? Напуганная визитом человека, избежавшая опасности?.. Нет, новая рыба!.. И рыба скапливалась, и все начиналось сначала.

Предположение, что у вершин скапливается именно новая рыба, требовало проверки и несколько иного подхода к обитателям подводного мира. Я отвязал от удочки крючок и заменил его мягкой, тонкой проволокой. Все происходило, как при настоящей рыбной ловле, но теперь щуки без особых усилий срывали насадку с моей удочки.

Я выбрал себе наиболее интересные вершины и начал около них кормить щук. Щуки быстро насыщались, покидали свои засады, но уже через полдня, день снова появлялись на прежнем месте. Так продолжалось три-четыре дня. К пятому дню рыбыны становились малоактивными, лениво реагировали на мои подношения, и на шестой день хозяева засад куда-то исчезали уже надолго. Вершины замерли, щук у вершин не было, хотя здесь по-прежнему вертелась мелкая рыбешка. В такие дни озеро казалось совершенно пустым. Но вот проходило два-три пустых дня, и вершины, а следом за ними и все озеро оживали тяжелой возней и грохотом охоты — щуки снова вернулись в свои засады...

Кто они, эти щуки: прежние, успевшие отдохнуть после охоты? Или другие? Но теперь моя бескровная

снасть уже не могла помочь, и я снова вернулся к крючку. Щуки у вершин отлавливались, получали небольшую метку на плавнике и возвращались в свои владения. Отлов щук, пометка, новый отлов — и ответ: каждую неделю хозяева вершин меняются. Но куда девались насытившиеся рыбы, где проводили они не один день, не переходили ли они в новые засады? Новые отловы, новые пометки на хвостах, новые вершины, новые смены щук — и ни одной старой знакомой...

У вершин сменилось уже два «эшелона» хозяев, наступила третья смена, и только здесь я отыскал своих старых знакомых: прежние хозяева спустя две недели снова вернулись на свои старые места. Новые вершины, новые опыты, и все опыты по-прежнему подтверждают выводы местных рыбаков: «Да, у обловленных, разоренных засад собирается именно новая рыба». Получалось, что после охоты, которая длилась всего три-четыре дня, насытившиеся щуки скатывались на глубину, переваривали пищу и ожидали своей очереди, а в это время охотничьи угодья занимали их проголодавшиеся собратья. Щучье население было как бы разбито на «эшелоны», которые по установленному расписанию отправлялись на охоту. Но как устанавливалось расписание? Кто заводил щучьи часы?

Появление щук в засадах, начало жора, то есть активного питания, которое приходилось на первые два-три дня очередного «эшелона», иногда связывают с фазами луны. Два года подряд я вел щучий календарь, старательно накладывал его на лунный и пришел только к одному выводу: щучьи часы заводятся каждый год заново с началом нереста этих рыб.

На нерест щуки тоже заявляются по очереди: сначала более беспокойная, мелкая часть щучьего населения, и только потом граждане посолидней. Иногда нерест затягивается на несколько недель по

причине неблагоприятной погоды, неподходящего уровня воды или ограниченного количества удобных для нерестилища мест.

Итак, первая группа щук отметала икру и скатилась на глубину. Отдых длится полторы-две недели. Но вот первый «эшелон» щук отдохнул и отправился занимать охотничьи угодья. Щуки охотятся, а в это время следующая партия проголодавшихся рыб прибывает к засадам.

Как происходит такая смена: мирным путем или под угрозой агрессии? Возвращение щук к нормальному образу жизни после нереста происходит в той же последовательности, что и явление на нерест: сначала отправляются на охоту более мелкие щуки, а потом рыбыны посолидней, и я склонен верить, что толчком к смене первого «эшелона» все-таки является некоторая почтительность более слабых собратьев к своим более внушительным родственникам...

Итак, новый «эшелон» занял место предыдущего, произошла первая смена — часы, включенные в начале нереста, обеспечили бесперебойную работу по летнему расписанию.

Первый «эшелон» ушел на глубину. Но там, на глубине, ключи, там холод и неподвижность... А не эти ли холод и неподвижность и помогают щуке, которая за три-четыре дня охоты довольствовалась всего пятью — семью рыбешками, переждать неделю-другую и дожждаться своей очереди в установленном расписаний? А если так, то щуки по-своему решили проблему перенаселения наших озер.

Но за стоическое терпение в ожидании своего «эшелона» природа периодически платит щукам, всем щукам сразу роскошным столом. И тогда «эшелоны» смешиваются, все рыбыны разом вырываются из глубин и принимают участие в пиршестве... Обильный стол

накрыт, осталось подать сигнал к началу царского обеда, и этот сигнал подает щукам сама жертва.

Нерест сороги, красноперки, массовое появление малька на открытых местах — и щуки поднимаются из глубин... То же самое, когда надвигается гроза, тяжелая, долгая гроза, длительный период голода, а туг перед самой грозой нервные суматошные стайки сорожек, потерявших осторожность, — и грохот щучьих тел опережает на таежном озере первые раскаты грома. Щучье расписание на время забыто — щуки пируют разом и широко.

Догадка об «эшелонах» щук, о привязанности рыб к постоянным охотничьим угожьям пришла ко мне слишком поздно: Долгое озеро закрывалось для рыбаков, наверстать упущенное не удалось и на Янцельском, и я вернулся на берега Домашнего озера, где мне предстояло разобраться в хозяйстве окуней.

Явление, подмеченное на Домашнем озере, я назвал «домами окуней». Эти «дома» имели много общего с засадами щук, здесь также выдерживалось расписание, по которому один и тот же «дом» переходил из рук в руки, но хозяйства окуней располагались не по берегу озера, а на скатах глубоких луд. Первое же знакомство с «домами окуней» принесло мне богатый улов и восторг удивленных зрителей. Восторг зрителей объяснялся весом и количеством пойманных окуней, а удивление вызвала изящная, умная снасть с тонкой леской и крошечной капелькой свинца на конце. Мормышка работала безотказно, сак не успевал подхватывать тяжелых голубых окуней, и то ли тяжесть ноши, то ли нудное помахивание сакон вселили в меня неясное беспокойство и сожаление о содеянном... Рыба должна была радовать, но радоваться я почему-то не мог. Казалось, действительно какой-то черт вмешался в мои мысли, путал и растаскивал их... Чего он хотел? Скрыть от меня очередную тайну? Или просто просил

пощады и милости у человека, который научился противостоять его нечистой силе?

Я уговорил очередного черта успокоиться и на следующий день явился на луду с несколько иными целями. Тогда во мне, видимо, последний раз боролись два противоположных начала: или принять уважение местных жителей, уважение к человеку, который так же, как они, научился сполна брать от леса, от воды, брать к тому же на свою собственную и пока недоступную другим снасть, или примириться с каждодневными косыми взглядами в сторону моей полупустой кошелки, но продолжать разгадки тайн и попытаться завоевать авторитет окружающих иным образом?.. Я все-таки выбрал последнее.

...Опущен якорь, успокоилась вода. Легкая снасть, маленький крючок не очень беспокоили рыбу. Я метил пойманных окуней и отпускал обратно. Что будет завтра? Завтра наступило таким же приятным утром, и наконец в лодке появился первый знакомый окунь, потом второй, третий... Окунь оставались в своем «доме».

День за днем я снова и снова метил рыб, снова окуни, махнув хвостом, исчезали в глубине, а я пятый день оставался без ухи. На шестой день окуни исчезли. Нет, им не мешала погода: барометр по-прежнему стоял на отметке «ясно». Все так же не слишком горячо попыхивал южный ветерок, и солнце каждый день уходило на покой в таких же легких малиновых тонах... Но окуни все-таки исчезли. Луда оставалась мертвой вечер, день, еще вечер. Но вот новое утро, и у лодки снова появились полосатые рыбы. Окуней много, но ни одного с моими пометками...

Теперь я уже знал две окуневые стаи, «прописанные» около моей луды: одна кормилась, другая, отъевшись, куда-то уходила. Но куда? Я искал насытившихся окуней по всему озеру, искал около таких

же удобных мест, но не находил: в других местах были свои рыбы... Наверное, отъевшиеся окуни, как и щуки, просто отдыхали на глубине, пока их «дом» был занят проголодавшимися собратями.

Загадка Чертушки, кажется, была близка к разрешению. Теперь я мог объяснить прихоти многих наших озер, мог, как Иван Михайлович или дедка Степанушка, угадать удобные «хозяину» дни, угадать даже размеры дани, которыми встречал Чертушка не слишком навязчивого рыбака. Но эти дни, эта дань уже были не для меня.

Где-то я уже перестал быть рыбаком. И даже сейчас, осенью, когда можно было валить и валить в кошелку сухую сорогу, я часто оставлял снасть и весло и просто смотрел на последние всплески широких осенних косяков рыб.

Косяки сороги объявились на озере вместе с крепким инеем. С первым ночным морозцем косяки потянулись к берегу и заходили вдоль осенней поредевшей травы.

Что не дает покоя этим сорогам? Что ищут они, бродя около берегов, делая круг за кругом по всему озеру? Может, они проверяют свою готовность к зиме, может, как-то по-своему определяют сплоченность стаи? А может, это память о тех славных временах, когда их далекие предки весной и осенью совершали дальние путешествия из озера в озеро по ручьям и речкам, которые теперь заросли, обмелели и потерялись в болотах? И сороги ходят, ходят кругами, открыто и безмятежно, навлекая на себя хищников.

С первым крепким инеем следом за сорогой к берегам устремляются и щуки... Давно пожух и обломался под холодным ветром тростник, давно упала на воду куга, потемнели и опустились на дно листья кувшинок, давно не было в траве щучьих засад, но вот берега снова и последний раз в этом году ожили... В

прозрачной осенней воде щук хорошо видно. Можно долго ехать на лодке и считать неподвижных рыб. Но щуки уже не те: вялые, короткие броски, полное безразличие к веслу, подведенному к самой щучьей морде... Кажется, щуки спят, и даже потревоженная, сдвинутая с места веслом рыбина не так поспешно, как летом, уходит в темноту. Щукам пора успокоиться после недавних летних охот, но сорога почему-то отправилась путешествовать, и сонная ленивая щука все-таки пошла за ней... День, другой, третий — косяки сорог уходят, уводя за собой щук. Уходят «глупые», несмышленные сороги, так и не сумевшие научиться избегать опасности, уходят, уводя за собой «талантливых» рыб, «знающих» расписание «эшелонов», подводные версты, умеющих быстро разбираться в хитростях человека и свободно менять методы своей охоты... «Умные» щуки уходят за «глупой» сорогой, как уходят «интеллектуалы» — волки за стадом мигрирующих оленей... Куда и как идти, все-таки «думает» не волк, а олень! А о чем «думает» сорога?

Стая сороги последний раз выплескивается на холодной вечерней воде, выплескивается неживым фиолетовым огнем. Стая уходит до следующего года, унося свои тайны. Последний всплеск рыб тает, расходится. Расходятся и тают последние в этом году следы на воде...

Глава семнадцатая

ДРОВА

Каждый день в лесу оканчивается у огня. Оканчивается костром на берегу озера, русской печкой в теплом доме или жиденькими желтыми язычками пламени над стопкой еловых щепок в курной охотничьей избушке. Лесной день может оканчиваться и около нодьи — около двух сосновых стволов, положенных друг на друга, положенных прочно и верно на длинную декабрьскую ночь Севера...

Для костра на берегу озера могут пойти любые дрова. Только для растопки они обязательно должны быть сухими. Вниз укладывается береста, бересту схватывает язычок спички, и тут же — огонь. Огонь жаркий, спорый, а сверху... Сверху на огонь может пойти все, что попадет под руку. Если бревно сырое, а чай уже вскипел, то даже лучше, что это бревно больше тлеет, чем горит: дым спасает от комаров, а расплываясь вокруг тебя, создает подобие доброго уюта.

Для огня в охотничьей избушке дрова идут мелкие, сухие. Лучше ель. Ель ярче схватывается, крепче, смолистей горит. От такого огня охотней разогревается камень, и долго потом держится тепло в крохотном домике.

Печка в избушке зовется камеленкой... Груда черных от старости и вечной копоты камней, сложенных в углу, кем-то давно принесенный сюда в лес железный шкворень или кованый гвоздь. Гвоздь вбит между камнями. На гвозде котелок. Под котелком огонь. Очаг тесный, не свободный для огня. Желтые с красным, нервные еловые язычки выпрыгивают из камней, лижут

котелок, уходят дальше, к следующим камням, и потрескивают вместе со щепками. Потом язычки вдруг опускаются вниз, снова вспыхивают и долго-долго рассказывают тебе тихую таежную сказку...

Мне нравятся простые северные сказки, сказки леса. Эти сказки всегда короткие, их не услышишь по заказу, они появляются вдруг за котелком с ухой, за кружкой чаю или папиросой...

Старик идет впереди тебя по тропе, отводя батошкой мокрые ветки черемухи. Кажется, он будет идти так всегда, но старик сворачивает с лесной дорожки, ты спешишь следом и видишь среди ровненьких елочек удобный таежный станок... Станок на тропе простой. Иногда это всего лишь дерево, удобно упавшее рядом с тропой. Дерево давно обросло сырым мхом, и теперь, прежде чем сесть, тебе приходится укладывать на ствол несколько еловых лапок... Рядом стоят заплечники, на заплечниках наши шапки. Еще тепло, еще далеко до холодных тяжелых ветров, но шапка у старика уже зимняя. Старик долго шарит по карманам, ищет бумагу, спички, потом закуривает и молча поглядывает по сторонам. Вместе с ним молчит лес, и только нахальная сойка вдруг принимается кого-то долго и беспардонно ругать. Старик еще раз затягивается голубоватым махорочным дымком, поднимает на сойку глаза и тихо, не то для меня, не то для самого себя, говорит: «А вот почему сойки всегда дерутся...»

Я хорошо знаю соек, знаю их крикливый, взбалмошный характер, знаю, что здесь этих птиц иногда зовут и по-другому: не сойка, а ронжа — и что крик сварливой птицы может не пообещать ничего хорошего вслед человеку. Тогда человек обычно останавливается, поворачивает голову к птице и отмечает неприветливый знак простыми словами: «Поди ты — ронжа дикасится...» Дикасится, наверное,

происходит от слова «дикий»... Да, я, пожалуй, знаю все об этих сойках, но старик, будто так пришлось к слову, сообщает о крикливых птицах еще дальше, рассказывая сказку о том, как давно сойки передрались между собой из-за лакомого куска, как разлетелись в разные стороны и теперь вечно ругают друг друга...

Наверное, лес, жизнь на отхожих озерах, где человек всегда один на один со стихией, не могли разрешить лесным людям вздорить, долго злиться друг на друга. Без помощи, без выручки, когда охотник, ушедший в лес, вдруг не возвращался в обещанный срок, наверное, нельзя было жить... Может быть, именно поэтому бабка Катерина, нянчившая внука, и придумала в назидание будущему человеку сказку о злых птицах, увидев за осенним окном орущих соек... Ругань и злость не принесли птицам добра, а без добра нельзя быть. Вот и вся сказка. Сказка коротенькая. Бабке некогда было долго философствовать, так и осталась история соек в памяти людей всего на одну минуту рассказа...

У следующего станка старик может и промолчать, если ничто не напомнит ему сказку...

Порой мне казалось, что сказки и не помнят, а придумывают тут же, узнав рядом с собой что-то такое, что способно воскресить прошлое. Говорить о себе не принято в лесу, а если прошлое еще живо, живо не до конца закрывшейся болью, как тогда? А не проще ли взять и рассказать сказку, где твоя жизнь вроде и не твоя, но в то же время почти все о тебе. Возможно, сказки и появляются именно так, когда лес, тропа, болота, глубины озер, утренние туманы, светлые ночи Севера и избушка посреди тайги сами по себе уже настоящая сказка...

Сказки вечернего огня в избушке тоже короткие, они тоже появляются неожиданно и по-разному окрашенными. И эти сказки иногда могут не прийти к

тебе совсем, если за усталостью трудного лесного дня вдруг забудешь подкладывать в камеленку щепки.

Когда нет охотничьей избушки, когда ты далеко от дома, но вот ночь, ночь на пути за куницей, тогда человеку остается только нодья... Нодья обязательно устраивается из сосны. Сухие сосны именуются жаринами. Сосны мало рядом с густыми тяжелыми болотами. Мало и жарин. Порой жарину находят только по старой памяти, валят ловким охотничьим топором, а потом она всю ночь бережет людей от мороза, от снега, от погоды...

Погода и непогода — эти понятия знакомы всем. Но непогоды я никогда не встречал в нашем лесу. Рядом с нами было или вёдро, или погода... Вёдро означало, что ничего не пришло в лес с ветром, ничего дурного не задержалось над нашими озерами, нет дождя, туч, нет сырости и грязи, а есть только ясность солнца и легкие дороги. Когда вёдру вдруг надоедало быть, когда солнце уставало бороться с ветром, тогда и приходила к нам на место чистоты и ясности погода. Летом погода приходила в лес тяжелым грозovým фронтом или слякотью. И тогда человек, собравшийся в путь, предварительно выходил на крыльцо и отмечал для себя: «Поди ты, какая погода...» К зиме утихомиривались грозы, подсыхала грязь, с морозом приходило обновление, но и здесь погода не забывала явиться к человеку, ушедшему в лес с ружьем. Зимой погода — это шквальный ветер, мокрый снег, отсутствие солнца и звезд, бураны и едкая хрустящая поземка. Но даже такая погода всегда останавливалась над нодьей.

И, люди спали, разбросав снег и подложив под себя пяток широких еловых, лап, Спали спокойно и крепко у жаркого соснового огня, который никогда не искрил, не грозил швырнуть в спящего человека предательским углем.

Вспоминая все, что приходилось слышать и говорить у вечернего огня, я не раз отмечал, что память, явившаяся к человеку в охотничьей избушке, в крепкой теплой избе и у костра на берегу озера, приносила с собой совершенно разные слова... Вечер в избе был обычно вечером раздумья, итогом прошлого и выбором новых путей. И даже тогда, когда эти раздумья, итоги, планы одевались в сказочную форму, содержание самой сказки было много шире и дальше, чем обычная сказка-мораль, найденная в охотничьей избушке, размеры которой значительно уступали размаху рубленой избы. Но избушка и изба приводили человека к отличным мыслям, видимо, и по другой причине... Ночь в избушке обычно отделяла друг от друга две очень похожие тропы, за избушкой редко когда следовали новые дальние дороги: ведь из избушки человек никогда не уходил так далеко, как из родной избы. Изба же покидалась надолго, отсюда начинался большой путь, этот путь требовал больших решений, да и само прощание с родными стенами вряд ли у кого проходило так же просто, как с временным лесным убежищем...

Костер на берегу озера никогда не был для человека даже временным убежищем. Скорее всего это был просто свидетель твоего пути, с которым ты каждый раз расставался после таежной ночи. Но этот свидетель умел быть и добрым и внимательным, он умел успокоить, согреть, огородить тебя от тайги и оставить наедине со своими мыслями... Мысли у костра обычно жили рядом с тем явлением природы, которое в данный момент сопровождало твоей ночевке. И может быть, эти дожди, вечерние и утренние туманы, грустные желтые листья осени и таинственные белые ночи и были виноваты в том, что сказки у костра, сказки, пришедшие к человеку на полпути, чаще обращались к памяти недалекого прошлого- грустного или веселого, но всегда имевшего свои стены... Вот в

такой грустной сказке, где-то найденной в дороге, я и жил однажды на берегу озера около не очень веселого, сырого костра...

Сказка родилась в вечной тайге и на ту ночь навестила озеро. Ночь пришла тихим, живым туманом. Туман не казался сплошным, он перемешивался, растекался мутными, сонными струями, зализывал берега, упавшие в воду деревья и мою лодку. Потом туман совсем погасил костер, мне неоткуда было дальше ждать сочувствия, я осторожно спустился к воде и отвел от берега свою посудинку...

Еще недавно была вода и неблизкий берег притихшего озера. Сейчас туман, сейчас не видно берегов, не видно тяжелых, объединенных водой еловых вершин, что давно спустились вниз и остались в озере черными жуткими страшилищами. В сумерки такие страшилища появляются из воды сразу и сразу протягивают к хрупкой лодчонке кривые, хищные когти...

Сейчас не видно когтей, сейчас тишина тумана, и в этой тишине незаметно рождается сказка ночного таежного озера... Сказку рассказывает кукушка... Она долго и потерянно зовет свою любовь: «Ку-ку! Ку-ку!» Любовь уже близко, она рядом. И навстречу любви летит радостное, вспыхнувшее через страдания и разлуку: «Куку-ку! Куку-ку!» Но это жестокая любовь. Она вдруг улетает, зло издеваясь над чистым и верным чувством. «Кли-кли-кли» — так всегда хохочет самка кукушка.

Я не помню автора этой сказки. Сейчас рядом с тоскливым криком кукушки-самца, который долго и потерянно зовет своим «ку-ку» безответную любовь, вспоминается только сама грустная история.

...Как всегда в сказках, это было давно-давно. Смелый охотник полюбил девушку, но у девушки не было сердца. Тогда лесной «хозяин», чтобы спасти

охотника, оборотил девушку в кукушку, но сделал еще хуже. Влюбленный пришел к лешему и попросил оборотить птицей и его: он не мог не видеть свою любовь, этот отважный охотник. С тех пор охотник летает по лесу, ищет свою любовь, иногда находит, а она смеется над ним и улетает... И так все время...

Сказка оживает правдой. Исчезает лодка, весло, исчезаю я сам. Остается только утренний туман, и в этом тумане редко и грустно остается «ку-ку, ку-ку»... Он, наверное, очень устал от любви, этот отважный охотник. Следующей ночью он еще тише будет звать ее, а потом совсем отчаится и куда-нибудь улетит немного успокоить сердце...

Я часто вспоминал эту сказку уже потом, у богатого, широкого огня русской печи. Тогда у меня уже был дом, стены, крыша, тогда туман уже не трогал меня так, как тогда на берегу озера около сырого костра. Я снова возвращался к содержанию лесного рассказа и сравнивал эту историю с другой народной сказкой, тоже родившейся на Севере. В той другой сказке мать обернулась кукушкой и покинула навсегда ленивых и черствых сердцем детей... Что заставило автора нашей сказки пойти по иному пути? Или то, что нельзя все-таки матери оставлять своих детей, или та биологическая истина, что многозначительное для доброй фантазии «ку-ку» никогда не произносится самкой кукушкой, «ку-ку» — это призыв самца, а самка кукушка может только по-кукушечьи хохотать?.. Наверное, найти истину помог бы костер на берегу озера, но костра давно нет, давно нет летних туманов. Сейчас есть печь и близкий вечерний огонь в хорошей русской печи, около которого я и окончу сегодня свой лесной день...

День был трудным, как любой день рыбного промысла в тяжелое октябрьское предзимье. Предзимье — это ничье время: ни осени, ни зимы... Осень вчера

отступила совсем, потеряв последний лист с березы, а зима еще не пришла, не заявила, не стукнула в дверь, будто ждет, когда уберутся вслед за осенью раскисшие от воды, тяжелые, низкие тучи.

Тучи еще есть. С утра они совсем закрыли небо, а к полудню опустились вниз к лодке и долго и громко перемешивались надо мной ветром. Ветер пришел откуда-то с запада. Сейчас почти ночь. Ночь осталась за стенами дома, но все еще преследует человека, только что закрывшего за собой дверь. За окном темнота, циклон, холод, дождь и ветер. С потолка упала на стол тяжелая мокрая капля. Стук в дверь, еще, еще — стук ветра. От ветра потрескивают в окне стекла, скрипит тесина на крыше, а еще дальше только «у-у-у» — дикий, чужой голос, как глубокий и злой выдох перед дракой... А то загудит, задует, как сквозняк, что подогнали большим и быстрым поршнем. Потом стихнет, снова сорвется, и на душе становится неуютно и тоскливо от чужого голоса. Если бы не огонь в печи...

Вот, наверное, почему в Англии, туманной и сырой, в таком почете камин... От батарей, от парового отопления может быть только тепло, а от огня становится еще легко и весело. Легко и весело от жаркого шепота углей, от пляски шелковых язычков на подброшенном полене, от потрескивания дерева... Но огня у меня пока нет, пока только остывшие, потерянные было на морозе руки, и эти руки, все-таки принесенные домой, сейчас в печи.

Печь топлена в утреннюю рань, но сохранила тепло, и руки уже что-то чувствуют, пальцы уже знают друг друга, еще минута, две — и они смогут оторвать полоску бумаги и насыпать в нее табак. Потом папираса, и тихий синеватый дымок закроет глаза, закроет только что оставленное весло, лодку, ледяные волны, шнур перемета, крючки, рыбу и даже те дрова

около печи, которые готовы последний раз послужить человеку...

Дрова в избе еще с прошлого вечера. Сухие, готовые к огню, к последней и самой яркой своей песне. Два полена, большие, ровные, лягут сейчас рельсами для других дров. На рельсы еще и еще поленья, поперек, вдоль, не слишком близко друг к другу, чтобы свободней было огню... Огонь займется сразу, ударит вверх, кинется к стенкам, окружит очаг дымным хвостом и через устье, через выход печи найдет свою дорогу в трубу. Огонь большой, безумный, огонь перемахивает через котелки, закрывает, прячет в себе уху, чай. Потом одумается, смирится со своим последним днем и трудолюбиво и нужно для уставшего человека заиграет, запоет искрами скорого ужина.

Первыми в мою сегодняшнюю печь ушли еловые дрова... Мне всегда казалось, что ель, угрюмая, неразговорчивая, живет нелегкой жизнью. Это она, ель, дерево тихой, но благородной судьбы, хранила лес от пурги и болотного тумана, прятала зверя и кормила птиц, берегла поселения муравьев и чутко стерегла сон хозяина тайги — медведя. Все шквалы и невзгоды ель принимала на себя, выйдя ровной, прочной стеной к берегам озер и окрайкам тоскливых болот. И эта сырая, трудная жизнь, работа не оставили дереву времени на радость и песни. Ели некогда было даже поговорить с подругами, а когда срывался тупой бурелом и она, не выдержав, должна была упасть, ель успевала только один раз вскрикнуть и с глухим стоном свалиться на седой мох.

Сейчас ель в печи рядом с огнем. И смолистые, жилистые от трудной жизни еловые дрова и сейчас остаются добрыми тружениками. Но дерево еще не хочет умирать, не хочет перестать жить, не зная, не встретив счастья, песен, никогда не одевшись настоящим цветом, и ель будто сердится, немного

потрескивает, а иногда, вспомнив что-нибудь слишком трудное, вдруг выбросит в сердцах из печи тяжелый уголь: ведь в свой последний день, день огня, дерево всегда вспоминает свою прожитую жизнь...

Нечего вспоминать только осине, пустой в молодости и крикливой в последних осенних красках. Ей не довелось стоять стеной перед лесом, не довелось добро встречать огоньки ромашек и жаркое пламя клевера... И те-перь, осенью, осина могла всего лишь вспыхнуть яркими, броскими красками. Краски уже никого не привлекали, их смывал дождь, сносил ветер, и осина просто теряла лист, блекла и начинала подгнивать изнутри...

Я не люблю осиновые дрова — они горят быстро, вспыхивают и исчезают. Осина в печи не умеет даже сердиться, треснуть, бросить углем. Иногда, когда осиновых дров много, от них случается и жарко, но жарко на минуту, как от встречи с громким, но пустым человеком...

Иногда я выбираю из поленницы трудные, чуть кривые ольховые чурочки. Я не варю на них уху, не кипячу чай, я просто подбрасываю их в печь и недолго слушаю последний рассказ ольхи о своей не очень веселой жизни...

Ольха родилась сиротой. Жила вдали от леса в сырой, неприглядной местности. Ее терзал ветер, смывало весенней водой, леденило морозом. Она гнулась, иногда обламывались ветки, но ольха росла, хотела жить, а потом вдруг узнала, что она всего-навсего лишь дурнушка. С тех пор ольшинка не поглядывала больше на березы и сосны, а осталась навсегда у темной воды рядом с такими же неуютными подружками... Ольха жила недолго, как недолго живет на ольховых дровах коротенький красный огонек. Огонек проходит быстро, его можно только смотреть, он бывает и жарок, жарок, наверное, от желания ольхи

хоть здесь, хоть последний раз быть веселой и даже полезной...

Мне жалко этот добрый, смущенный огонек, я не трогаю его и никогда не заставляю ольховые дрова даже кипятить чай.

Сейчас в моей печи одна ель. Она уже успокоилась, смирилась с огнем и честно работает. От ее ровного, трудолюбивого огня быстро разойдется, разогреется печь, глубже останется жар в кирпиче, в камнях, которые лежат ниже, под кирпичом. Иногда на камень старики выложат и битое стекло. Стекло тоже для жара, для жаркой и долгой печи. Стекло укроют, зальют глиной. Глина смачивается водой, и эту глину долго бьют плоской тяжелой доской. После этого остается ровная, гладкая поверхность — пол очага, под печи. Когда глина высохнет, станет настоящим печным подом, в очаге разведут огонь, а после огня уложат на под хлеб, рыбу, пироги или просто подовые лепешки... Но глина непрочна, она крошится, под снова и снова приходится набивать доской, и хорошо, если окажется под рукой ровный фабричный кирпич. Тогда на глину выстилается другой, кирпичный, верхний слой. Камни, стекло, кирпич удержат огонь, оставят его в себе, а потом испекут хлеб, лепешки и пироги с рыбой. Хлеб и пироги пекутся и сверху от жара, что идет со стенок и свода очага. Когда свод низкий и стенки близко наклоняются к поду, печь бывает горячей и душной. В такой печи быстро разойдется огонь, но удержится недолго: огню негде было покрутиться, негде было пожить, он улетел в трубу. В такой печи хорошо и быстро кипятить, но сушить и парить неловко...

Когда печь высокая и охватистая, огонь перед трубой успеет нагуляться по стенкам, успеет задержаться и глубоко и надолго разогреть камень, стекло и кирпич. Такая охватистая печь хорошо держит тепло, и около нее легко и просто смотреть огонь.

Огонь не беснуется, не рвется улететь, а живет свободно и ярко, как на воле.

У меня спокойная, тихая печь. Давно прогорели еловые дрова, давно вскипел чай. Чай на столе, в кружке, рядом с новой папиросой, с ее мягким задумчивым дымком. За дымком исчезает окно, не слышно ветра, стука двери, а есть только печь и добрый огонь березы...

Березки поднялись у теплой опушки леса легкой голубоватой порослью. Их еще не видно, их не знают, будто и нет еще этих деревьев. Но вот зима, лето, снова зима, и вдруг весной береза заговорила, заиграла листьями и встретила людей и песни птиц ласковым ясным светом. У березы, наверное, была и любовь, тихая, счастливая любовь, когда живешь только для того, кого любишь; пожалуй, береза должна была кого-то очень любить в свои девичьи годы. Но песни и юность прошли, как проходят легкие чистые облака майской весны, чтобы вдруг исчезнуть и оставить после себя уверенное июльское солнце. Наверное, июль с его заботами тоже был у березы не очень грустным. Она возмужала, поднялась, окрепли ветви, и береза стала уютней, добрей. Потом август, первый желтый листок-середина, и вчерашняя тонконогая березка вдруг не убежала за подругами, а осталась у дороги, будто чего-то ждать, ждать долго, до конца, как умеют женщины ее земли ждать не вернувшихся домой. В ожидании гуще пошел желтый цвет, ниже опустились ветви, будто это дерево-мать уже знало судьбу сына, мужа, будто приготовилось встретить и худшее, но все-таки было, было приветливо и откровенно для всех тех, кто оставался жить дальше.

Наверное, березовые дрова тоже должны рассказывать о своей жизни, рассказывать тихим и ласковым огнем... Такой рассказ надо слушать внимательно и знать, что он бывает не так уж часто.

Березу нельзя слушать много: одно-два белых полена — и рядом с тобой уже живет долгая, хорошая история этого дерева...

Когда ветер и дождь уж слишком постараются за день, когда останется совсем мало продуктов, а уходить рано — еще не окончена работа, когда однажды сделается трудно так, что захочется по памяти детства сказать вслух: «Мама!», тогда я топлю печь только березовыми дровами. Огонь живет чисто и богато. После него надолго остается в избе тепло. Тепло живет вокруг. Ты спокойно куришь, вспоминаешь близких людей, и от этого березового тепла становится уютно и просто, будто сзади, узнав твою беду, подошла и оставила на плечах руки добрая, тихая женщина...

Сегодня был просто трудный день. Еще есть продукты, еще не совсем плохо с работой, еще одиночество лесной жизни не подошло, не загородило собой остальной мир.

И березовые дрова остаются пока для меня только добрыми собеседниками... Сейчас я топлю русскую печь, как камин, подбрасывая по сухому березовому полену. Печь не перепевается — от нее только огонь. К ночи, когда ветер снова ударит в стекло, грохнет дверью и ворвется в трубу, я уложу в печь пяток сосновых поленьев и нагоню жару. Потом раскидаю угли и долго буду смотреть на угасающую стихию. Она блекнет, теряет краски и умирает с последним рассказом... Потухшие угли выметаются из печи, от ветра закрывается труба... Теперь жар пойдет по избе, и всю ночь будет тепло. Тепло от ели, от березы и от последней охапки сосновых поленьев.

В лесу нет вина, нет стакана виноградной песни, нет стопки пшеничного спирта, крепкого от тяжелого труда хлебороба. И когда вдруг узнаешь, что очень замерз, замерз и внутри, вместо винограда и пшеницы приходит к тебе солнце яркого дерева — сосны.

Пожалуй, сосну можно назвать деревом-солнцем. Это она стояла в горячем огне над чистой песней ручья, стояла над красным теплом брусники и ласково улыбалась перезвону зяблика. Это она, сосна, расправляла свои ветви навстречу июльскому солнцу, она собрала его с игл и веточек, сохранила в себе до осени, до холодов, а сегодня вдруг отдала тебе это солнце, отдала ярко и ослепительно, как чудесный летний день — счастье.

Сосновый огонь исполняет свою янтарную пляску, исполняет весело, жарко, как виноградное вино и пшеничный спирт. И не надо вина, не надо спирта. Сосна будоражит, кипит, заливает все твои хмурые уголки. И нет нигде сырости, плесени, а только жаркий, солнечный июль пришел к тебе сейчас вместе с тихим огнем ромашки и запахом горячей земляники. Но от сосны не бешено, не безумно, а только жарко и ясно, как просто и ясно от песни зяблика в светлом сосновом бору.

У меня нет в окне зимних рам, и к утру ветер, циклон, погода снова принесут в избу холод. Тогда еще в утренних сумерках я прошлепаю по холодным половицам на кухню, нащеплю лучину, уложу колодцем дрова и снова протоплю печь... На озере снова будут ветер и дождь. Я объеду свой перемет, проверю крючки, привезу домой тяжелых холодных окуней, стукну дверью, открою заслонку и долго буду в теплой печи греть застывшие от воды и ветра руки... От холода и жара, от жара и холода руки давно огрубели и покрылись глубокими, иногда очень болезненными трещинами. Я заклеиваю трещины пластырем, боль стихает. Стихает за папиросой, перед новой ночью и новым огнем, перед новым рассказом ели, сосны и березы...

Глава восемнадцатая

РЕЗКИЕ МУЖИКИ

Начав свой рассказ «Резкие мужики», я прежде всего хочу обратить ваше внимание на особенность произношения слова «резкие»... Именно «резкие», а не «резкие». Наверное, можно легко доказать, что правила современного русского языка требуют произносить это слово все-таки с ударением на первом слоге. Я не хочу оспаривать эти правила и в своем повествовании очень стараюсь объясняться с читателем общепринятыми формами. Я стараюсь забыть на страницах книги обороты, выражения, архаизмы, кажущиеся и действительные неправильности тех языковых форм, которые существуют безбедно на берегу Домашнего озера и по сей день... Говоря о старике, который знакомил меня со сказками, я называл его не дедко Степанушко, а дедка, попутно заменяя «о» на «а» и в окончании имени старика. Дедко, Степанушко, Петро вместо Петр и даже Шарик-то вместо хорошо знакомой нам клички деревенского пса — все это можно было легко объяснить наличием в древнерусском языке преимущественного «о» в окончании слов, где теперь стоит «а», и оставить на страницах книги; если бы мой рассказ сводился лишь к тем лесным историям, которые рождаются и живут пока только сами для себя. И тогда, вспоминая, как однажды ночью, услышав волков, Шарик беспокойно и громко метался по сениям, я рассказал бы об этом событии так: «Слышим-то, за стеной есть что-то — шастает, шастает-то да крятать примется, так ломотина стоит... Высстали, а Шарик-то и шастает...» «Шастает», «ломотина», «крятает», «высстали», неизменные «дык» «даю», «-то», «поди» — все это

можно было бы внести, оставить, объяснить рядом с «опряжкой», «обрядиться», «осолить», «сошла». Тогда многое из опущенного могло бы ожить, заговорить ярче и полней для меня самого, но где-то, еще в самом начале, мне пришлось остановить себя, остановить в надежде, что мои рассказы могут быть прочитаны не только Иваном Михайловичем или Петром Мушаровым, и я лишь в редких случаях оставил выражения, принятые у нас в лесу, вроде как: «стрелить враз», «свалить лог», оставил их лишь тогда, когда они обозначали явление малоизвестное в иных местах, а оттого и имели право быть наряду с «резкими» вместо «резкими».

«Резкие» есть и у нас. «Резкий», отнесенное к человеку, обычно ассоциируется с острыми углами характера, неожиданными для окружающих решениями и не всегда оправданными взрывами... Именительный падеж единственного числа слова «резкие» не «резкий», а «резкой», с сохранением ударения на втором слоге. И не ждите никогда от резкого человека неожиданных выходов — здесь все можно предвидеть, даже грозу сердца после долгого и трудного к вам отношения, как предвидим мы тяжелые гневные ветры над Домашним озером после крепкого, каменного ведра. И пожалуй, эта возможность предвидеть любые поступки лесного жителя, диапазон которых простирается от глубокой печали и искреннего сочувствия чужой беде до ярких и неумных схваток с самим собой и со стихией, и дала право нашим Далям и Ожеговым внешне резкие черты характера назвать иным словом.

Схватки и пожары характеров у наших мужиков никогда не являются вдруг, они всегда живут рядом со сказками и тихими песнями, рядом с тяжелыми и подчас небезопасными лесными тропами. Эти пожары могут затухать, снова разгораться. Но они есть, их вспышки

можно знать заранее и незаметно уйти от близкого гнева, а еще лучше — постараться успокоить сам пожар, но только не погасить. Резкой характер должен всегда гореть, чтобы помогать своему владельцу с шуткой перенести неприятность, трезво встретить беду, не заметить временного поражения и, придя домой, не особенно испугать близких изуродованным лицом после неудачной встречи со зверем...

Собирая медвежьи истории, я долго и внимательно изучал одну-единственную за последнее время не слишком осторожную встречу человека с лесным хозяином... У того медведя, пожалуй, тоже был резкой, могучий, не знающий преград характер. Медведь не хотел ссоры и предпочел уйти, узнав о близости человека. Но был выстрел. Животное отделалось ранением, а нерасчетливый старик поплатился жизнью. Медведь по-прежнему остался хозяином своей тропы, но остался чуть-чуть по-другому. Уравновешенное животное встретило обиду. Рядом с медведем не было никого, кто успокоил бы, снял оставшуюся боль. И год спустя пожар характера заявил о себе при новой встрече с человеком. Медведь не дожидался выстрела — он пошел на человека. И снова от медведя можно было уйти, можно было предвидеть вспышку гнева, но человек оказался не очень внимательным — и встреча двух резких характеров состоялась...

Человек опомнился много спустя после встречи. Он снова увидел небо, но небо было красным и мутным от крови, залившей лицо. Вернувшаяся память напомнила о неудачном выстреле и осечке вместо второй пули и о ревущей пасти зверя... Отступить было поздно, да и не в характере... Медведя все-таки подвело тяжелое ранение, а человека спасла рука, рука, отданная в пасть животному. Она обычно глубоко уходит в горло, и на ней остаются, как правило, рваные следы от медвежьих зубов. Я никогда не испытывал чувства, которое

возникает у человека, когда его руку свирепо пережевывают челюсти животного, но говорят, что это все-таки помогает победить: медведь задыхается.

Помогла рука и на этот раз. Медведь проиграл схватку. Человек пришел в себя, здоровой рукой прикрыл голову шапкой, поднялся и прибрел домой. Говорят, дальнейшие события развивались в такой последовательности: сначала раненый попросил жену принести бутылку водки, потом велел позвать мужиков, рассказал им, где лежит зверь, и только потом повелел везти себя в больницу...

На этом историю встречи человека с медведем можно было бы и закончить, если не обратить внимания на особую сдержанность охотника. Суровая сдержанность тоже была неотъемлемой чертой резкого лесного характера, но эти суровость, выдержка, немногословие в нужный момент совсем не отнимали у наших мужиков права улыбаться, просто рассказать смешную историю, а то и уронить на ворот старого ватника откровенную слезу радости или печали...

Это было летом 1966 года на берегу Долгого озера. Стояли сплошные громкие грозы, молнии крошили ели рядом с избушкой. В грозы не работал приемник, я злился на эфир и тщетно пытался поймать хоть обрывки сведений о лондонском футбольном матче.

И однажды среди шума и треска вместо известных позывных и голоса Озерова я услышал теплый и трогательный рассказ о Нансене.

Что и почему оставило этот рассказ в памяти?.. Тогда уже шел второй год жизни в тайге среди животных и бесконечного промысла. Уже была вчерне нарисована карта Медвежьего государства, установлены маршруты волков, найдены пути к доверию лосей, тогда я уже освоил лесную науку: спать под елкой, идти под грозами, стоять в наших лодчонках на любой волне и обходиться за день горстью сухарей и

глотком чаю... Многое было позади, но одно неотвязное качество все еще терзало, все еще не давало мне права сказать самому себе: «Да. Я сделал все, чтобы жить рядом с Иваном Михайловичем, Петром, Василием и дедкой Степанушкой, жить там, где живут они и где жили их отцы и деды...»

Качеством, которое мне казалось лишним, неуместным для лесного жителя, была сентиментальность... Повышенная чувствительность, обостренное восприятие собственной вины за совершенный проступок — все это рядом с приобретенными в тайге терпением и хладнокровием казалось мне тогда чуть ли не девичьим малодушием. Как быть? Как совместить эти два противоположных полюса характера?

Я копался в собственной истории, вспоминал имена своих предков, прошедших точно такие же лесные дороги, сравнивал себя сегодняшнего с собой более ранним, объяснял свои новые пути тем самым чувством природы, которое и сохранили для меня дед и отец. Я вспоминал отца, вечно занятого работой, работой, требовавшей и времени и мужества. Отец был энергетиком, одним из первых советских энергетиков, последователей и строителей по плану ГОЭЛРО. Он строил станции, монтировал заводы, тянул линии передач, но где-то внутри себя оставил недоступные ему тогда удочки, охоту, птиц и зверей. Я воспользовался этим наследством. Я пришел к птицам, пришел после честной, не всегда легкой работы там, где я был нужен. «Нужен» — это не пустое слово. Без нужности себя другим, пожалуй, могут жить лишь те, для кого главная цель — видеть себя непогрешимо-самодовольным.

Не знаю, может быть, мои слова и оттолкнут тех, кто даже искусство привык видеть как тропу, которая приносит удовольствие только автору. Я встречал таких

людей и невольно сравнивал их с благообразным стариком, который делал лодки. Старик умел шить неплохие карбасы, но он просто шил, повторяясь от одной посуды к другой. Я встретил этого мастера тогда, когда его лодки пользовались невеликим спросом: рядом с прежним мастером жил новый, смелый и искусный. Но раньше карбасы старика брали, платили хорошие деньги, и сразу после вознаграждения интерес к реализованному карбасу у старика пропадал — он торопился заработать на следующих досках и гвоздях. Этот человек не умел расстраиваться из-за неудач, не умел радоваться как-то особо ладно пришитой на этот раз к борту будущей лодки простой доске, он был безразличен к судьбам других, хотя со стороны и выглядел всегда весьма рассудительным и гладким человеком.

Этого старика и многих других, умеющих выглядеть весело, недоступно, я неожиданно и вспомнил, когда услышал рассказ о человеке совсем иного склада, о Фритьофе Нансене...

Название корабля, 88-я параллель, которую достиг на собаках мужественный путешественник, его зимовка во льдах, голод и рядом с железным характером отважного викинга — слезы, которые появились у Нансена, когда он увидел в России голодных детей, — все это вместе стало для меня главным ответом на право человека и полыхать неумным огнем, и по-настоящему плакать.

Тогда в избушке, на берегу далекого таежного озера, для меня и открылась впервые во всей глубине и высоте настоящая истина резкого характера, который до этого рисовался мне лишь отдельными, очень яркими страницами устного лесного творчества.

Виктор Герасимов. Лесник. Родина — берег Домашнего озера. Вдумчивый, тихий человек. Положительные черты: отзывчивость. Примеры?

Примеров много... Я ему был никто, никогда его ни о чем не просил, но знал со стороны Виктора только внимание... Угодливое, заискивающее внимание слабого человека? Нет.

Когда подводятся итоги жизни в лесу или когда человека у нас представляют другим, то первое, что говорят, — «в скольких лосях или медведях он участвовал», то есть сколько лосей и медведей значится на его счету. Лось — характеристика лесной удачи, умение знать след, место, быть в лесу как дома. Медведь — оценка мужества, отваги, настоящих мужских качеств.

У Виктора Герасимова много лосей, много и медведей... Коренастый, посматривающий на незнакомого чуть-чуть исподлобья, но не вприщурку, а открытыми добрыми глазами. Широкий, добродушный рот, твердая, но тяжелая походка, умение делать добро и оказывать знаки внимания незаметно.

За праздничным столом Виктор обычно долго молчит и внимательно прислушивается к окружающим. Тогда он кажется скрытным, суровым. Кажется, оброни слово — и тут же встретишь неукротимую ярость подвыпившего смурного мужика. Но вместо ярости этот человек отвечает на твой неосторожный поступок потоком историй, сказок. Кто-нибудь тут же вытаскивает недавно купленное ружье, и Виктор как самый большой знаток оружия проверяет его качество по соломинке... Соломинка кладется на ствол, и все собравшиеся внимательно следят: как повернется, как ляжет она?

Соломинка легла правильно — вдоль ствола. Ружье вроде бы хорошее. Нет, его не проверяют дальше, на выстрел, не чудят «у праздника», не пугают под пьяную руку людей. Чудить и стрелять в гостей может только Васька Герасимов, но даже этот балагур и не всегда ограничивающий себя человек умеет при случае

искупить свою вину так же поспешно, как сделал это однажды Виктор...

О вине и о законах стакана в лесу я расскажу ниже. Но вино было пито и в тот раз, когда Виктор бежал за самоваром... То ли после дров, то ли еще после какой тяжелой работы, чтобы с аппетитом поесть, Виктор выпил стакан крепкой русской водки. Стакана оказалось мало. Но жена не поняла крайней необходимости снять напряжение труда, снять сегодняшнюю усталость, чтобы уже завтра снова пойти рубить просеку, уйти не на один день в тайгу, куда брать с собой вино просто нельзя... и Виктор, как скажут, заспорил с женой.

Без крика, без бранных слов он попытался доказать свою правоту, но для доказательства, к сожалению, потребовался самовар... Новый блестящий самовар разлетелся об пол. Все сразу встало на свое место, кроме недавнего приобретения... Вину надо было исправлять. И Виктор, взяв деньги, отправился покупать новый самовар.

Дело было к вечеру. До закрытия магазина оставалось не так уж много, и Виктору пришлось поторопиться, тем более что провинившегося отделяло от магазина расстояние в двадцать километров... В этом магазине самоваров не оказалось. Преодолены очередные десять километров, и наконец желанная вещь в руках. Обратная дорога в три десятка километров показалась легче. И вот самовар уже на столе, на месте разбитого...

Старый самовар почти забылся, только иногда о нем с иронией упоминает жена, и тогда Виктор смущенно помалкивает... А в остальном? В остальном к Виктору может быть только одна «претензия» — этот человек ненавидит ложь, и упаси бог встретиться лжецу с Виктором на лесной тропе...

Иван Михайлович. Друг, учитель, мастер на все руки. Вместо ноги — протез выше колена. Фабричные протезы не признает — делает сам: один — чтобы удобно ходить по болотам, другой — чтобы ладно надеть лыжу. И вечная и, пожалуй, неосуществимая мечта иметь рядом с собой настоящую собаку... Собаки есть всегда, но — увы! — не те, хотя и называет их Иван Михайлович кличками, которые должны были бы носить его воображаемые псы... Последнюю собаку старик назвал Тигрой. Но Тигра рядом с Иваном Михайловичем не дотягивала даже до тигренка. Нет, она смелый и умный охотник, но рядом со стариком теряется, не выдерживает суровой жизни хозяина. И, видя печальную морду животного, не сумевшего уткнуться за человеком, я много раз с опаской представлял себе судьбу той женщины, которая верно и старательно была рядом с этим неудержимым человеком... Мои опасения не позволяли спросить самого Ивана Михайловича о его семье. Я видел только его дочерей, крепких молодых женщин, умеющих быть и любящими женами, и нежными матерями. Эти женщины могли в любой момент снять городское платье, обуть старые сапоги, надеть поношенные ватники и отправиться к отцу через завалы и болота, отправиться даже ночью, чтобы принести из тайги рыбу, наловленную стариком. Дочери могли пойти в отца, а жена?.. И ют письмо, откровенное, бесхитростное письмо — весть о себе. В письме сообщалось, что зима была неудачной, опять болела жена, да и сам он немного прихворнул, а поправиться еще не удалось — жена болела тяжелее, и «пришлось не полежать»...

За этим «не полежать» стояло многое. Не полежать человеку, думающему о жене, — это взять на себя корову, овец, печь, хлеб, кашу, суп и все прочее несложное, но вечно беспокойное деревенское хозяйство... Доить корову, ухаживать за больной женой

— и это рядом с бесконечной мужской гордостью от пройденных удачно дорог, от бессчетных побед над стихией и зверем... А может, и нет, и не было никогда гордости даже у бывшего сплавщика, которому всегда поручалась самая искусная и опасная работа — разобрать затор.

Затор разбирают по одному бревну, и не дай бог находиться в это время наверху, на заторе (разбирают снизу, там, где вольная вода, растаскивая багром по бревну)... И вот затор задышал, двинулся, рухнул в воду и понесся вместе с бешеной весенней лавиной, грозя догнать, смять, уничтожить человека, стоявшего только что под самым затором. Но человека уже не догнать — он уже далеко и, стоя на бревне, балансируя багром, уплывает впереди несущегося леса...

Уплывать приходится долго, не один километр, не один день кряду приходится знать мокрые ноги и бешено несущиеся бревна. И ни один из этих людей никогда не чувствовал невыносимости обстановки, от которой поскорей хочется уйти... Люди уходили от трудной работы на сплаве только по окончании труда, после крепкого праздника, который как-то компенсировал усталость холодных и горячих недель и помогал сдавшим было силам, силам, рассчитанным только на время сплава, снова собраться и привести человека домой, когда этот дом был не очень близко...

Забыта усталость, забыты трудности, отпущены пустые обиды на соседа — и снова крепкая птичья стая готова дружно и верно идти в новую дорогу, будь то земля, пожар или общая беда, вынести которую вместе со всем народом ушли резкие мужики в сорок первом с берега Домашнего озера...

Где-то там, на далекой северной границе, на самом краю родной земли, среди камня и кривых сосен, встал с винтовкой наперевес и Иван Михайлович. Отступать в нашем лесу никогда и никого не учили. Не вспомнил

этого неверного слова бывший искусный сплавщик даже тогда, когда после очень тяжелого удара он снова пришел в себя и увидел вокруг людей в чужих шинелях.

Встать и встретить грудью врага Иван Михайлович уже не смог — встать на землю и опереться о нее было нечем, — и он, теряя кровь и последние силы, остался упрямо лежать на своей земле, как лежит на своей таежной тропе страшный в предсмертном гневе могучий медведь, встретивший вдруг последнюю пулю. И как часто этот предсмертный гнев возвращал хозяину тайги и силы, и даже жизнь, когда конец, казалось, был совсем рядом.

Наверное, тяжелораненый не сразу заметил тогда, как чужая рука потянулась к его пилотке. На пилотке была звездочка, простая солдатская звездочка, о которой обычно не очень часто вспоминают среди многих фронтовых забот. Но сейчас звездочка ожила — это была его земля, его дом, его Домашнее озеро. И к этой родной земле, к дому, ко всей его жизни, посмеиваясь и что-то весело бормоча на чужом языке, протягивал руку чужой человек.

Рука таежного охотника была сильнее. Сейчас это было его последнее оружие, и он, чуть приподнявшись, отшвырнул рукой врага.

Потом — злобный взбрых чужого пистолета и темнота... Пуля пробила голову, и никогда не заживающие шрамы сквозного ранения, как глубокие тески на еловых стволах, остались на всю жизнь.

Жизнь ему вернули какие-то добрые люди — его не швырнули в глубокий ров, не закопали, а выходили... Потом выхаживала тайга. Вот она, рядом, эта тайга, отпустившая вторую жизнь человеку, который где-то там, далеко, на самой окраине нашей земли, на далекой северной границе, среди камня и кривых скальных сосен встал навстречу врагу с винтовкой наперевес...

Петр Мушаров. О чем думает сейчас он, что вспоминает над стаканом только что выпитого вина? Может быть, тот самый, неизвестный нам, ленинградский пятачок, где командир пулеметного взвода Петр Мушаров всаживал грамм за граммом российский свинец в пьяные лавины чужих шинелей, может быть, он вспоминает, как кончились патроны, как вдруг было все сметающее «ура!» и последняя граната... Но сейчас не об этом я, не о том, как был госпиталь, как госпиталь был и много позже, после войны, чтобы подлечить старые, но еще больные раны... Сейчас о другом. Я видел сам, как ночью, когда скот вдруг не возвращался из тайги, Петр брал батожок, чтобы легче было идти, нахлобучивал шапку и, припадая на одну сторону, исчезал в темноте. Обратно он возвращался усталый, долго курил, и даже в плохоньком свете старой лампы хорошо было видно очень простое и доброе лицо.

Лицо у Петра рябое... Рябины на лице вызывают из памяти рассказ, как Петька Мушаров по наущению местных шутников набрал дегтю и решил избавиться от оспин... Мазался дегтем он где-то за мельницей, потихоньку. Оспины не прошли, но матери пришлось долго отмывать волосы сына... Матери уже нет. Сейчас она совсем недалеко отсюда, над грустным и глубоким в своих еловых берегах Часовенным озером. Часовенное иногда зовут еще и Погостским. Над озером на крутом холме растут высокие древние ели. Вокруг елей только пашни и пожни, и от этого деревья кажутся еще выше и торжественней... В торжественной тишине вечного покоя молчит кладбище. И то ли от самого погоста, то ли от таинственно-спокойной тишины озеро будит глубокую веру в вечную память живших до нас...

Над этим озером и мать Петра, и дед Писарь, и дед Комиссар, которые раньше жили здесь, на нашей земле... Я знаю это точно. Иногда Васька притаскивает с

озера рыбину и находит в ней старый, поржавевший крючок. Крючки эти особенные — их искусно делали старики. У каждого старика была своя рука. И теперь, пластая щук, Васька точно определяет, кому из живших до нас могла бы принадлежать рыбина, которая теперь досталась потомкам...

Сегодня на землю дедки Писаря и дедки Комиссара приехали новые люди, приехали косить сено. Трактор с санями прибыл уже к утру, по дороге гатили топи, валили лес, топили сани и трактор, но все-таки прошли. Трактор пришел грязный и измученный, зло полоснул последний раз фарой по стенам изб, вызвал к себе пастухов и тут же замолк, будто сразу заснул, насмерть устав после двенадцати часов коричневой грязи... Но люди еще не спали, они таскали ящики с продуктами, свозили с саней косилку и конные грабли, стягивали с себя мокрую одежду и молча, без нервозности ждали того часа, когда все будет разложено, высушено, проверено и приготовлено к завтрашней работе... Завтра работа, работа целый день без нарядов, без обеденного перерыва. А сейчас после дороги, которую приходится проходить не каждый день, наверное, надо как-то провести черту между старым и началом нового... А как? Лечь отдохнуть? А сколько надо отдыхать после ночной борьбы с болотами? А если по-настоящему отдохнуть не хватит времени?

Да, мы сегодня пьем, пьем в лесу, на Севере, в России.

Я не боюсь этих слов, хотя и приучен в лесу произносить их с некоторой осмотрительностью... Мы пьем редко, ибо лес, лесная работа не терпят нетрезвого ума. Никто и никогда, даже не на один месяц промысла, не уходил в лес с бутылкой вина, и совсем не потому, что эта бутылка занимает в заплечнике много места. Вино не помогает думать, знать, рассчитывать — вино выключает чувство

обстановки, времени, погоды, рыбы. И это не моя проповедь сухого закона — это неписаное правило всех тех резких мужиков, которые дома, в избе, а тем паче у праздника вдруг покажутся заезжему человеку слишком широкими в веселье... А как поступить тому, кто не один месяц подряд не знал веселья, — неужели после нелегкой жизни нельзя забыть на пару дней прежние дороги, чтобы приготовить себя к новым?..

Петр оттирает рукой губы и молчит... Уха, чай, махорка — все это пока не нужно ему и просто так, для обстановки... И только лица в тесном кругу уставшей светить лампы... Мы все разные, мы по-разному сошлись здесь в лесу, у нас разное счастье, горе, раны, улыбки. Но сегодня мы остановились, чтобы обо всем договориться, чтобы пойти дальше вместе разным людям по одной дороге... Сердце каждого еще бьется поодаль, в своем углу, но вот что-то снимает перегородки, сдвинет углы, и тут все разное смешается и сольется вместе. Сначала в песне, потом в молчании и, может быть, в слезах, потому что каждому из нас, наверное, очень надо, чтобы другой понял его.

Так устроен человек. Он не может все время хранить в себе беды, неприятности, недоговоренности, не может делиться ими только с бездушным зеркалом, — у него есть язык, и он не может молчать. Черт возьми, даже птицы и те не стыдятся прокричать о своей беде... Почему же ты, хороший, умный человек, хранитель вечного твоего богатства — языка, почему же ты не можешь просто так взять да и поделиться с другими своими печалью и заботами?

Не знаю, я тоже не могу говорить о своей беде или просто об усталости каждому встречному... У птиц, наверное, проще — у них стая, и, может быть, в этой стае птицы договорились между собой о помощи. И у птиц — это не побирательство, это прежде всего откровенность... Когда же ты, человек, Петр Мушаров,

научился не просить? Может, в тот далекий голодный год разрухи и неурожая, когда, сыто улыбаясь, самодовольный хозяин дома, куда робко постучалась твоя мать, отказал ей в куске хлеба — а ведь у матери тогда был ты, и она так хотела, чтобы ты не всегда плакал...

Сейчас Петр все-таки плачет. Плачет и зовет мать. Плачет и зовет мать человек, который еще в сорок первом знал, что такое последняя граната...

— Толька, Толька... У меня тоже была мать... Вот так, вот руками развернет тряпицу и трясет ее у стола... Вот так, вот придет домой и куски выбирает... Для меня получше какие... Толька... Толька... Все бы отдал, чтобы перед матерью извиниться...

Я тоже теряю обстановку, теряю лица, клочками еще Держится память пройденных путей, правильные, неправильные дороги... Мне тоже, наверное, надо заплакать, но я не могу — мне еще надо идти, выстоять здесь, на новых тропах, и только тогда получить право на слезы. Мне нельзя плакать, нельзя плакать и Петру. Надо опомниться — и кулаки рушатся на стол...

— Петро, давай твою пограничную!..

Кулаки ходят по столу быстрее, уверенней, доскам стола больно, кулаки горят и рубят эти гнущиеся доски: «Тра-та-та-та, тра-та-та-та-та-та! Экипаж машины боевой!»...

Петр, Васька, Алеха, Виктор, сколько в вас всего? Откуда? Где слезы? И почему вдруг песня? И не просто так, а чтобы все гремело, рвалось, сметало, рушилось... Отчего? Только от песни и голосов!.. Наверное, очень страшно было тогда чужим, не нашим шинелям, когда вдруг замолкали выстрелы, а потом сверху, вокруг, отовсюду рушилось и сметало простое, но страшное в своей силе русское, резкое «ура!». И страшно чужим шинелям, пожалуй, становилось еще тогда, когда только-только смолкали выстрелы...

Стаканы, ложки, миски — все не замечается, все не нужно, и только песня — над лесом, над ночью, над Севером, над Россией.

Можно всю жизнь прожить в России, но если не родиться от нее, то даже в свой последний день ты еще будешь удивляться: откуда после слез и трясущихся губ вдруг являются шапки наземь, грохот каблуков и «ура!»? Наверное, так же устроена и русская гармоника: чуть рывок, чуть другой палец — и плач вспыхивает русским переплясом: «Давай! Давай!! Давай!!!»

Наверное, еще кое-что можно понять, если хоть день прожить в русской избе в глухую трескучую зиму. Только надо прийти в пустую избу, отыскать топор, выйти в тридцатиградусный мороз, скинуть ватник, сплеча накидать вокруг дров и, забыв шапку, сбегать к проруби за водой. Прорубь обязательно будет замерзшей. В ведре будет греметь лед, а лицо будет жечь ветром. Потом ты растопишь печь, с непривычки обожжешь руки, сунешь по неопытности лицо в жар. Потом согреешь воду, сваришь скотине картошку, вскипятишь чай, узнаешь тепло избы, скинешь одежду чуть ли не до белья, накинув сверху ватник, сходишь напоить корову, овец, снова вернешься к печи, снова ошпаришь руки жаром, потом вымоешь лицо ледяной, еще не оттаявшей водой. И только потом присядешь выпить чаю и покурить у морозного окна.

Жар и холод будут жить в этот день рядом с тобой, чередуясь через каждые пять минут, но за работой, за необходимостью этой работы хотя бы для самого себя ты можешь и не заметить этого. И только совсем потом, когда к тебе подкрадется ревматизм, ты поймешь, что где-то там были и жар и холод сразу и что эти жар и холод, смех и слезы не могут не быть у людей, которые еще не разучились плакать от радости и с шуткой провожать неудачу...

Радости и неудачи приходят в лес каждый день, они выглядят порой более остро и ярко, чем в городе. Неудачи надо уметь не замечать, чтобы прийти к радости, а впадать в экстаз при встрече с успехом тоже, наверное, нельзя, чтобы не забыть хотя бы на время о возможной встрече с очередной неудачей... Видимо, поэтому наши праздники и не были никогда слишком неосмотрительными. Они являлись редко и только тогда, когда усталость подходила к нам совсем близко...

После праздника, уже к утру, мы вместе и порознь отправлялись в новые дороги и чем-то очень походили тогда на хорошую птичью стаю, идущую в нелегкий путь. Только нам всегда было чуть-чуть легче, чем птицам, объяснить друг другу свои заботы: ведь у нас был язык, которым мы умели пользоваться...

Наступил 1966 год. В этот год на отгонные пастбища стадо не послали: хозяйство колхоза перестраивалось, его передавали совхозу, и на этот год о наших лесных землях вспомнили только во время покоса.

К концу лета я вышел на берег Домашнего озера из тайги, оставил Долгое озеро и поселился в том самом доме, где год тому назад состоялось мое знакомство с Василием Герасимовым, Петром Мушаровым, Виктором Герасимовым и Алехой Глазовым. По соседству со мной, в таком же крепком доме, жил теперь только Иван Михайлович. Он промыслял на Янцельском, уходил туда на неделю, а то и больше, возвращался с рыбой, и тогда мы долго по вечерам разговаривали, слушали передачи московского радио, мечтали о следующем годе, собирались как следует снарядиться и на вертолете забраться на самое богатое озеро в тайге. Я обещал привезти снаряжение для подводного плавания, киноаппаратуру. Глаза старика горели молодым задорным огнем, и мне никак не верилось, что

эти самые глаза столько раз видели смерть. Вспоминали мы и наш прошлогодний праздник, когда собрались здесь все вместе, узнали поближе друг друга, сдружились и громко пели: «Три танкиста, три веселых друга — экипаж машины боевой...»

Старику еще раз очень хотелось услышать эту песню. Мы старательно копошились в эфире, разыскивая знакомую и дорогую нам мелодию. Чуткий транзистор резко отзывался на каждое движение ручки, то всхрипывал чужой нам музыкой, то дарил эстрадный привет на русском языке. «Трех танкистов» мы так и не нашли за всю осень.

Приближалась пора расставания. Старик собирался оставаться до глубокого снега: у него было много рыбы, и за ним после морозов должен был прийти трактор. У меня рыбы было меньше — я успел избавиться от нее, — вещи мне обещали вывезти на этот раз вертолетом. Я сколотил несколько небольших ящиков для снаряжения и снасти, ждал вертолет и следом за тем собирался уходить сам. На дорогах уже лежал снежок, но я отказался выбираться по воздуху и очень хотел еще раз пройти лесную дорогу.

Иван Михайлович тоже ждал воздушной связи: ему должны были привезти продукты. Мы снова сидели у окна, потом стали выправлять мой топор, потом снова вернулись к окну и наконец услышали далекий потрескивающий гул железной стрекозы.

Машина опустилась на пригорке за деревней. Моя собака хрипела около самой кабины, приплюснутая к земле воздушной струей, и выпускать на землю чужих не собиралась. Я оттащил собаку, принял багаж, сдал свой, пилот протянул мне небольшой сверточек, в нем оказалось письмо, книжка и бутылка простого русского вина.

С лета по осень, занятые работой в лесу, мы не вспоминали о вине. Но завтра я собирался уходить, и

сегодня по русскому простому обычаю мы с Иваном Михайловичем устроили прощальный ужин.

Старик наскоро, но ладно закатывал рыбники, я жарил на сковороде окуневую икру с луком и картошкой, резал крупный сочный лук слезящимися ломтями, укладывал эти ломти на тарелку рядом с отварной картошкой и варил уху, знаменитую уху из одних окуней.

Когда стемнело, мы сели за стол. На наше счастье, приемник принимал в этот вечер прекрасные народные песни. Мы пели вместе с неизвестным нам исполнителем и ждали того момента, той минуты, когда вино, разлитое по стаканам, чуть успокоится, устоится.

Это был наш второй праздник в лесу за два года. Только первый был в самом начале, а второй завершал мои дороги.

Когда совсем стемнело и на столе не осталось ухи, я поворошил в печи угли, выключил приемник и очень захотел спеть для Ивана Михайловича нашу «Три танкиста»... Песня на этот раз почему-то не получилась.

Утром старик провожал меня из леса. Вчера еще сильный и большой, крепкий и прочный не только статью, но и своей деревянной ногой, сегодня он будто стал меньше. Вчера он лишь пригубил вино из стакана, будто боялся, что все доброе, чистое и откровенное, бывшее между нами, но никогда не произносимое вслух, вдруг выплеснется наружу. Сегодня он не выдержал.

Мы обнялись, его колючая борода жестко прошла по моей щеке, потом по второй, и мне показалось, что следом за бородой на моей щеке появилась слеза.

В конце деревни я обернулся — посреди улицы, широко расставив ноги, выпрямившись и будто загородив собой и огороды, и дома, и бугор, куда вчера садился вертолет, стоял русский резкой мужик, герой войны и хозяин нашего леса Иван Михайлович Зайцев...

Глава девятнадцатая

ДВОЕ

При всей общности внутреннего настроения каждый из лесных людей чем-то да отличался от другого. Порой эта разница представлялась мне даже препятствием для того замечательного качества, которое я встретил в лесу и которое очень хотел приобрести. Это качество я называл умением двух людей жить под одной крышей.

Жить под одной крышей в лесу было порой просто необходимо, но эта необходимость не имела ничего общего с жизнью в коммунальной квартире. От коммунальной квартиры охотничью избушку отличало прежде всего то обстоятельство, что люди собирались под крышей лесного жилища по общему согласию... Как и при каких обстоятельствах составлялся такой договор, какие были сказаны слова, какие пункты договора «подписывались» будущими соседями — все это могло только домысливаться, ибо сам договор обычно проходил предельно немногословно...

Петра Мушарова и Василия Герасимова свело на берегу Домашнего озера стадо и память по оставленной земле. В ту весну в лес рядили пастухов. Первым отозвался Васька, а Петр просто промолчал, когда его будущий напарник зашел к вечеру и между прочим сообщил, что скоро погонят телушек... Тонкое безобманное чувство женщины угадало возможность договора, и Лизавета, та самая Лизуха-почтальон, о которой упоминал в своей песне Алеха Глазов, приняла предложение Василия в штыки.

В тот вечер Лизавета говорила: «Нет!», уговаривала мужа не ходить, перебирая все существующие и несуществующие недостатки будущего компаньона, но

Петр молчал, и это молчание было самым веским доказательством его согласия.

Был ли Василий и на этот раз достаточно хитер, был ли Петр и тут опрометчив и податлив — это удел магазинных пересудов. Но два мужика, два совершенно разных человека безбедно отпасли стадо, поделили доход, не знали недоедания и скандальных историй, выходя из леса, никогда не обходили ни гостинцами, ни приветами семью другого, и даже стакан вина, появившийся у одного, всегда делился пополам.

Что связывало, что держало этих двух людей? Дополнение одного другим? Возможно. По крайней мере у пастухов существовало четкое разделение труда. Куда вести стадо, где его пасти сегодня, решал Петр. Проводив телушек, Петр возвращался в деревню, месил хлеб или сбивал масло, топил печь и варил уху.

Уху обеспечивал Василий. Василий был не столько для стада, сколько для добычи. В добычу входили продукты, рыба, мясо, и не только на сегодня, но и на зиму, в семью...

Вернувшись с озера, Василий выкладывал рыбу и тут же лез в печь. В печи всегда было что-нибудь горячее: или уха, или суп из сухой лосятины... С едой Василий справлялся быстро. Казалось, его глубокая, ухватистая ложка не остановится до тех пор, пока не зазвенит дно котелка. Но дно котелка никогда не звенело, ибо рядом с неограниченным аппетитом жило в лесу мудрое и доброе правило: если ты не один, то можешь употребить только половину того, что оставили тебе. И Васька, дошлый, пронырливый Васька, никогда не нарушал этого правила. Половина того, что было в котелке, исправно возвращалась в печь до прихода человека, с которым был подписан молчаливый договор о жизни под одной крышей.

Да, разделение труда у пастухов было, однако то обстоятельство, что Петр был ответственный за

завтраки, обеды и ужины, никогда не возводило добытчика Ваську в положение некоего смурного мужика, который, не дождавшись, пока баба подаст на стол миску, вставал и в сердцах уходил из-за стола, оставив женщину сокрушаться и корить себя за нерасторопность. Был ли, не был ли занят чем другим Петр в то время, когда Василий мок на озере под дождем или месил грязь болот с мешком за плечами, почему не успел приготовить Петр обед или ужин — Васька никогда не интересовался. Отсутствие в печи котелка с ухой было для лесного старателя лишь сигналом к дальнейшим действиям: он тут же забывал усталость, голод и преображался в повара.

Людам, не умеющим согласно жить под одной крышей, наверное, может показаться, что оплошности Петра вряд ли оставались незамеченными Василием, который изматывал себя в лесу и вроде бы всегда имел право требовать к своему возвращению хотя бы миску горячей пищи... Я хочу разубедить таких людей: ни Василий, ни Петр не держали друг на друга никакой затаенной обиды, а тем более злости.

Забывать неудачи помогало в охотничьей избушке еще одно замечательное правило: все, даже самое неприятное, надо высказывать вслух. Это был еще один мудрый закон, созданный нашими предками, закон, пожалуй, вечный для тех, кто не мыслит себе жизнь друг без друга. Этот закон предполагал искренность, запрещая раз и навсегда отделяться недоговорками.

Когда в лесу двое, молчать нельзя. В эгоистичное молчание обязательно войдет подлая мысль о недостатках соседа, и эта мысль приведет человека, нарушившего закон дружбы, к упрекам. Сначала упреки тоже таятся. Они копятся, переполняют чашу твоего непорядочного молчания и однажды могут выплеснуться и даже взорваться...

Взрыв в лесу — дело сложное и не всегда управляемое. Неизведанность путей, к которым может привести взрыв молчания, объясняется прежде всего суровостью самой лесной жизни и той бурной энергией, которой наполнен человек, обладающий резким характером. Сложность разрыва отношений между двумя людьми, только что жившими под одной крышей, наверное, как-то можно понять, если я напомню, что наши места из века в век считались, хотя и про себя, лесной вольницей. Вольница знала тяжелый, радостный труд, знала счастье созидания и огонь праздников, но никогда не знала ни царей, ни крепостного права. И даже сейчас сложность лесных характеров и отношений заставляет порой местное начальство по-своему, иначе, чем требует буква закона, подходить к отдельным явлениям лесной жизни...

В моей памяти навсегда остался человек в форме капитана милиции. Он не знал, что мне было хорошо известно событие, которое произошло не так давно. Мы просто ехали с ним в одном вагоне, курили на площадке, он поглаживал по голове моего пса и просто так, будто пришлось к слову, напутствовал меня в моих лесных дорогах. Строгий милицейский офицер просил меня быть внимательным к законам лесной жизни, нет, он не просил дать сигнал в случае непорядка, он просто привел известный мне случай и окончил свой рассказ такими словами: «С людьми надо уметь жить даже тогда, когда можешь взять в руки уголовный кодекс».

Событие, известное мне и капитану милиции, носило вначале внешне безобидный характер... В лесу, в лесной деревушке появились приезжие люди, и эти люди не очень вдумчиво отнеслись к тем лесным законам, которые родились задолго до сегодняшнего уголовного кодекса...

По нашим законам оскорблением женщины считается даже такое вроде бы безобидное действие,

которое допустил приезжий человек... Женщина ему понравилась. Может быть, до этого человек, совершивший проступок, и не встречал никогда женщин, которые не допускали в свою сторону не только чужих рук, но даже и не совсем чистого взгляда... Человек дождался женщину в конце улицы и загородил ей дорогу. Событие сопровождалось громким требованием оскорбленной убрать руки и тут же стало известно всей деревушке. Человек отступил, видимо посчитав вдову, женщину, знавшую каждый день холодную постель, слишком глупой...

Так или иначе строились мысли провинившегося, в конце концов это было не столь важно для тех людей, у которых существовали свои понятия чистоты, нравственности, чести. Суд состоялся. Приговор был вынесен — и честь женщины защищена.

Суд леса и строгий приговор могли бы вызвать и встречный суд, суд, принятый по существующим законам страны. Но другого суда не состоялось... Пострадавший, приняв положенное наказание, порешил было дать выход оскорбленному самолюбию, а попутно и возместить телесные повреждения. Вот тогда-то капитан милиции и рассказал истцу об истории лесного края. Результат был неожиданным — в деревушку пришло письмо, в котором недавний непутевый гость просил извинения...

В тот раз не гремели выстрелы, в тот раз провинившийся вернулся в свой родной дом, но выстрелы, топкое болото всегда оставались и могли быть в случае крайней необходимости. И наверное, поэтому, зная возможные крайние неприятности как расплату за подлость и преступление, ни один лесной житель никогда не прибегал к непорядочному эгоистичному молчанию...

Мне повезло в лесу на хороших людей. Только один раз в глухое предзимье случай свел меня с человеком,

после которого не осталось хорошей памяти. Не знаю, может быть, этот человек помнит обо мне тоже только плохое, но так получилось, что ни я, ни он не сделали ничего для того, чтобы мирно прожить под одной крышей. Так получилось — и мы никогда-никогда не пойдем вместе в лес.

За стенами дома тяжело висели промозглые октябрьские дожди. От бесконечных дождей разлились болота и утонули дороги. До людей стало еще дальше, озеро и лес почти не кормили нас, и нам оставалось только ждать конца непогоды. Сахар, масло, крупа давно были поделены на нормы. Эти нормы убывали с каждым днем и, наверное, как-то по-своему тоже внесли начало разлада в отношения двух бывших друзей. Давно в избушке не тянулись песни, давно у вечернего огня не говорилось о будущем — мы молчали.

Наверное, можно было уже и не вспоминать ни трясущихся рук при виде последнего пятка картошек, ни обросших лиц, ни голодный блеск запавших глаз. Наверное, можно было теперь забыть и смерть собаки, которая верно прошла со мной первую дорогу в лес.

Собака погибла от моей руки. После выстрела я вышвырнул на улицу рюкзаки, и мы ушли к людям. После выстрела пришла трезвость. Трезво мы добрались до людей, встретили тепло сердец и богатый стол. Но за теплом и обильной пищей я долго не мог отделаться от того взгляда, который оставил мне перед выстрелом на долгую и болезненную память мой Верный... И может быть, этот взгляд, эти глаза, уже видящие черные пустые глаза двустволки, и заставили меня сейчас снова вернуться и к непорядочному молчанию, и к легкому признаку голода, который чуть было не снес нашу внешнюю благопристойность...

Первый раз я преступно промолчал в тот день, когда встретил прибывшего ко мне человека. Человек не знал законов лесной жизни, не знал особой трудной цены

сухарей и муки на промысле, а я постеснялся спросить гостя, принес ли он с собой все необходимое для жизни вдали от магазина, — и мы остались под раскисшим небом на половинной норме продуктов.

Пожалуй, эту неудачу все-таки можно было пережить, можно было забыть и мою первую недоговоренность, если бы лесная жизнь не приготовила нам нового испытания. Тогда в избушке нас было трое: два человека и молодой пес. С псом росла и крепла надежда на удачный зимний сезон. Пес открывал путь к кунце — самой заветной цели охотника. Но пес заболел. Чума свалила собаку. Верный слег, через каждые десять минут просился на улицу и, как все псы, жаловался на свою боль только глубокими собачьими глазами.

Не знаю, умел ли до этого мой новый сосед относиться достойно к собакам, но те дни породили во мне подозрение, что этот человек был больше склонен завидовать псу, которому положили в миску лишнюю ложку каши... К сожалению, и это мое открытие тоже осталось только при мне. Я снова забыл умное правило «не молчать», когда услышал упрек в адрес собаки-нахлебника. Тогда я, молча пропустив чужие, непонятные мне слова, по-прежнему продолжал выхаживать пса, но теперь предлагал ему только то, что приходилось в котелке на мою долю, — теперь котелок при свидетелях вынимался из печи и его содержимое щепетильно делилось только на две части...

Под одной крышей уже не хотелось быть. Надо было уйти, но куда? Дорога вселяла ужас, пес привязывал к стенам, и мне оставался только дневник. Наверное, говорить с листом бумаги о твоём соседе тоже было немалым преступлением. Тогда я еще не осознавал этого и, не умея пока прямо в глаза назвать вещи

своими именами, домысливал и изливал свои чувства при свете еле живой коптилки.

Так крепло непонимание, недосказанность, невольно возникшая лживость, о которой хорошо сказал Леонид Мартынов:

ЛОЖЬ

Поначалу в самых мелочах,
А дальше — больше, гладко, без заминки,
Как будто в ясных солнечных лучах
Бесчисленные плавают пылинки.

И если в глаз попало — трешь и трешь
И пальцами, и даже кулаками,
Но кажется, что маленькую ложь
Не вынуть и обеими руками...

И докторов напрасно не тревожь,
А знай: всего искуснее и чище
Глаза нам застилающую ложь
Прочь устраняет дерзкий язычище!

Перелистывать страницы тех дней неприятно и стыдно. И из всего написанного тогда я позволю себе вспомнить лишь ту ситуацию, которая нередко сопутствует лесной жизни. Эта ситуация не всегда зависит от человека, она длится обычно не очень долго и тут же забывается, и люди, попавшие в подобные условия, никогда не придают им особого значения. Эта ситуация — голод, или, менее громко, небольшая нехватка продуктов. Что приводит к такой нехватке? И стихийное бедствие, и недомогание человека, у которого как раз ко времени болезни окончились продукты. Реже встречаются в лесу нерасчетливость, неумение распределить взятое на длительный срок.

Мой дневник тех дней сохранил одну не совсем приятную мысль... Нет, никогда я не видел алчных, голодных глаз своего пса. Я мог оставлять на столе

котелки, миски, хлеб, сахар, мог раскладывать по кучкам продукты, чтобы помнить, сколько еще дней отводилось мне на лесную работу, но никогда, даже случайно, я не держал мысль, что однажды мой пес взгромоздится на стол четырьмя лапа-ми, и жадный хруст сухарей на его зубах раньше, чем сама пища, насытит животное, нарушившее свои собственные правила. Пес умел стоически переносить все известные и неизвестные ему ранее неприятности. И теперь я сравнивал больного пса со своим соседом, у которого уже тряслись руки и появились неопрятность и подозрительность. Подозрительность безошибочно определяла тот момент, когда пяток картошек еще только-только доваривался.

Беспокойное, не находящее себе места шастанье по дому, шарканье подошв по половицам, бесцельное сидение у окна — все это с болью возвращало в иной мир, мир благородных поступков и привычек... Почему же там, где принято было говорить «спасибо», «пожалуйста», где мы умели извиняться и уступать место друг другу, почему же там мы не замечали ничего такого, что могло оттолкнуть нас от понятия «дружба»... По ночам, отхаживая собаку, я долго и порой оправдательно для себя вспоминал многие трудные работы вдали от людей... Мне вспоминались те же геодезисты, которые не всегда с первого раза находили себе товарища по работе. Но когда человек, работающий месяцами в тайге, все-таки останавливался на ком-то свой выбор, то с ним он уже не расставался и на следующие сезоны. Люди выбирали, проверяли друг друга в крайних условиях, проверяли там, где многое, годившееся лишь для салонных обращений, отпадало и оставалось только умение человека быть человеком. Понятие «быть человеком» расходилось далеко по всему многообразию правил и внутренних качеств людей... Верность слову, бескорыстная помощь соседу,

порой самоотреченность ради ближнего — все это было не только уделом романтических повествований, это было законом жизни геодезистов, геологов и молодых и старых хозяев заонежской тайги.

К счастью, в ту глухую осень, когда Верный доживал свои последние дни, нам не подвернулось никаких других испытаний, кроме негодных дорог, недостатка продуктов и болезни собаки. Но даже эти обстоятельства далеко отодвинули нас от того единодушия, которое связывало хотя бы Петра и Василия...

Надо было искать выход... Выход был, простой и ясный, — пойти к людям и принести продукты. Путь туда и обратно занял бы не более двух дней. Наверное, я и не стал бы ничего обсуждать, если бы пес мог передвигаться следом за мной по дороге. Оставить собаку и уйти было нельзя: пес выбил бы окна и пополз бы следом за мной. Это была черта характера собаки, и с нею, вероятно, надо было считаться, как считаемся мы с человеком, прошедшим рядом с нами не всегда легкую дорогу. Вот это обстоятельство и заставило меня все-таки заговорить. Каким-то невероятным усилием я заставил себя раскрыть рот. Мои соображения сводились к следующему: идти за продуктами должен был он. В противном случае гибель собаки. И человек принял гибель собаки, предложив мне самому выполнить роль убийцы, освободить нас от гнетущей обузы и после этого вместе уйти к людям. Следующее, последнее предложение — иду я, а он остается и постарается удержать собаку... Это предложение мой сосед тоже не принял...

Человек падал, падал, не вызывая к себе сожаления, и тогда, кажется, я очень хорошо понимал корни лесного самосуда, который знали наши деды. Такой самосуд, наверное, никогда не был подлостью. Подсудимый не вызывал жалости, он сам уходил от

людей, но уходил не молча, как раненый заяц, а оскаливаясь и грозя перегрызть горло тем, в чьем обществе он не смог стать человеком. Я вспоминал все известные мне случаи бывших когда-то самосудов, и ни разу подсудимый не вызывал у меня жалости. Правда, виновного можно было оставить и безнаказанным, можно было отпустить в другую жизнь, где, смешавшись с течением людей, бывший «преступник» мог прикрыть себя маской наигранной учтивости, загородить свою трусость рассказами о прежних успехах.

Но даже там, где можно попытаться скрыть себя, где крайние случаи жизни редко встречаются на пути, есть хороший обычай, сохранившийся с Великой Отечественной войны.

«С этим человеком я не пойду в разведку». Нет, это не эгоизм, не желание ответственного за разведку иметь рядом безмолвно подчиняющихся людей. Это всего-навсего отказ иметь возле себя того, кто может подвести в минуту опасности, может не выдержать и сбежать, как сбежал от меня из леса человек, клявшийся, что теперь он все понял и что теперь будет человеком...

Кончилось лекарство, кормить нечем было даже больную собаку, мысль о самосуде жила рядом с нами: у меня — как у судьи, а у него — как у подсудимого... Что заставило меня разрядить ружье в сторону собаки? Я не хочу вспоминать об этом. Я помню другое: как мы вернулись обратно с продуктами, как приходил ко мне по ночам мой бывший Верный и как моя неверность псу не давала мне покоя... В это время и состоялся настоящий разговор, разговор, правда, о нас самих. Вот тогда я и услышал от своего соседа и клятвы, и признания в трусости. Я поверил словам, постарался забыть многое неприятное, и, наверное, тем неожиданнее было для меня его решение все-таки уйти.

Последняя совместная ночь прошла тихо. Она началась и окончилась по доброй памяти еще одного лесного правила: в дорогу надо провожать легко. Как мог, я постарался легко проводить человека, оставив самой дороге право задавать идущему по ней вопросы. Говорят, дорога помогает. И я до сих пор стараюсь придерживаться этого правила, придерживаться даже тогда, когда заранее знаю, что пользы от доброты провожающего может и не быть.

Наверное, после моих рассказов о животных, после разговора об озерах, болотах, о промысле и просто о погоде этот неожиданный экскурс в личные переживания может показаться странным. Нет, я не прервал повествование о жизни в лесу, я вспомнил законы этой жизни, законы откровения, чистого сердца, вспомнил умение знать тревоги соседа — и вспомнил только для того, чтобы лишний раз объяснить те пути, которыми внешне суровые, молчаливые люди приходят к умению добро жить не только сами с собой.

Доброта рождается из умения думать о соседе. И этим соседом может быть в лесу и озеро, и медведь, и волки, и просто человек, с которым сошелся ты в охотничьей избушке. И пусть не всегда твоя доброта обернется для тебя успехом, пусть не всегда твоя забота оплатится встречной заботой. Да в конце концов доброта Ивана Михайловича, дедки Степанушки, Петра Мушарова, Виктора и даже Васьки никогда не знала за собой корысти и расчета. Быть внутренне добрым, уметь забывать обиды, прощать многое — это тоже было правилом, не последней чертой широкого резкого характера, который рядом с добротой оставлял за собой право выложить на стол все обиды.

Глава двадцатая

ОДИНОЧЕСТВО

В озеро только что упало отжившее свой век дерево. Голос упавшего дерева жил долго, ему не давало остыть эхо, многократное таежное эхо, что всегда ждет и жадно ловит каждый звук... О чем и о ком заботилась моя память за секунду до упавшего дерева, о чем молчал я уже не первый день... Но пришло эхо, обернулось несколько раз над озером и коснулось меня тревожным беспокойством. Последний далекий пережат таежного шума вдруг прозвучал для меня голосом человека, идущего сюда по лесной тропе... Человек еще далеко, но уже есть, уже дал о себе знать... Наверное, тогда я мог бы поклясться, что в тайге кроме меня был еще кто-то... Наступил вечер, ночь, но ожидание встречи не покидало меня, и я все так же продолжал ждать, что вот-вот треснет сучок под каблуком сапога и почти тут же раздастся стук в мою дверь...

Кто и зачем должен был прийти тогда ко мне в избушку? Какое это имело значение? Тогда просто хотелось видеть рядом другого человека, слышать его голос, видеть его, пришедшего оттуда, от людей, и даже ловить себя на мысли, что без конца исповедуешься почти незнакомому... А потом ты снова замолчишь и будешь наслаждаться человеческим голосом, слышать, бережно воспринимать каждое слово и находить в этих знакомых, простых звуках что-то новое, необычное... Может быть, эта необычность обычного, открытие известного каждый раз снова при встрече с людьми после долгого одиночества и объясняют состояние человека, только что вышедшего из леса...

...В дороге человек торопится. Не задерживаясь, минует трудные болота. Но вот Менов ручей, последний ручей перед людьми...

Вот первые следы, следы сапог, подбитых Аркадием Кушаковым, — это его сын, старший сын всего день назад был у Менева. Вот женская поступь, легкая, плавная поступь, — женщина шла без ноши. И рядом с этим следом прихрамывающий след старика... Еще немного, и в конце лесной дороги засветится, появится дом Ивана Палашина. Все близко, недалеко, казалось бы, надо торопиться, но человек, вышедший из леса, почти никогда не торопится после Менева ручья.

За Меневым остается один мир и начинается другой. Ты покидаешь старый и вступаешь в новый, вступаешь не очень решительно, не очень твердо, но добро и приветливо к каждому встречному. Ты перешел рубеж, ты видишь людей и всем им, и твоему новому и особо дорогому после долгого одиночества миру людей говоришь: «Здравствуйте...»

Не знаю, может быть, именно так и появился в лесу обычай здороваться с каждым встречным, но я никогда не задумывался над истоками этого правила, когда сам приходил к людям, когда был рад первому следу человека и когда всем хотел передать свою радость встречи с людьми простым «здравствуйте...».

Конечно, мне отвечали, звали в избы, спрашивали, как «сошел дорогу», и, пожалуй, эти раскланивания, «здравствуйте» и простые теплые улыбки могли показаться заезжему человеку чем-то странным, если не сказать большего — блаженным. Но это была всего-навсего радость возвращения к людям после соседства с лешим, возвращения от своего собственного молчания, радость и вновь оцененное счастье называться человеком и жить рядом с людьми...

Кстати, о лешем... В лесу о нем положено вспоминать после чая за папиросой, когда больше уже

нечего вспоминать. Осторожно, не слишком громко перебираются все слышанные от других истории, все неясные до конца случаи, а потом, как правило, касаются и того лешего, которого, «честное слово, видел сам...».

Мы возвращались домой с отхожего озера. Старик брел сзади. Наша дорога началась давно. За плечами было много ночей в курной избушке, много дней волны и ветра и совсем мало рыбы. До лодок, оставленных на Домашнем озере, было еще далеко. Над тайгой прокатывались злые порывы ветра. Такие порывы глубоко и неверно терзают воду, мешают веслу, а в темноте могут швырнуть через низенькие борта лодчонки не одну тяжелую волну. Мы устали и очень ждали тихую ласковую воду нашего Домашнего озера. Ночь уже собиралась опуститься на ветви елей, опуститься низко и темно, как всякая сентябрьская ночь Севера. Давно расползлись по еловому острову сумерки, еще немного — и они выберутся оттуда и зальют серым, слепым туманом-мглой болото. Болото сейчас начнется редкими сосенками и тяжелым, глубоким торфом... Мы остановились покурить. Старик стоял сзади, и я хорошо чувствовал на себе его осторожный взгляд.

Осторожный взгляд, именно осторожный, а не просто взгляд тебе в спину, — это было лесной наукой, которую усвоили чувства человека, желающего знать больше и дальше. Различать осторожные, внимательные, злые глаза, уметь по этим глазам предвидеть опасность или удовольствие встречи с обладателем взгляда — это чувство, это умение, степень этого умения и определяют успех, успех охотника, успех лесного старателя или человека, решившего поближе познакомиться с животными. Эта наука подвела меня в день приезда в Москву и помогла тогда, у края Сокольего болота, узнать тревоги и опасения старика.

Тогда, на краю Сокольевого болота, очень хотелось домой, в тепло избы, к чаю, к сухому белью, хотелось, чтобы остаток пути оказался полегче, чтобы не было ветра и волн на Домашнем озере. Наверное, этого же хотел и старик, но о своем желании мы только молчали. Но вот старик попросил спичку. Спичка вспыхнула рядом с коробком и тут же погасла... «Негоже курить, не хочет он, чтобы курили...» Я слышал эти слова, слышал просто так, не уточняя, кого имел в виду старик, кто не хочет, чтобы мы курили, но все-таки убрал коробок и погасил свою папиросу о ствол елки... «Сейчас смотри, если покажется впереди, то путь станет легким, без ветра, а если поперек двинется — до дома далеко...» Я молчал, посторонне слышал старика, но тут же начал чего-то ждать. Глаза остановились на сосенке. Тоненькая, кривая сосенка зашевелилась, и вместо нее почудилась мне сгорбленная фигура невысокого человека. Человек был в рваной одежде, в рябушках. Я не видел его лица. Человек медленно проплыл впереди нас по болоту и не пересек дорогу. Я проводил его глазами, достал папиросу, закурил, и мы тронулись дальше... Домашнее озеро действительно встретило нас тихой волной и почти без ветра. Мы быстро добрались домой и долго пили густой горячий чай...

Своих леших я обычно вспоминаю в избушке рядом с жаркими углями, что оставались после вечерней печи. Не так уж редко в это время разгуливал за стеной упрямый осенний дождичек. Ему обычно отвечала встревоженным голосом тайга. По тайге прохаживался беспокойный ветерок. И если закрыть глаза, забыть печь, угли, кружку чаю, тетрадь дневника, то можно было представить, что вокруг избушки кто-то долго и настойчиво выхаживает, кто-то покачивает сухую березу, плещется около моей лодки, потом скребется в дверь и длинными сухими пальцами постукивает в

окно... Наверное, все это можно было представить, если не верить себе.

Впоследствии я узнал еще нужное чувство погоды, которое приходило сначала из горького опыта, научился чувствовать, как скажут старики, рыбу, знать взгляды животных, знать, кто и зачем был в моем лесу, что сдвинули с места мыши и далеко ли от дома ходит сейчас медведь. Эти чувства никогда не подводили в лесу, они помогали и среди людей быть внимательным к другим. Но не только умение оградить себя от неприятностей, не только способность расширить приходящий поток информации об окружающем или умение ценить просто стакан чаю, просто «здравствуйте», просто теплую улыбку или добрый взгляд приносило с собой лесное одиночество и долгое вынужденное молчание с самим собой. Лесное молчание, внимательное, пристальное молчание к себе и к окружающему позволяло человеку глубже увидеть обычное, найти интересное в простом и таким путем победить, казалось бы, неизбежное падение в область инстинктов, когда за долгие месяцы не приходило со стороны никакой духовной пищи.

Долгое молчание лесных старателей казалось мне сначала чуть ли не ограниченностью, неумением связать двух слов, но потом мне становилось стыдно, когда мысли Ивана Михайловича, Василия, дедки Степанушки в некоторой степени открывались для меня. Ни один из этих людей все-таки никогда не молчал в лесу. Они или пели про себя, или думали о будущем, или вспоминали прошлое и только самое теплое из прожитого, или хранили в памяти что-то увиденное, чтобы рассказать другим. С такими лесными людьми было интересно, их всегда хотелось увидеть, чтобы послушать новые истории, новые сказки. И пусть не каждый из них мог рассказать о сойках или лебедях, пусть Василий Герасимов чаще приносил из леса

ехидные припевки и очередные розыгрыши, но каждый из этих лесных старателей по-своему подтверждал ту истину, что молчание порой действительно золото...

Я вспоминаю сейчас историю, принесенную из леса, в ней нет ничего хитрого, речь шла лишь о лосе, о белой лилии и о простом таежном ручье, по которому человек, внешне далекий от доброго сказочника, ездил каждый день ловить рыбу... Лось на таежном ручье — явление обычное, туда он спускается побродить по воде в светлые летние ночи, там отыскивает листья и бутоны кувшинок, и там, в этом ручье, росла большая белая лилия. Ничего необычного не было и в том, что белый цвет был известен человеку как цвет верности — лебеди у нас считаются самыми верными птицами, и цвет лебяжьего крыла всегда переносится на белый огонь, которым должны светить как хорошо выбеленная рубаха, сшитая руками любящей жены, так и ясное вечернее облачко, предвещающее верную, устойчивую погоду. Но необычность рассказа начиналась с того, что лилию заметил занятый лесной работой человек, заметил сначала между прочим, как сигнал к тому, что скоро, вслед за цветением лилий, широко пойдут стаи окуней. Рыбак встретил рыбу, но оставил лилию в памяти. Позже он не раз замечал за собой, что его все время тянет в ручей... Лилия продолжала оставаться на месте. Наконец лилия стала по-настоящему дорога, и, если бы человек захотел, он, наверное, мог бы поведать о простом цветке очень многое. Наверное, это была бы интересная новелла, где рядом с цветом таежной воды и белыми лепестками лилии обязательно ожили бы и старое осиновое весло, и сам внешне неинтересный, но с трудной судьбой рассказчик... Но у рыбака, к сожалению, не было времени поведать о своих переживаниях. Сбрасывая сапоги и расстилая на печи мокрый ватник, он сообщил о белой лилии так: «Лосей в ручье теперь, что телушек в стаде, перемешали весь до

земли. Листья все пожрали, цветок один был, да и тот извели. А красивый был цветок...» — пришедшая после нелегкой дороги грубость в словах вдруг исчезла, человек преобразился и как-то особенно грустно, будто вспоминая потерянное им самим что-то большое, окончил: «Берег ее, да не уберег — разве с такой силищей, как у лося, совладеешь...»

Прав ли я был тогда, узнав в словах рассказчика нотки грусти по чему-то более весомому, чем обычный цветок белой лилии, но мне очень казалось, что человек на глухом таежном ручье вспоминал себя, потерявшего однажды за временной разлукой очень любимого человека. Может быть, я и был прав в своих суждениях, зная историю рассказчика и умение моих друзей видеть порой незаметные, но много говорящие детали.

На мышонка кинулась собака, когда серый, пугливый комочек перекатывался через лесную дорожку... Мышонок замер перед неожиданной смертью. Но собака отступила, отступила от необычного — лесной малыш остановился перед собачьей мордой, а не убежал. Вот тогда Иван Михайлович и разглядел трясущиеся лапки звереныша... Он рассказал об этом коротко и просто: «Лапки трясутся, а храбростью собаку победил...»

Победить храбростью стихию, победить терпением и умением ждать, ждать и всегда найти выход из любой сложной ситуации — это и было, видимо, для вдумчивых лесных людей предпосылкой ещё к одной победе — к победе над одиночеством, к победе над самим собой...

Такая победа давалась сначала трудно. Трудно было привыкнуть молчать, не пользоваться языком. Но я молчал, молчал неделю, вторую — тогда, в первое мое одиночество, рядом не было даже собаки. Молчание доводило до исступления, хотелось бросить все сразу и сразу оказаться там, где люди. Начинали надоедать знакомые предметы, обстановка, печь, котелки. Как-то

котелок, небрежно поставленный на шесток печи, упал, и я впервые за одиночество услышал свой собственный голос — это была непристойная ругань. Я искал, кто выругался, и не нашел. И опять стал молчать. А когда окончилось одиночество, когда пришли люди, то совсем не знал, как с ними говорить, — наверное, тогда я и научился по-настоящему слушать людей. Потом наука победы над одиночеством привела меня к умению петать про себя, к памяти прошлого, к думам о завтрашнем, ручка и тетрадь снова вернулись ко мне, но вернулись уже по-другому, и я хорошо запомнил, как однажды сел записывать первую свою сказку... Сказка была про звездочку, про маленькую ласковую звездочку за моим вечерним окном. Эта звездочка приходила ко мне в конце каждого рабочего дня, я ждал ее. В такие дни всегда разговаривали со мной добрые березовые дрова, и, может быть, особое тепло этих дров и помогло мне посмотреть на обычную звездочку за окном как на живое существо...

Первая сказка у меня, пожалуй, не получилась. Но само умение не слишком трудно жить в одиночестве оставалось даже тогда, когда до людей было много дальше, чем в первое тягостное молчание с самим собой...

И сейчас я снова молчу, сейчас снова избушка, печка и тихие сказки углей, сейчас я оканчиваю рассказ о не такой уж редкой лесной обстановке, которую люди почему-то называют одиночеством. Одиночества нет. Есть печь, умная, теплая печь, у которой свой собственный характер. Этот характер надо хорошо знать, чтобы не обжечь руки и не истратить попусту дрова. Есть столик, низенький, удобный столик. На его досках длинный ряд моих зарубок. Эти зарубки сейчас отмечают дни, проведенные за пишущей машинкой. Зарубки помогают не потерять счет дням, по-своему хранят память о прожитом и тоже, наверное, передают

ту обстановку, в которой нередко теряются не только дни недели, но и числа... Угли в печи совсем гаснут, гаснут, рассказывая еще одну лесную историю, историю-правду. Огонь умирает, умирает дерево, но я не остаюсь один. Рядом со мной ждут завтрашнего утра окуни, ждут ели, сумрачные таежные ели, хранящие не одну историю, не одну сказку, остается рядом со мной даже тот ветерок, который все никак не угомонится, все еще куда-то несется, несется... А может, он просто летит туда, где меня, наверное, уже очень-очень ждут...

Глава двадцать первая

ЖЕНЩИНЫ

С неделю над озером, над тайгой висел густой, мокрый снег. За снегом терялись берега, под снег уходили вчерашние дороги, а когда в жидкое, холодное месиво врывался еще и крутой ветер, человеку могло показаться, что из этой каши ему никогда не выбраться. Тогда дорога к людям становилась еще труднее и дальше, и пройти такую дорогу по доброй воле, пожалуй, согласился бы не каждый...

В те дни я рано возвращался домой. Устало затаскивал на берег лодку, грустно оценивал очередной улов и немного оживал только у печи за кружкой чаю. У огня забывались холодные, серые волны, тяжелая мокрая посудинка, черпавшая осевшим бортом, позднее октябрьское озеро и плотные сырые глыбы снега в носу лодки. Лодка зарывалась в воду, с трудом поднималась над волной и очень походила тогда на мокрое, раскисшее бревно, которое вот-вот должно было совсем опуститься на дно и стать гнилым, скользким топляком...

Чего я ждал тогда: лучшие дни? Лучшую дорогу к людям или снег?.. Наверное, и снег, настоящий зимний снег, который вдруг заскрипит под сапогом, зафыркает, заупрямится первым сердитым морозцем. Ты будешь шагать осторожно, боясь разбудить, побеспокоить только что появившуюся луну. Луна обязательно будет ясной и чистой, но не злой и колючей, а ласковой и тихой. Это будет первая луна настоящей зимы, зимы, которая только-только незаметно прошла впереди тебя по дорожке, прошла, но, узнав сзади твои шаги, остановилась и посмотрела на тебя хорошей, спокойной

луной... Я очень ждал эту первую луну, первые шаги зимы и первый яркий скрип снега, как ждут первое, когда-то потерянное, но вновь собравшееся вернуться свидание.

Наверное, тогда я вспоминал свое детство, детство зимы сорок первого года. От той зимы и осталась у меня память о снеге, умевшем разговаривать с человеком, и о большой чистой луне, которая всегда приходила вместе с первым настоящим морозцем. Эту луну и этот снег я всегда встречал, когда поздними вечерами возвращался домой из госпиталя.

Сейчас трудно припомнить, что слышали от нас люди, совсем недавно познавшие войну и потерявшие на этой войне многое из того, что дано человеку для его сложной, многообразной жизни. Но сами люди оставались, у них были родные, близкие, у них тоже был дом, и в этот дом очень хотелось написать письмо. Письмо писали мы, только-только познавшие грамоту, и наши нескладные каракули, пожалуй, все-таки были нужны... И видимо, эта нужность и нашего труда, и нашей еще не совсем выросшей жизни отодвинула несколько свидание с настоящим снегом. Тогда было не до снега, не до луны. Но снег, большая зимняя луна и желание выйти под эту луну остались, остались прочно и навсегда, как память о том детстве, когда вместо игрушечных санок и тележек нам приходилось придерживать носилки с тяжелоранеными солдатами...

Но сейчас, на берегу таежного озера, скрип снега был уже где-то близко, и я ждал его, как ждал светлых дней и более короткую дорогу из леса к людям.

Зима могла прийти вот-вот. Теперь, после мокрого снега, ей не хватало только резкого короткого дыхания северного ветерка — час, другой, третий, и к первым лучам солнца вчерашняя слякоть должна была обернуться искрящимися огнями... Но вместо северного ветерка неожиданно пришел жар с юга. Он не

прилетел, а надвинулся, вторгся широко и высоко, расплавил снег и остался над озером и над деревушкой дымящимся, слепым туманом...

Где начинался этот туман? На земле? На небе? Если бы он двигался, то его природу можно было бы определить. Но туман просто стоял, заполнив собой все вверх и не найдя путь дальше в мокрые черные дороги... С утра в этом тумане я разобрал далеко-далеко крики лебедей. Лебеди не показались, не опустились к озеру, и я снова остался один. Теплые потоки с юга отодвинули казавшийся близким охотничий сезон по крепкой тропе, оставалось время, можно было бы сходить к людям, поговорить, посмотреть на них, немного передохнуть от необходимости топить каждый день печь, месить хлеб, хотелось просто не знать забот, а, просыпаясь по утрам, сразу садиться за самовар.» Самовар обязательно будет подавать женщина, старая, прошедшая не одну свою, а попутно и все мужские дороги, женщина нашего леса... Кто это будет? Тетя Катя, та самая тетя Катя, которая провожала меня в дорогу? Или тетя Граня, что встречала и тянула к себе в избу и всегда обижалась, если я не очень долго задерживался около ее самовара?..

Наверное, тетю Граню можно было назвать так, как называют в нашем лесу саму доброту и отзывчивость, — божатка. Откуда и как взялось это слово? Что было его корнем, суффиксом?.. Наверное, на эти вопросы можно было бы ответить так же просто, как на вопрос о происхождении слов: «крестная», «приемыш», — наверное, это можно было бы сделать, если никогда не встречаться с божаткой в самом начале какой-нибудь лесной деревушки.

Все-таки в нас до сих пор живет умение провести границу между доступным и недоступным для анализа, даже когда сам анализ кажется вполне возможным. Да

и вряд ли кому взбредет в голову раскладывать по полочкам то чувство, которое связывает его с любимым. И не произойдет это прежде всего потому, что чувство большой привязанности, слияние двух людей в дорогах и тропах, радостях и печалях вряд ли потерпят логический анализ, который непременно принесет с собой ощущение холода. И возможно, поэтому ни один из лесных людей не объяснит вам, что такое божатка.

Человек может рассказать вам о девере и о золовке, о свояке и о многообразии качеств зятя, может рассказать о законах братания и приема в дом на постоянное жительство, но никогда не произнесет в ответ на ваш вопрос больше чем: «Божатка — так просто божатка». Божатка в понимании каждого известного мне человека, родина которого заонежская тайга, — это просто женщина, обычно не родная по крови, но божатка...

Мать Петра Мушарова тоже была божаткой. Что родило, что развило в ней богатые качества: отзывчивость, душевность, мягкое сердце? Может, то трудное время, когда одна, без мужа, она поднимала на ноги и Петра, и Аграфену, а может, просто было ей завещано от природы — видеть в окно всякого идущего и, накинув на голову платок, выходить встречать любого пришедшего человека... Кто вел список, какая память хранила имена и звания тех людей, которых первой встретила на берегу Домашнего озера божатка? Кто оценит те небогатые миски и пресные пироги, поданные прохожему за столом в том доме, где жила мать Петра, и кому хоть когда-нибудь приходило в голову за угощения, выложенные от всего сердца, предложить деньги?..

Божатка прежде всего бескорытна. К божатке идут с просьбами и горем, божатка нянчит детей, и, казалось бы, ее вдовья жизнь должна вызывать сочувствие, но так не было никогда и только потому, что новая жизнь

женщины, потерявшей мужа, хозяина, оставалась не менее полной от счастья, принесенного другим пусть и невеликими, но теплыми руками божатки...

Тетя Граня тоже была божаткой. Это стало ее жизнью и повторением судьбы матери. Она тоже рано осталась без мужа, с детьми, тоже отдавала внимание и сердце вроде бы и чужим, но таким близким ей людям, тоже могла принести с собой тепло, добрую память и даже легкую дорогу, принести вроде бы и случайно, но богато и светло...

...Уже потом, когда я снова остался один, когда женщины ушли дальше своей дорогой, я много раз возвращался к их песням, к их словам и к самой встрече, что вдруг произошла в лесу в пустой деревушке, которой суждено было знать только охотников да пастухов. Тогда эта встреча долго оставалась для меня нереальным событием. И прежде всего потому, что приход в лес женщин был похож на настоящее Явление-Явление женщин началось с тихих и будто бы неживых голосов за стеной дома... Кто? Откуда? Через раскисшие дороги, через расплывшийся снег? Я вышел на улицу, вышел осторожно, боясь ошибиться и признаться после этого чуть ли не в галлюцинации. Но галлюцинации не было — на улице стояли три живых, настоящих человека, три женщины, и ждали, когда я к ним подойду...

Прошло много времени с того ноябрьского вечера, но и сейчас я мог бы передать всю обстановку той встречи, свои неуверенные беспокойные шаги, которые, казалось бы, должен был позабыть человек, прошедший уже не одну таежную тропу... И пожалуй, эти шаги и заставили меня, мужчину, охотника, рыбака, человека, давно забывшего слезы, понять истоки той слабости, которую мы испытываем просто перед женщиной.

Я хочу остановиться и пояснить, что слабость, как и многие, ставшие двусмысленными слова, я употребляю

только в том значении, которое открывает истину понятия. Слабость рядом с женщиной — это прежде всего желание знать теплое, отзывчивое сердце, а потеряв в трудной борьбе силы, вернуться в тот дом, где тебя ждут такие знакомые глаза и такие простые руки... И, устав, мы возвращаемся в дом женщины, отдыхаем, видим ее никогда не устающую у печи, у скотины, у самовара, молча со стороны любуемся ее силой и умением идти впереди и совсем не стесняемся признаться этому сильному человеку в своих сомнениях, болях и даже бедах.

Наверное, где-то там, в деревушке, на берегу озера, в первых числах ноября шестьдесят пятого года ко мне впервые и пришла та самая слабость перед женщиной, когда напрочь забываются все наши обвешанные регалиями мужские качества... Нет, я не завидовал им, не завидовал их умению просто взять и пройти ту дорогу, которая мне до этого казалась почти непроходимой. Нет, я не собирался произносить слова благодарности за память, за принесенные письма и даже за те гостинцы, которые выкладывала на стол тетя Граня... Я просто стоял, просто смотрел и знал, что теперь каждый следующий шаг будет еще смелей и уверенней туда, дальше, куда предстояли мои дороги. Эти дороги вдруг открыли женщины, принеся с собой пока неясную, но большую силу человеку, которого они, совершенно чужие этому человеку, не умели обойти своим вниманием и теплом...

Откуда и как берется в наших женщинах: вдруг после дороги, после тяжести нош и мокрых ног, сразу снять ватники, тужурки, спуститься к озеру, омыть лицо и руки, вернуться в избу и тут же приняться за печь, за чугушки, будто и не было никакой дороги, будто и не было многих часов пути? А после печи, после ужина опустить на плечи платки, откинуться к стене и, чуть покачиваясь, чуть-чуть помогая песне, сразу запеть,

запеть тихо и хорошо о каком-нибудь давно пережитом чувстве... А дальше — немного отдохнуть, рано встать, вытопить печь, собрать свои пожитки и уйти дальше, где их, может быть, сейчас никто и не ждет...

Все, казавшееся мне необычным в явлении женщин среди глухой тяжелой погоды в тайге, объяснялось предельно просто... Женщины пошли к празднику, пошли туда, где жили их дети, пошли, чтобы поглядеть, повидаться, убедиться в благополучии детей, а попутно и помочь дочери или снохе управиться с праздничным столом. И вряд ли дочь или сноха остановят женщину в желании побыть у печи, вряд ли скажут: «Да посиди, мама, ты устала, погуляй у праздника...» Нет, и дочь, и жена сына, и сам сын будут просто благодарны женщине, которая и сейчас, на седьмом десятке лет, еще верно и богато несет свой большой и бескорыстный материнский долг.

Если вам, взявшимся искать в обществе людей вечную заинтересованность, вечное стремление получать благодарность за содеянное, вдруг покажется, что наш мир — мир корыстный, знающий только расчет сполна и тут же, вспомните тогда хотя бы свою старую мать, которая с вашего рождения до своей смерти, не требуя, не прося ничего и даже отказываясь от предложенного, жила только для своих детей. Наверное, это и есть то самое великое бескорыстие, которым славен человек... И хранить это качество и было поручено женщине. Как? Откуда получит она благодарность за свои труды? Кто возместит ей убытки и потери?.. Вы, дети! Вы так же бескорыстно и тепло обязаны жить для своих детей. Связь есть, связь обязанностей, но не прямых, связь, которая передает обязанности одного поколения другому. И жалко нам будет тех людей, которые забудут свой долг перед матерью и не передадут его своим детям.

Тетя Граня не забывала свой долг, и этот долг и повел ее в дорогу через мою деревушку. Повел потому, что своих детей не помнить она просто не могла. И никто не виноват в том, что дорога прошла через лес, прошла в трудное, раскисшее время...

Наутро, еще в рассвет, я провожал женщин дальше, туда, где была речка Окштомка. Я долго стоял на холме, долго видел не очень приметные, но отважные в своей цели фигурки. Фигурки становились все меньше и меньше, вот уже не видно батожков, которыми женщины ощупывали неверные места, вот уже не видно и фигурок, и рядом со мной осталась только песня, которую вчера пели женщины...

Я не запомнил всей песни. Да и можно ли было запомнить слова, можно ли было останавливать женщин, творящих песню у тебя на глазах, останавливать певучую северную многоголосицу, чтобы записать слова текста? Да и был ли сам текст? А может, и текст, и мелодия, и исполнение рождались всякий раз снова, всякий раз по-другому, а может, вчера рядом с еще не замерзшим озером, рядом с последними криками улетающих лебедей эта песня была исполнена совсем как-то иначе...

Песня была про лебедей. Ее начинала тетя Граня тихим, далеким пока голосом. Голос становился шире, богаче красками и вдруг заиграл, закачался крыльями больших белых птиц, уходящих в дальнюю дорогу. Но пока пела только одна птица, она даже не пела, а откровенно прощалась с родной землей... Потом голосов стало больше. Вторая, третья птицы повторяли, повторяли по-своему слова прощания. Слова птиц сливались, терялись сами слова — и только музыка, сильная, большая музыка горя и силы оставалась вокруг... Потом птицы стихали, стихали голоса, последний далекий звук падал за ели, уходил совсем, и лебедей не стало слышно.

Песня окончилась. Никто не встал, никто даже не поправил платка, женщины молчали точно так же, как перед началом песни, и мне очень поверилось тогда, что все-таки есть такие слова, такая музыка, после которых нельзя взрываться аплодисментами... Женщины еще не вернулись на землю, они еще были там, далеко, были улетающими птицами, и где-то рядом с ними, но ниже, на земле, был и я, провожающий лебедей в трудную и не всегда удачную дорогу...

С той минуты я ждал возвращения старушек, ждал с каждым днем все опасливей и беспокойней... Следом за женщинами опустилась зима, упал снег, много тяжелого, глубокого снега...

Я выходил в этот снег туда, куда ушли женщины, бил встречную дорогу и не очень надеялся снова увидеть своих гостей. К снегу добавился северный ветер, термометр замерз на тридцатиградусной отметке, воздух жег легкие и резал глаза... Оттуда, где была речка Окштомка, к дому старушек лежала другая дорога. Дорога была дальняя, но менее беспокойная, и рассудок всякого, кто встретится с глубоким снегом и безжалостным морозом, должен был подсказать, что выбрать дорогу все-таки через мой лес мог только безумец.

Но женщины снова возвращались через лес. Что вело их по трудному пути? Я не мог спросить об этом... Я просто был рад снова видеть их и снова слышать их голоса. Правда, в этот раз женщины уже не пели: впереди была тяжелая дорога. Дорогу засыпал снег, мороз опустил на землю уже после снега и не успел еще дойти через снег до болот, и теперь путника чуть ли не на каждом шагу ждала нестынувшая топь, укрытая от глаз зимним покрывалом... Но дорогу все-таки удалось пройти. Я снова провожал женщин, снова вспоминал при расставании песню о лебедях и смутно

догадывался о тех причинах, которые привели еще раз ко мне моих гостей...

Решение вернуться через Домашнее озеро пришло просто... Там, где справляли праздник, женщины вспомнили, что в лесу без праздника работал человек, вспомнили и перед самой дорогой принесли тете Гране деревенские гостинцы, гостинцы для меня. Что и сколько было в этих гостинцах — это в лесу никогда не обсуждается. Не буду обсуждать и я. Гостинцы всегда были знаком уважения, расположения и памяти. А цена узелка, сумки или содержимого кармана — это не оставалось уделом даже случайных разговоров... Итак, гостинцы были, и их надо было нести. А тетя Граня вспомнила еще и стакан воды и повернула свой батожок в мою сторону...

Тогда в первую ночь в моем доме тетя Граня захотела пить, стакан и ведро с водой были рядом со мной на кухне. Я услышал ее слова, обращенные к соседке по кровати, слова, выражающие желание встать и сходить за водой. И целью этих слов не было обратить на себя внимание — просто тетя Граня спрашивала соседку, не принести ли и ей воды. Та отказалась, а пока проходил этот неторопливый разговор, я успел наполнить стакан водой и принести его женщине... И здесь не было никаких «спасибо» словами. Было темно, и, может быть, надо было видеть глаза и только по ним что-то понять. Я тут же забыл этот стакан воды, но его помнила тетя Граня и там, у людей, несколько раз рассказывала об этом стакане, который ей давно никто не подавал, а тем более в постель...

Может быть, кому-то и покажется странным, что занятая, уставшая от долгих лет труда женщина могла помнить о каком-то пустяке. Кто-то может отнести описанный эпизод за счет моего обостренного восприятия действительности по причине долгой

лесной жизни. Я разуверю вас: это не так. Я просто напомню вам то самое слово «божатка». «Божатка», которая, ничего не ожидая для себя, живет только для других. Божатками у нас зовут почти всех женщин, и тетя Граня, конечно, не исключение...

Глава двадцать вторая

ПРОЦЕНТ С МИЛЛИОНА

— Сколько стоит наше озеро? — спрашивает меня дедка Степанушка и, не дожидаясь моего ответа, отвечает сам себе: — Миллион! А то подумаю — больше выйдет...

И мы думаем, думаем в избе на берегу Домашнего озера. Мы считаем, путаем цифры и снова считаем... Получается много.

Пять стариков, оставивших по старости труд земледельца, но еще способных держать весло. Пять стариков — девяносто дней работы на озере в году у каждого. Без десяти килограммов обычно никто из них не возвращался. При желании каждый из стариков с весны до осени мог принести домой тысячу килограммов рыбы. Это десять центнеров, или одна тонна. Пять стариков могли поставить пятьдесят центнеров, или пять тонн. И это только старики, только на удочку или в простенькую одностенную сетку. Это был малопроизводительный труд, но пять тонн свежей рыбы могли обеспечить не одну семью.

Дальше мы считаем рябчика. Еще совсем недавно дедка Степанушка снимал за неделю с охотничьей тропы по восемьдесят пар птиц... Считаем куницу — дорогой, редкий мех. Один Василий мог добыть за зиму до тридцати бесценных для страны шкурок... А мед, а клюква, а грибы? И даже без грибов, кошелок, заплечников, без смолы и меда, без куниц и рябчиков наше Домашнее озеро дедка оценивает в целый миллион. Расчет продолжается, цифры заполняют дневник. И все это около печи, при свете догорающей голубенькими язычками головешки... Потом головешка

выбрасывается, выгребаются угли, помелом выметается пол, на раскаленный кирпич укладывается солома, а сверху на солому ровными рядами ложится процент с того миллиона, который стоит наше озеро. Этот процент сегодня собрали мы, собрали в виде рыбы... Этот процент знали и старики и редко когда перешагивали через него в сторону основного капитала.

Чем поддерживался, чем обеспечивался постоянный прирост с основного капитала, положенного на текущий счет людей природой? Глубоким экономическим расчетом? Нет. Впервые приблизительный расчет нашего леса произвели мы со стариком. Расчет напугал бесценностью воды и леса.

Дедка Степанушка не изучал политическую экономию, он не умел даже как следует считать, он просто помогал мне правильно оценить исходные данные для расчета. Осторожное отношение этого старика, его отцов и дедов к природе пришло по долговому и не всегда удачному пути чистой эмпирики: ошибка — плохая дорога, удача — можно идти дальше. Они, эти старики, хорошо знали, что Домашнее озеро стоит миллион только до тех пор, пока основной капитал живет в воде...

Вы остановите меня, скажете: «Это не так. Тогда было меньше людей, и вторжение человека в природу с сетью и ружьем сказывалось не так сильно...» Можно я не отвечу вам прямо, а приведу пример одного замечательного и вполне интенсивного промысла, промысла рябчика жердками?.. Жердки — это совсем простая снасть, снасть самоловная — тоненький силочек, сделанный из конского волоса или синтетической лески. Силочек крепится на еловой перекладине, а рядом с петлей подвешивается кисточка рябины. Рябина соблазняет рябчика, рябчик опускается на перекладину и, переступая лапками, направляется к

лакомству. Но на пути птицы петля. Птица попалась. Птиц собирали, связывали парами, грузили на возы и везли в столицу. Сколько ловили таких птиц за осень в нашей лесной деревушке? Много, очень много. Жердки — самая добычливая снасть. Снасть простая, доступная любому пацану, и редко какой подросший пацан нашей деревушки не имел своей тропы на рябчика. Эти тропы и по сей день, пересекаясь, расходясь и снова пересекаясь, путешествуют по лесу. Эти тропы могут запутать своим количеством. И с каждой тропы некогда собирався обильный урожай птицы.

Рябчик — вкусная птица. За рябчиком и сегодня гоняются по ельникам и ольшаникам приезжие отпускники со штучными ружьями, гоняются летом, осенью и даже весной, когда доверчивая рябенькая птица летит к вам чуть ли не в руки. Ружьями рябчика добывают мало — уж по крайней мере не те восемьдесят пар в неделю, которые приносил с троп дедка Степанушка.

Итак, промысел жердками оказывался интенсивнее, но рябчик не переводился. И не переводился прежде всего потому, что весной его никто не трогал. Убить весной петушка или курочку считалось лишить себя осенью десятка товарных птиц. А сколько можно было отловить рябчика осенью, сколько можно было поставить жердок, чтобы не выловить всю птицу? Люди не считали, они просто знали неудачный год и снимали снасть, жердки расстораживались, и рябчику предоставлялась возможность развестись в большем количестве.

Последнего рябчика раньше никто не выбивал. А если бы даже и нашелся такой алчный человек, то его все равно ждала бы неудача. Он мог ловить птицу только на выделенном ему участке, он вылавливал рябчика на своих тропах, мог жадно поглядывать на владения соседей, на чужую охотничью тропу, но туда

дорога ему была закрыта, и там оставленные на развод птицы продолжали преспокойно существовать.

Рябчика много и сейчас, много старых троп и жердок, и это лишний раз подтверждает тот факт, что не было в мыслях лесных старателей желания выловить, выбить все до конца.

Заметный исход рыбы останавливал промысел на озерах, ловить рыбу было невыгодно — и люди ограничивались лишь ловлей на себя. У этих людей тоже была хорошая снасть, были невода, неводами было можно вычерпать все, но этого никто не делал, помня плачевный опыт посещения Домашнего озера какой-то неумемной чужой артелью.

От артели осталась память о щуках, забивших амбары под самые крыши. Артель скоро убралась, не успев вычерпать весь миллион, но до сих пор наше озеро еще не вернулось к тому состоянию, когда оно стоило много больше. Помнят люди и нерасчетливый лесосплав по Долгому и Верхнему озерам, помнят грязные потоки воды с пустых, безлесных берегов. И наверное, эта грустная память и позволяет дедке Степанушке произнести слова о далеком и богатом прошлом Долгого озера: «А раньше-то рыба там за рябуши хватала...» Рябуши — это пола рваной куртки, случайно опустившаяся в воду с борта лодки. И за эти рябуши в прошлом нет-нет да и хватали приличные щуки...

Конечно, в каждой памяти о добром прошлом есть нотки грусти по своим собственным ушедшим дням. Но в словах старика есть и большая правда: озера, узнавшие алчные невода, жадных людей и сваленный по берегам лес, куда как бедней тех водоемов, дорогу к которым и по сегодняшний день ведают лишь настоящие хозяева.

Взять много и богато — такое желание есть и у Васьки Герасимова, но рядом с ним ходят в тайгу за

куницей и Иван Михайлович, и Аркадий Кушаков, которые не так уж редко задумываются: а может, что-то оставить и на другой раз? И к счастью для той же куницы, угодья в нашем лесу разделены между отдельными охотниками. И поэтому Ваське приходится думать: а что, если он выбьет всех зверьков на своем участке? И может быть, именно это умное правило и помогает видеть наш лес все-таки живым, помогает встречать следы, находить непуганых животных. А рядом и в помощь первому правилу есть в нашем лесу еще одна традиция: никогда не бросать раненое животное, никогда не переводить свой взгляд на другой объект, пока первый, подранок, еще недобран.

Ответственность за персональный охотничий участок на первых порах может вызвать недоумение тех людей, которые приходят позабавиться охотой, не принося с собой ничего для леса, кроме желания много-много взять...

У этих людей нет неводов, нет даже расчетов, по которым они могли бы предъявить право на процент от капитала природы. Но они тоже горят желанием получить. Что?

Охота, красивый выстрел, редкий трофей — все это было для меня просто и ясно. «Убил» или «ранил» — все это произносилось не задумываясь, до тех пор, пока я не встретился с глазами лося... У меня было хорошее ружье, мясо было необходимо для питания; но я не выстрелил. И лось не был моим соседом. Я встретил его далеко от дома, животное должно было сослужить службу человеку, но человек ушел, не спустив курка.

Отказ от выстрела привел за собой много вопросов и сомнений. Честней всего, казалось, просто стать вегетарианцем и совсем отказаться от охоты. Но почему-то мысль о переходе на растительную пищу не часто приходила в голову. Я вроде бы избегал убийства, но оставлял в то же время право забивать скот другим...

Последнее корбило нечестностью: кто-то за меня должен выполнить «грязную» работу мясника, работу аморальную с точки зрения тех людей, которые стараются избегать разговоров о скотобойне... На этих людей не хотелось походить.

Ответы на вопросы, требующие новых ответов, обращали меня к области инстинктов, к области тех страстей, которые были знакомы нашему пещерному предку. Этот предок знал страсть — достичь и добыть. Это достичь» знал и мой пес. Он умел обрушиваться на добычу, но обрушивался только тогда, когда добыча была добычей, когда она убегала, спасалась... Выходило, что стремление достичь, а следом и добыть было не безгранично.

Маленький, трясущийся зайчонок, принесенный в избушку, подтвердил мое предположение. Пес бросился на зайца, но встретил глаза животного, встретил не убегающего, а забившегося в угол зайца, смотревшего, и пусть со страхом, на своего врага. И пес отступил, а я вспомнил лося, который опередил выстрел человека доверчивым взглядом в мою сторону. Инстинкт собаки оправдывал мой поступок. Выход за границы инстинкта отвергался логикой природы, он порождался только извращенным желанием человека добыть любыми средствами и открывал путь к уничтожению окружающего, а следовательно, к своей собственной гибели.

Отказ от выстрела в животное, которое смотрит тебе в глаза, был принят человеком, желающим жить и дальше на земле, был принят как граница, которую берегли уже не инстинкты, а мораль людей. Но люди хотели есть. В тайге обитали объекты промысла, их ждали столы людей, а я назывался охотником — ловить рыбу и добывать зверя было моей работой, и я добровольно брался за нее. Отказаться от крови, оставить другому грязную, неопрятную работу и ждать,

когда мясо принесут мне в приготовленном виде?.. Нет, я оставил себе работу, вспомнив: поскольку работа есть, то кому-то ее надо выполнять. И пока люди будут ждать мясо, пока будут выращивать не только молочный, но и мясной скот, наверное, не надо брезгливо отворачиваться от того, кто умеет быстро и чисто снять шкуру, умеет разделать тушу, но в то же время умеет и не перейти ту границу, где ради «добыть» забывается обязанность человека быть добрым, забывается обязанность помнить своих соседей, которые встретили тебя доверчивым взглядом.

Наверное, мы, люди, можем и обязаны установить для себя те или иные ограничения, переступить которые означало бы стать не человеком. Наверное, где-то в нашем кодексе, кодексе плотоядных существ, должно быть четко записано, что и при каких обстоятельствах называется убийством. И если за такой критерий принять оказанное тебе доверие животного и неприкосновенность ближайших соседей, то среди наших лесных охотников я вряд ли найду человека, который очень далеко перешел за эту черту. Даже когда обстоятельства требовали крайних решений, никто из них не лгал себе, никто не разыгрывал драму около телушки, с которой приходилось расстаться, как тот человек, с которым случай свел меня в глухое октябрьское предзимье под одной крышей.

Тот человек тоже назывался охотником. Он любил красивый выстрел, удачный трофей, но если ему доводилось только ранить птицу, он брезгливо нес ее домой и просил другого оборвать страдания бедного животного. Я долго не понимал этого человека, имеющего первоклассное оружие. Что нужно ему в лесу? Закаты, краски неба, голоса птиц, незабываемый весенний вечер или тихую, чуть грустную тропу облетевшего осеннего леса? А если так, то, пожалуйста, называй себя охотником за красками и голосами,

снимай, помни, рассказывай другим... Нет, этому охотнику было нужно еще и удовлетворение страсти, страсти достичь, добыть — достичь и добыть ради самой страсти.

Он презирал Васькину работу, морщился при виде крови, долго и старательно вытирал нож, запачканный при разделке птицы, но он тоже хотел стрелять. Ради чего? Ради работы, нужной другим? Нет. Вот где-то здесь, мне казалось, и кроется лицемерие ханжи, боящегося самого себя. Этого человека никогда не остановит взгляд животного. Этот человек не умел добрать подранка, а тут же обрушивался на новую добычу. Он мог увлечься, набить больше, чем был способен донести, в то время как никто из наших рабочих-охотников никогда не пылал страстью убийства, никто из них не знал желания убить.

Поиск, слежка еще держали лесного старателя в руках страсти. И очень часто мне казалось, что выстрел приходил к таким людям сам по себе, без особых эмоций. И может быть, именно потому тушка куницы, принесенная из леса Аркадием Кушаковым, никогда не вызвала брезгливого чувства к рукам, которые совсем недавно спустили курок...

Мы часто вспоминаем трудные и не до конца решенные проблемы: «охота и дети», «выстрел, кровь и дети». Мы высказываемся порой за то, чтобы дети не знали охоты, не знали крови добытого животного, чтобы убийство на охоте не породило в детях дурного. Наверное, об этом надо еще много думать, чтобы понять истоки того инстинкта, которым был одарен пещерный охотник и который остался и нам, хотя в несколько измененном виде... Я вспоминаю сейчас детей Аркадия, детей мудрого, внимательного охотника. Наверное, эти дети видели пушнины и добытого мяса намного больше, чем те пацаны, которые с вожделием смотрят на своего старшего товарища,

изловчившегося поймать городского голубя и свернуть ему шею. Дети Аркадия не знают страсти убить, они любят собак, любят все живое и откровенное, хотя, очень возможно, тоже возьмут ружье и станут охотниками. Но это будут добрые охотники, которые принесут из леса не только куний воротник или ондатровую шапку. Лес станет для них миром, миром большим и интересным, и в этом мире тоже будет работа, разная по трудоемкости и напряжению моральных сил. И эту работу дети Аркадия Кушакова, с детства научившиеся смотреть в глаза животным, а может, и понимать эти глаза, наверное, уже готовы честно выполнить.

И как бы я не хотел, чтобы в тот лес, куда, возможно, пойдут и мои дети, явилось желание убить, обвешать себя трофеями. Наверное, там, где нужно работать, развлекаться все-таки нельзя. Развлечение — это в конце концов плеск эмоций, отпущенные вожжи, и кто сказал, что эти «вожжи» вдруг да не освободят в человеке, недостаточно подготовленном для дороги с ружьем, страшное стремление уничтожить в лесу все живое... И надо очень бояться, если ваш ребенок, не умеющий видеть вокруг краски и слышать музыку природы, не понимающий закаты и восходы, не умеющий ценить соседство доверчивых животных, возьмет в руки ружье. И может быть, поэтому уже сейчас где-то должна быть установлена граница, граница выстрела по живому, перейти которую получит право не только тот, кто знает материальную часть оружия и правила, отличающие браконьера от узаконенного охотника. И наверное, тогда человек, отправившийся в лес с ружьем, не всегда поднимет свое оружие в сторону токующего глухаря или вальдшнепа, тянущего над багровым от зари редколесьем. А может быть, такому человеку ружье не

потребуется и совсем, если выстрел не будет обычной работой, работой ради жизни людей.

И может быть, тогда у людей, вошедших в лес, в природу, коснувшихся ее в своей работе или на отдыхе, останется время более внимательно отнестись к словам дедки Степанушки, который оценил небольшое таежное озеро в целый миллион. Может быть, тогда случайные в лесу люди будут более осторожно относиться к тому богатству, которое оставила нам природа и с которого нам разрешено получать только проценты.

Глава двадцать третья

КУНИЦА

Когда и как родилась в нашем лесу первая песня? Какое чувство привело человека к желанию вдруг запеть?.. Тоска, глубокая, безысходная тоска, о которой надо рассказать другим? Или радость, когда хочется запрокинуть голову к небу и запеть в ответ улыбающемуся солнцу?.. А может, не только тоска, не только радость в отдельности, а сразу вся гамма чувств, переполнивших человека, однажды попросила выхода... Пожалуй, первая песня, спетая в охотничьей избушке, так и была рождена и радостью удачи, и неожиданной грустью по оставленному дому, когда к этому дому лежала долгая таежная тропа по глубоким сугробам...

«С тобой можно зимовать — ты хорошо поешь...» Это была оценка человеку, который уходил с тобой на зимнюю работу в тайгу. Аркадий Кушаков пел хорошо. Может быть, где-нибудь там, где существуют другие оценки качества голоса, мастерства исполнения, Аркадий и побоялся бы спеть, но здесь, в тайге, все было по-другому, здесь просто надо было уметь вовремя вспомнить хорошие слова и не очень громко произнести их вслух.

Какие песни мы пели в ту зиму, когда встретились с Аркадием под одной крышей? Мы вспоминали хорошие песни военных лет, песни про темную ночь, про землянку, про товарища, который дал закурить другому, вспоминали и поздние песни про синий троллейбус, про бабье лето, про снег, про Канаду и, конечно, про звезду рыбака...

О звезде охотника песен, к сожалению, не было, но эта звезда, наверное, должна была светить человеку, у

которого звезды были нередко единственным собеседником в долгие зимние ночи...

Собиралась ли появиться вчера наша звезда — не знаю. Я знаю другое — вчера вечером в печи «не стрелило» полено. Если из печки в ночь перед охотой с треском не вылетит уголь, то выстрела по кунице может и не быть. Правда, куницу часто берут в дупле живой, но живая куница, принесенная домой, — это все равно что удачный выстрел.

Вчера вечером печка не обещала нам удачи. Сегодня утром, еще перед голубыми тенями на снегу, мы топим ее наскоро, но жарко. Жар струями течет по стенам, облизывает окно, а со стекла все ниже и ниже спускается лед, оставшийся с ночи.

Жар в избе нужен перед охотой не меньше, чем котелок с супом и густой чай. Жар должен напарить помещение, выстелить его теплыми половицами и ждать нас, чтобы встретить и обрадовать теплом дома. К ночи мы должны вернуться. Мы идем только на день по небольшому кругу — круг замыкается на нашем жилье. Но как он замкнется: пусто или с выстрелом — об этом заранее может рассказать только печь. А когда быть дома: засветло или отемняем — это могла знать лишь звезда... Но ночью не было никаких звезд.

Вчера с вечера повис мелкий сухой снежок. Он медленно опускался вниз на старые следы, и под лапы сегодняшней куницы легла к утру новая рыхлая дорожка... Ночью мы выходили в мороз, видели пустое небо, радовались сухой пороше и очень хотели, чтобы к утру все-таки появилось солнце...

Солнце встретило нас уже в лесу. До солнца мы перемешали корочки рыхлого коричневого льда не на одном болоте, прошагали добрых два часа к реке Индоманке, остудили ноги, не встретили ни одного куньего следа и ни разу не курили.

Курить на ходу на морозе плохо, но стоять нельзя: уйдут ноги, уйдут в холод. Ноги в резиновых сапогах. Резиновые сапоги зимой в тридцать градусов мороза, но без них нельзя: под снегом болота. Снег в этом году лег на мокрую землю, не пустил к топям мороз, и теперь болота будут жить весь промысел и закроют путь человеку в валенках. На лыжах тоже нельзя: лыжам не развернуться в завалах, не перекатить через бурелом. И остаются только резиновые сапоги.

Сапоги без каблуков. Каблуки срезаны сразу после магазина. Каблуки мешают — их может ухватить сук, ствол упавшего дерева, они могут не пустить бежать на лай собаки и даже опрокинуть... Нога выходит из болота блестящей и черной от воды. Но блеск только на первом шаге. Второй, третий шаг — и нога тяжелеет от ледяного лаптя. Болото стынет на сапоге, одевает его свинцом, и, чтобы идти дальше, надо нет-нет да и околачивать прикладом мерзлую корку с резины...

Хочется курить. За спиной мешок, лямки стянуты на груди веревкой, чтобы не тряслись, не мешали за плечами сухари, котелок. Сухари и котелок на случай, если ночь остановит в лесу. На случай в мешке и меховая безрукавка. На тебе свитер и ватник. Варезки в карманах — на ходу жарко, парно, как в бане. Расстегнут ворот, оттянут с горла свитер. Мороз через рукава и ворот поплескивает под одежду; когда идешь — приятно и легко, а когда стоишь — вспоминаешь о варезках. Стоишь недолго — слушаешь собак...

О кунице обычно знаешь еще с лета по рябчикам и глухарям. Куница давит этих птиц, и там, где поселился зверек, выводки порежены, побиты хищником. Летом узнаешь о кунице и по помету, и по лаю собаки. Собака в лесу всегда с тобой и всегда скажет, что куница уже есть за Красовым озером или за Кимболотом... К осени, укладывая подальше летнюю снасть, так, между прочим хорошо и верно вспомнишь, что зверек есть у

Сокольего болота, есть и за Лучным озером — и в каждом месте своя оседлая куница. А с первой сухой от мороза тропой уже знаешь, куда идти...

Сегодня мы ушли к реке Индоманке. Река впереди. Снежок лежит чисто и ровно, уже с половины ночи он приготовился оставить на себе след куньих лапок, но следа пока нет... Мы ищем по окраинам болот, по дуплистым осинникам, по ельникам, где в утреннюю рань не преминет побывать куница. И вот лай собаки. Лаает Налетка, редко и сбивчиво. Дозорка пока молчит...

На собак в этом году не повезло. Не повезло сначала Аркадию — ослепла Пальма. Пальма честно несла свою охотничью службу и, наверное не рассчитав силы, вдруг сдала. Пальмы нет. Остался Налетка. Налетка хорошо шел за лосем, но к кунице относился холодней — и никак не походил на ту Пальму, которая шла за всем. Для куницы Аркадий взял к Налетке Моряка. Моряк честно принялся за работу, но испугался первой же крови. Моряк подвел, а вскоре подвел и Налетка. Пес оглох... Сезон уже кочевал по области, а собак не было. Правда, надежда у охотника еще теплилась, жила еще и потому, что у ног все смелей и смелей крутился новый молодой кобель — Орешка... Может, подрастет, подтянется хоть к декабрю, подучится у Налетки. А вдруг и пойдет за куницей... Но «вдруг» пришло с другой стороны — в лес заявила чума, страшная, жестокая, не щадившая ни собак, ни планы, ни работу охотника. Орешка погиб. Чума добралась и ко мне — я тоже остался без собаки. И теперь впереди нас изредка подавал голос глухой пес...

Куница! Мягкие, легкие следы — две сведенные вмятинки-канавки легли у пенька, обошли его, осыпали с упавшего ствола ледяную крошку и добрались до завала. Потом вынырнули обратно и пошли к кустам... Куница жировала, искала пищу. Собака нашла след, узнала запах, обошла осину, куда поднялся зверек, и

залаяла... Все позади. Позади дорога по болотам, желание сесть и покурить, снег по пояс, по грудь, сугробы на голову, на плечи с еловых лап... И только лай собаки...

Куница узнала собак и уходила по вершинам елей... Кот, самец! Это успел заметить по следу, по размеру лапок — развод канавок на снегу у кота шире, размашистей... Кот уходил дальше. Собаки держались за ним.

Налетка мог видеть и вынюхивать. Когда кот останавливался, когда не было ветерка, не падал омет с ветвей, Налетка не мог знать куницу. Но рядом был Дозорка. Молодой, сильный, он мог слышать и теперь должен был подменить старика при «молчании» куницы. Большого он не умел — он еще только-только проходил школу, первый раз по-настоящему попав в лес...

Собаки шли за куницей. Шли все дальше и дальше. Куда? На север, на юг?.. Это потом, когда куница станет добычей. Потом из кармана появится компас, и его стрелка при свете спички покажет направление на север... Но это потом. А пока мы уходим за собаками, зная из прошлого, что куница все равно или отыщет дупло, где затаится, ляжет, или получится ее обойти на ходу и остановить выстрелом при прыжке с дерева на дерево. Только бы успеть к ночи! Если куница уйдет в темноту, то сон — у костра, а завтра почти все сначала.

Лай собак гас в еловых ветвях, тонул под снегом, порой не доходил совсем. Но ты знаешь, чувствуешь, где должны быть собаки, где кот, небольшой быстрый зверек, поднявший чем свет двух охотников, ушедших в лес надолго от детей, жен, уюта и тепла семейного дома... А зачем? За деньгами?.. Восемнадцать рублей пятьдесят копеек охотник получит за куницу, если

шкурка пройдет первым сортом...¹ А сколько куниц бегают по окрайкам болот, спит в дуплах и ждет тебя, заготовительные организации, пушные аукционы и изящных женщин, созданных для куньих воротников? Сколько куньих воротников принесут два охотника за четыре месяца жизни в тайге, в морозе и нередко без крыши над головой?.. Кружка чаю, ложка в ухе из сухой рыбы, миска сухарей, уставшие ноги, спины, снежная мгла, когда десяток дней не уйдешь в лес, когда нет охоты, когда по ночам выходишь в мороз, выходишь после каждой папиросы и ищешь свою звезду, и даже не звезду, а только просвет на небе, клочок луны, чтобы по нему угадать: будет или не будет завтра день промысла? Или снова, снова и снова ждать вечер, ночь и, может быть, луну на чистом небе... Сколько же останется тогда в лесу рабочих дней от четырех месяцев, отведенных на промысел?.. А сбитые ноги пса? А твои ноги, уставшие месить болота и снег? А случайный недуг? А зверек, перехитривший тебя и собак? Сколько же твоих куниц бегают по тайге?

Да, восемнадцать пятьдесят нужны. Нужны детям, жене, матери, что проводили, помнят, встретят и проводят снова. Проводили первый раз через свою волю, через упрек: «Топором больше бы натюкал». А почему не натюкать топором, почему не остался дома, а вдруг в лес? И только ли за деньгами?

Куница шла по высокому еловому острову, собаки верно держались сзади. Мы обошли собак и ждем впереди.

¹ Цена шкурки куницы в 1965 году (сейчас цены возросли).

Кулки взведены — вот-вот выстрел. И тогда все, тогда домой с удачей...

Первым исчез голос Налетки, за ним погас звон Дозора. Завтрашний воротник свернул в сторону, не

дошел до ружейных стволов, свалился с бугра в глубокую низину, довел собак к следующему острову и оставил их в буреломе. Собаки обошли завал, закружились под елями, ища омет — пленочки коры, иней, оброненные вниз лапками зверька. Нашли нужный запах, снова подали голоса и снова ушли от нас. В этот раз зверек не показался, схитрил или ошиблись мы...

Последний частый лай ожил уже к заходу солнца. Осина торчала седой колонной, высокая и мертвая, без сучьев. Внизу сидели псы. Налетка сидел осторожно и внимательно, а Дозорка вертелся и лез на дуплистый ствол.

Перед осиной зверек спустился на снег, прыжок, другой — и куница ушла в дупло. Она могла войти в любое отверстие — их три. Все выходы на одну сторону — это легче, видней. Нижнее дупло пустое и самостоятельное. До двух других не дотянуться. Рубить осину.

Топор сносит гниль, глыбу за глыбой. Дальше дерево прочней, топор ложится со звоном. Топор в руках у одного. Другой в стороне с ружьем — если выскочит и пойдет верхом, тогда стрелять, не ждать нового дупла — уже поздно, гонять некогда, надо брать, хотя после ружья и не чище шкурка. Собаки тоже ждут, ждут, изредка полаивая... Топор, топор, топор... Папироса в зубах. Папироса мокнет, тут же стынет и леденит губы. Еще, еще... Последняя минута — и конец. Все рады этой минуте, чтобы вдруг не потерять день. Дерево должно упасть чисто, на глухую сторону, отверстиями вверх. Дерево сейчас упадет — и тут же бежать к стволу, тут же закрыть шапкой, варежкой, чем-нибудь, только закрыть дупло. Их два, но нешироко друг от друга — хватит рук дотянуться.

Ствол рухнул, осел снег, но шапка и варежка уже успели. Собаки на стволе — визг, нетерпение... Курить.

Мягко спущены курки ружья. И стоим без шапок, горячие... Снег и сутулый огонек спички.

Теперь проще... Дупло вскрывается узко — только-только для прута. Глубокая щель через мороз дышит прелью. Прут уходит туда и ищет. Ищет мягкий, живой комочек. Потом прут загоняет зверька в угол, и тут же щепка, прочней, шире прута, прижмет куницу и никуда не пустит. Дальше нож вскроет осину, вскроет осторожно из-под варежки, чтобы не выскочила, и рука тоже в варежке нащупает животное... Зверек стихнет в мешке, а вечером на правилке вытянется шкурка, снятая быстро и чисто, снятая с когтями лапок, с носиком и ушами... Уши нравится прижимать, чтобы не торчали. Этого не требуют, но нравится самому. Прижимаешь шнурком, полоской коры — и так сохнет... Но пока только щель, и скоро еще раз подтвердится твоя догадка: конечно, кот, самец, крупней, шире кошки. Но кота нет. Прут ищет глубже, дальше, беспокойней... Визжат собаки. Хочется отогнать, крикнуть на них. Нельзя — собаки разные. Налетка осторожный, обидится, не пойдет завтра, не будет настроения охотиться. Нельзя кричать, замахиваться, надо успокоить... Но где кот? Пока нет... Другое дупло! Подождать. Спокойней — можно нагорячить... И снова кота нет!

Уже вскрыты оба дупла, вскрыты широко, уже совсем знаешь, что нет, но шапка еще на стволе, еще закрывает отверстие... Шапка как последнее, что еще поддерживает твою веру в удачный день.

Наверное, вчера звезда охотника все-таки не взошла. Подвели собаки, подвел хитрый кот. Кот запал в дупло, осидел его, оставил после себя густой запах, но ушел, издали узнав собак, ушел верхом, не заглянув на снег. Собаки схватили запах только что оставленного дупла, загорячились, забыли поискать дальше и все потеряли. Потеряли не от плохой работы, не от

неумения — наверное, у псов тоже бывает усталость к концу рабочего дня. Погорячились и мы, сразу поверив собакам, и, не видя на снегу выходного следа, не искали омет с елок, не проверили псов и тоже, наверное, устали...

Звезды появились ярко, не оставив пока надежды на свежий снежок к утру. К завтрашнему утру старый снег вымерзнет, сожмется, станет гуще, льдистой и хуже удержит новый запах. Компас показывает направление на север. Карты с собой нет — карта в голове. Мы к югу от дома, от избушки. Знаем точно, что и немного к востоку. Помним, что шли на Индоманку, а Индоманка не на западе. Куница водила долго. Куда шли за ней? Зверек бежит больше прямо, реже кривит. Уходили за ним тоже на восток, больше на восток, чем к югу. И теперь выходить на север до дороги. Дорога будет как раз поперек нашего пути.

И снова тайга, глухая, перезревшая, из века в век ложившаяся друг на друга. Болота. Ноги в воде. Ноги снова в ледяных лаптях, приклад снова обивает лед с сапога, но удары редкие — некогда, надо выходить, уже поздно. Снег валится на голову, на плечи, на мешок. Снег в ружейных стволах, снег по пояс. Под снегом упавшие деревья нет-нет да и захватывают ногу... Хруст льда под снегом... Быстрее, быстрее — внизу топь, проваливаться нельзя... Который час? А зачем? На часы не смотришь. Бьем дорогу — канаву в снегу. Впереди по очереди. Хочется остановиться, перевести дух, освободить грудь от жара и даже не курить... Наконец дорога. Где мы? До дома далеко, но теперь проще — ясно, сколько осталось...

Сегодня, наверное, был красивый день. Наверное, можно было прийти в шалаш под березой, прийти рано и ждать, когда в кружевах инея закачаются на ветвях густо-черные тетерева... Можно было бы увидеть красную палящую бровь петуха, два белых развода по

его хвосту, можно было бы любоваться утром, голубыми тенями, огнем холодного солнца, горящими красками тайги, а потом выйти на озеро и стоять над глубиной в игре бриллиантов, выброшенных из ледяных трещин... Наверное, сегодня был яркий, красивый день... Сейчас от ушедшего дня остались лишь ели на берегу озера, и теперь над черной стеной уснувшей тайги высоко-высоко мерзнут звезды... Одна, вторая, третья... Много-много звезд, далеких, будто падающих вниз...

У дома давно жмутся псы. В дверь первым врывается мороз, врывается густо и широко, мороз хочет забраться всюду и сразу, но тает. Гремят мисками собаки. Собак надо кормить... Коптилка, сброшенные сапоги, дрова, суп, чай, папироса. Чай, и снова чай. И еще один вечер, уже ночь у печки перед огнем в надежде на завтрашний день, на выстрел полена и на звезду...

В домике только редкий постук кружек о доски стола и планы, планы на завтра, на послезавтра, на еще дальше. Планы не на звезду, а на продукты, на себя и на собак. За планами приходит и старая память, а с памятью прошлого встает откровение, мужское крепкое откровение без бранных слов, чистое, полумолчаливое откровение двух людей, взявших себе имя — охотники... Охотники теперь встретились, сошлись вместе, чтобы легче пройти в лес, чтобы удачней взять зверя и побыть у гаснущего огня и памяти о далеком доме...

Детям своим Аркадий не желает дороги в лес. Желает все: от топора до трактора, но не ружье... Жалко жену — она ждет, думает, переживает... Но... Где все то, что должно следовать за этим убедительным союзом?.. И только молчание. Нам ничего не надо объяснять друг другу — мы все давно объяснили себе... Куний воротник? Он мне не нужен... Деньги?

Да, только деньги были нужны тому выродку, который поднял топор на двух охотников, добро принявших его. Беда откровенных людей была лишь в том, что к концу сезона им удалось взять пятнадцать куниц... Куниц убийца забрал, а людей сжег в избушке вместе с собаками. Зверь пытался замести следы, забыв, что лес не умеет скрывать преступления... Двести семьдесят семь рублей пятьдесят копеек — вот, наверное, и ответ на вопрос, сколько куниц могут добыть два удачливых охотника за сезон промысла. У тех двух тоже была какая-то своя звезда...

Я не верю в звезды. А ты веришь, Аркадий?.. Аркадий молчит. Молчат спокойное лесное мужество и верность охотничьему слову... И снова чай. Уже совсем оттаяло окно, и за окном появились звезды, а вместе со звездами пришла и запелась вполголоса неплохая песня:

У рыбака своя звезда...

Я выхожу в ночь, под звезды, долго смотрю на них, слушаю молчание тайги и беспокоюсь пробую щекой еще тихие, но уже настойчивые толчки ветерка с запада... Неужели к утру загустеет небо, неужели ветер и снежная каша?.. И глухой день... Не надо ветра и снега. Мне надо завтра работать, надо идти в тайгу за куницей. В метель куница больше лежит, ходит коротко, снег тут же забивает следы, и зверек становится тайной, к которой в плохую погоду мы еще не подбирали ключи... Лучше звезды... Пусть звезды.

Глава двадцать четвертая

ЖИТЬ

Автобус осторожно прижался к обочине, устало притормозил и замер — водитель устроил перекур посреди дороги. Тогда была весна, было теплое белоголубое небо. Казалось, тепло пришло к этому вечеру от парного молока, которое чуть-чуть добавили в голубые краски небес. У дороги уже поднимали слабенькие головки первые фиалочки. Был вечер, вечер перед завтрашним новым весенним днем, перед новым всплеском солнца, тепла, перед новыми потоками воды, перед новыми, появившимися из-под снега лесными дорогами... Завтра я пойду по этим дорогам. Но Аркадий Кушаков уже никуда не пойдет в эту весну.

Дикий, неожиданный случай: нож бульдозера опустился на ноги — и человек оказался на больничной койке... Еще несколько часов тому назад я видел его, худого, желтого, видел его ноги, прикрытые простыней, и хорошо знал, что этим ногам уже не придется ходить ни нынешней весной, ни нынешним летом. И сейчас теплое весеннее небо совсем не так, как хотелось бы, светило мне после тихих, но прямых и сильных слов, произнесенных Аркадием: «Ничего, мы в лесу, как на войне, а на войне раны не считают». Помню: я тогда шутил, просил сестру оставить рядом с Аркадием койку и для меня, ссылаясь на те неожиданности, которые могут встретиться уже на завтрашней лесной дороге. Аркадий тоже пытался шутить, просил не лезть в пасть зверю именно сейчас, когда вот-вот должен начаться гон медведей...

Я помнил эти слова, как помним мы обычно знакомые и без напоминания истины, помним не остро,

как говорится, до поры до времени — да и надо ли помнить все время, что может ждать тебя впереди каждую минуту, если этой минуты может не быть совсем... А если будет? Тогда, пожалуй, у тебя найдутся и силы, и верные решения, найдутся сразу, как у хорошего солдата, неожиданно встретившего врага...

Тогда я ждал первый лед на озерах, ждал, чтобы заглянуть в тайны зимней воды. Домашнее озеро еще не держало — там был не лед, а хрупкий слоеный пирог: слои воды и слои снега; эти слои можно было осторожно покачивать ногой и хорошо слышать, как под слоем чуть смерзшейся мутной каши шуршит вода... Что было дальше? Я хорошо помню, как желание поскорей выйти на лед привело меня на Часовенное озеро, помню, как лед озера проминался под сапогом, но не шуршал слоеным пирогом, помню еще и еще шаги дальше от берега и неожиданную легкость, с которой тело погрузилось в воду...

Пожалуй, этот случай мало чем отличался бы от купания в холодной воде, если бы не жестокий мороз. До берега пришлось добираться долго. Потом я выбежал на бугор, хотел вылить из сапог воду, но вода уже не выливалась — она стала льдом. Оставалось бежать, бежать к дому, к печи.

До дома было не более двух километров, но эти километры предстояло преодолеть с уходящими в мороз ногами... На полпути ноги уже не чувствовали под собой дороги, я уже падал, с трудом поднимался и тогда-то узнал предательское чувство успокоения. Это чувство жило в моем сознании, словно оно могло быть выражено просто: зачем бежать, отдохни, ведь все равно сильнее не замерзнешь, — но эти слова покинули меня вместе с сознанием, и человеку, еще не прошедшему все свои дороги, осталась одна-единственная подсознательная программа действия: «Надо жить!»

Уже потом, после печи, после горячего чая, после случайно обнаруженной таблетки тетрациклина и многих зубчиков чеснока, я внимательно разобрал свой собственный путь... Оказалось, я просто полз по снегу, полз, наверное не помня, что делал, по дороге потерял шапку, загребал голыми руками снег, иногда сбивался с пути, но все-таки нашел свой дом и, тоже не помня как, оказался в печи...

Первое чувство, вернувшееся ко мне, было чувство жажды и ощущение сырости под боком. Жажда пришла с жаром, а сырость явилась из оттаявших сапог, брюк, куртки... Потом надо было встать, добраться до постели и долго лежать в тупом бреду... Но жажда жить победила и здесь. Она подняла с постели, заставила развести огонь и согреть чай.

Вот эта жажда жить помогла и Аркадию встать и сделать первый шаг оттуда, откуда дороги в лес никогда не начинались. Были отчаяние, сомнение, мысли о конце от собственных рук, но все ушло, все стало уделом прошлой слабости — Аркадий встал, и, наверное, то первое письмо ко мне после года молчания писалось им не только для того, чтобы восстановить переписку:

«...Про лес: на меня такие воспоминания болезненно не действуют — ты это зря. Зря лишь потому, что давно меня не видел, вернее, не видел после больничной койки, и напрасно думаешь, что я недвижимый калека. В любой день способен сходить в лес. В январе у своего поля ставил капканы, дак трех лисиц поймал, и с Васькой один раз сходили, куницу принесли. Надеюсь, ты меня понял...»

Вспомнив эту не очень веселую историю, но историю, как и большинство лесных событий, с хорошим окончанием, я не могу не коснуться еще одной детали нашего разговора с Аркадием в городской больнице...

Тогда, на обочине дороги около отдыхающего автобуса, я вспоминал не только худое, желтое лицо человека, лежащего пластом на больничной койке, не только его желание все-таки продолжить начатые тропы — я вспоминал, что желание жить дальше крылось не в стремлении сохранить достигнутое, уже полученное от жизни... Там, на больничной койке, Аркадий думал совсем о другом. Он думал о весне, о небе, тяжело болел душой, что эта весна пройдет без него, а ему так и не придется увидеть голубой от воды лед озера... Такой лед обычно уходит из озера по реке не очень громко. И это даже не лед, а еле скрепленные друг с другом высокие ледяные столбики. По дороге столбики рассыпаются, раскрываются вдруг ослепительно белыми букетами и тут же тонут, как тонут в воде тяжелые, мутные от времени щепки гнилого дерева. И может быть, после того льда, о котором вспоминал Аркадий, мое весеннее небо вдруг ожило, по-настоящему затеплилось, пообещав назавтра новые яркие краски, новый светлый день.

Небо, солнце и просто зимнее утро особенно засветились для меня и после случая, который произошел на льду Часовенного озера. До этого небо, солнце и свет дня тоже были, но их отодвигали забота, работа, усталость. Но свет дня вернулся ко мне, подошел совсем близко и остался один на один с человеком, который после болезни первый раз сел у окна за свой столик...

В избе было холодно, я еще не знал, сколько дней пролежал в постели, счет дням я восстановил уже потом, когда сверил свой календарь с календарем людей. Но тогда о жизни и людях мне напоминал только слабенький огонек на еловых щепках, огонек маленького костра, разложенного прямо на шестке... Дров в избе не было, за ними еще надо было идти на улицу в мороз, а пока я грел руки у живого теплого

огонька, видел за окном солнце, видел свет дня и как-то особенно внимательно и бережно смотрел и на тщедушный огонек, и на обмороженное, уставшее за год работы светило... Наверное, тогда мне было просто хорошо от сознания, что солнце на небе все-таки есть.

А потом я топил печь, варил картошку, грел чай, потом положил сушиться свои потрепанные сапоги и сношенные за год дорог портянки и был вполне доволен и этими давно просившими замены сапогами, и стершимися в сапогах кусками холстины. И наверное, именно тогда я по-иному понял большую радость и Ивана Михайловича, и Аркадия Кушакова просто от стакана чаю, просто от удобной, хотя и не всегда новой, обуви. Нет, эта радость была не от смирения с трудными условиями работы, не от недоступности чего-то более дорогого — это было трезвое и умное чувство человека, умевшего радоваться всему и довольствоваться только самым необходимым.

В следующий раз просто небо, просто солнце, просто свет дня я по-новому оценил вскоре после разговора с Аркадием Кушаковым. Аркадий оказался прав, когда просил меня быть поосторожней на лесных дорогах во время медвежьего гона...

Я только что занес в лес часть продуктов и возвращался за новой ношей, возвращался несколько беззаботно и почти столкнулся с разгорячившимся медведем-самцом. Медведь чуть не сбил меня с ног. Потом я долго восстанавливал по следам все детали события и неприятно обнаружил только свою вину.

О своей оплошности я долго старался не вспоминать вслух. Рассказал лишь Петру Мушарову. Петр выслушал доверчиво и понятно и посоветовал мне подождать ходить в лес. Но ждать не хотелось.

И снова дороги, снова ручьи, снова стремление поскорей туда, где медведи начали свою новую жизнь, жизнь нового года своего «медвежьего государства».

Но мои дороги, наверное, стали более осматрительными. Нет, это была не трусость — это было начало того опыта, которым богаты и Иван Михайлович, и Петр Мушаров, и, конечно, Аркадий. И пусть даже опытного человека может поджидать в лесу самая неожиданная опасность, но до тех пор, пока есть лес, люди будут идти, идти, чтобы найти новые дороги, принести другим новые плоды своего труда, чтобы получить новые проценты с капитала природы и даже встретить новые опасности, встретить их просто, помериться силой со стихией, а когда стихии удастся победить, сильно и мужественно произнести слова о ранах, которые не принято считать, и снова оставить себе неиссякаемую жажду жить там, где дороги людей еще не окончились.

Глава двадцать пятая ДО СВИДАНИЯ, ПТИЦЫ...

Раньше я всегда встречал с лебедями весну. Весной лебеди были белые и высоко. От высоты птицы казались счастливыми. Через шум города я не слышал песни этих птиц, но они обязательно должны были петь... Тогда я еще совсем не знал, что лебеди умеют не только петь. Я читал охотничьи рассказы, где один лебедь погибал без другого, очень верил этим рассказам, но совсем не предполагал, что рыдать могут все лебеди сразу... И теперь на озере я ждал лебедей. Они должны были лететь обратно на юг, и мне казалось, что они пролетят надо мной.

Первых лебедей я увидел неожиданно и далеко. И они летели совсем не на юг — лебеди летели обратно на север после нескольких дней леденящего шквала...

До шквала было тепло и тихо, как летом. Только зеленый цвет сменился на желтый и бурый, а между этими цветами вспыхнули все полутона расписной осени. Все как под Москвой, только цвета были чище и ближе от прозрачного воздуха и не очень высокого голубого неба. Правда, с берез и осин нет-нет да и

падали листья. Они падали редко и медленно, тихо ложились на воду, поднимали ножки и долго бродили по озеру цветными игрушечными лодочками. Пассажирами в этих лодочках были крупные капли живой росы. Я находил такие крошечные суденышки и подолгу рассматривал в беспокойное зеркальце свою обросшую физиономию и близкое северное небо...

Шквал пришел без объявления войны. Он свалился с севера, смешал озеро, осень и краски. Три дня сорвавшийся с цепи полярный пес грыз, рвал и мучил все живое и тихое, оставленное летом. Потом пса поймали, жестоко избили и снова посадили на цепь. Он еще тяжело дышал, и с севера долго потом тянулся ко мне уставший дымок из собачьей пасти.

Когда прошел шквал, я не узнал ничего. Не было берез, желтого тростника, оставались только потемневшие, нахохлившиеся перед зимой ели да ломкая трава под ногами. От яркого и светлого остались лишь холодные ветви осин да сжавшиеся под ветром листья вчерашней малины. Листья вывернулись светлой стороной наружу и теперь мертво индевели по берегам озера...

Я не нашел в лесу почти никого из вчерашних знакомых и выехал на воду. На озере были гости. Это были поспешные и суетливые в своей дороге к теплу серые и черные утки. Утки носились шальными стайками, падали на воду, снова куда-то неслись. Пожалуй, они были очень беспокойными и немного трусихами — они мчались сразу туда, куда надо попасть, чтобы больше не собираться в дорогу до весны. Утки мчались на юг. А лебеди летели на север.

Я еще раз доставал компас, проверял страны света. Все было на месте: и юг, и восток, и запад... Почему же они летят на север? Лебедей много. Птицы шли высоко и молча. От них оставался бело-голубой цвет, легкость дня и беспокойство сердца...

Это было уже в конце сентября. Луна появлялась позже и ущербней. Коптилку приходилось жечь дольше, керосин выгорал сверх положенной нормы, и луна часто приходила ко мне уже в темноте. Цвет луны менялся в течение ночи. Сначала луна появлялась в малиновых или желтых тонах. Потом ранние цвета выгорали, выхолаживались, и луна останавливалась перед моим окном белой и чистой. Красные тона над лесом и яркая чистота луны перед моим окном обещали на завтра холодное и ясное ведро. После такой ночи солнце вставало далеким и мутным от морозного тумана, а трава и крыша дома долго холодели под жестким инеем... Когда луна вдруг не приходила, угадывать завтрашний день было трудно.

В ту ночь тоже была луна, белая и холодная, как льдышка в темной проруби. Ее можно было достать рукой, но я боялся обжечь морозом пальцы. Мороз расплывался вокруг луны белым туманом, как новорожденный ледок под еле заметными язычками ветра. А ветер снова гудел за окном, ломился в стены, в дверь, рвал крышу и громыхал поваленными деревьями... Сейчас ночь, сейчас не видно, как летят по земле обломки листьев, клочья травы, огрызки тростника, как все это перемешивается с пеной, брызгами, схватывается и застывает на камнях тяжелыми, разбитыми при ударе комьями... Сейчас ночь, и не видно озера. Я знаю — оно свирепо и хищно. Такое озеро встает всегда мертво и жутко. От воды остается поле боя: горбатый, непрочный и хмурый лед — это разорванная на клочья волна не успела добежать до берега и погибла. И долго потом ветру и снегу надо зализывать рваные ледяные рубцы. По такому озеру ходить трудно и опасно.

Лед может быть только к утру. А сейчас ночь, луна и новый шквал. И в шквале через луну летят лебеди. Они летят ночью в морозе и кажутся далекими и неживыми,

будто тени, только очень тонкие и изящные... Раз-раз — взмах полосок-крыльев; раз-раз — сначала первый, потом второй, потом по очереди все остальные, и снова: раз-раз... Лебеди улетают. Мне холодно за них, но я совсем спокоен — сегодня ночью они летят правильно, на юг.

Но лебеди вернулись уже назавтра... Утром не встало озеро, и на озере были белые птицы. Сначала мало, потом больше и больше. Беспорядочные, жуткие стаи растерянных птиц. И лебеди снова шли на север... Все известное мне о лебедях спуталось, смешалось и погибло в стоне птиц. Я не мог понять, что держит этих сильных, здоровых птиц здесь, на умирающем озере, что мешает им уйти дальше туда, где тепло и солнце. Но лебеди никуда не собирались улетать. Они оставались, били крыльями наступавший на них лед, держали воду и стонали, будто прощались с чем-то очень большим и близким. И лебеди победили. Лед растаял, и большие белые птицы широко и счастливо расплылись по озеру.

Лебеди исчезли через несколько дней. Я был спокоен за них, знал, что там, на юге, их встретит теплая вода, и даже придумал научно обоснованные оправдания лебязьему горю... В стае могли быть неоперосшие птенцы, могли быть больные птицы, мог подвести вожак... Может быть, не знаю, но все-таки хорошо, что лебеди наконец решили улететь...

Я проводил лебедей, собрал свое имущество и теперь дожидался только крепкого мороза, чтобы по прочной, звенящей тропке выйти из леса. Крепкий мороз пришел, но я еще несколько дней после этого оставался на берегу своего озера — на озере среди ледовитой стужи неожиданно появилась еще одна лебязья стая. От тех дней и остались в моем дневнике эти последние записи:

«Первый день. На озере еще есть вода, ее мало, льда больше. В ночь мороз. В доме жарко, но на полу стынет вода.

Второй день. Озеро встало. Так я думал вначале — я не видел полыньи. Серая вода была закрыта птицами. Лебедей много. Мороз режет лицо. Не могу понять, почему не улетают.

Третий день. Мороз. Ночью от мороза трещали стены. В полынье лебеди! Что с ними? Оттуда только хлопанье крыльев и стон...

Четвертый день. Что с птицами? Почему не улетают? Мороз жуткий. Им не уйти на юг — синоптики обещали мороз вплоть до Киева. Уходите! Стрелял в воздух — хотел прогнать. Птицы поднялись и стонали надо мной. Птиц не видно — только лапки и полосы у клюва. Все птицы белые — птенцов нет. Идут легко и сильно. Упали в полынью. Бьют крыльями, держат воду. За птиц страшно.

Пятый день. Птицы ушли днем. Несколько раз облетели озеро, упали в полынью и раскатились в стороны — полынья успела замерзнуть... Птицы уходили страшно. Я теперь, наверное, немного знаю, что такое лебединая песня...»

Последняя запись в дневнике:

«Теперь я знаю еще одну лесную сказку-правду. Я слышал ее много раз, но еще тогда, когда выстрелами в воздух хотел прогнать лебедей, не очень верил этой сказке. Я был жесток, я гнал птиц и еще не знал, что лебяжье горе не уместится в каждом человеческом сердце... Дымилась умирающая вода, от озера оставалась только узкая серая полоска, и на этом последнем клочке живой воды, как в сказке, били крыльями лед и стонали белые-белые лебеди...

Раньше лебеди были незаметными серыми птицами. Они мирно покачивались на теплой летней волне и никогда не думали, что однажды им придется покинуть

свое озеро. Но беспутный холодный ветер не знал, что такое родная вода. У этого ветра не было ни матери, ни отца, ни дома. Он носился из стороны в сторону, пугал лесных жителей и ломал деревья. Лесные жители боялись его, и только лебеди, большие, сильные птицы, никогда не прятались от ветра. Они не замечали его бранных слов, не обращали внимания на его выходки, а если и удавалось ветру слишком глубоко перемешать в озере воду, то лебеди выплывали на гребни волн и терпеливо пережидали непогоду. Непогода не пугала птиц, они не боялись крутой волны на озере — ведь это озеро было им родным. Но ветер решил по-своему. Он привел с собой мороз. Тяжелый лед сходил с обоих берегов и стягивал воду. Давно улетели искать теплые места трусливые утки, давно покинули свою родину тоскливые журавли, но лебеди оставались, они били крыльями лед, держали последние остатки воды, не давали ей уйти совсем и очень верили, что никакие морозы и ветры не смогут разлучить их с родным озером... Но ветер все-таки победил, и смелым птицам пришлось подняться на крыло. И тогда люди увидели, что лебеди стали белыми. Птицы обморозили свои крылья в неравной борьбе с холодным ветром... С тех пор белые крылья лебедей всегда напоминают людям о большой любви к родной земле. С тех пор белый цвет и стал для людей символом верности...

Ветер и мороз победили и на этот раз. На следующий день птицы снова поднялись на крыло, но полынья успела замерзнуть. Воды не было, не стало озера, которое, очень может быть, эти птицы на своем откровенном языке называли родиной. Безжалостный наглый ветер тащил по льду обломки тростника, колючий шершавый снег и темные комочки недавних листьев. Но лебеди не могли улететь даже сейчас, не могли поверить и долго и низко рыдали над погибшей водой. Озеро ушло от них, но они не могли уйти от

своей веры... Вот почему я не мог прогнать лебедей. Я кричал им: «Летите! Летите скорей! Вы погибнете! Воды нет! Нет далеко! Я все знаю — я слушал радио! Зачем ваши круги!» Но лебеди рыдали круг за кругом и с каждым кругом теряли силы и еще один шанс на спасение...

Теперь я хорошо знаю правду о белых птицах. Я учился у лебедей. Учился еще тогда, когда выстрелами хотел прогнать их. Мне было стыдно потом. Я стоял внизу и просил уходящих лебедей: «Простите, только простите!» И лебеди шли низко и, наверное, очень верили, что я никогда-никогда не буду стрелять в них.

Я тоже сейчас не могу уйти от своего озера. Оно совсем другое — оно мое. У других, наверное, тоже есть свои озера, но у меня только мое. Свое озеро я нашел недавно. И об этом озере, наверное, можно спеть и лебединую песню...

До лебединой песни мне, пожалуй, еще далеко. И рядом с последними, уходящими на юг птицами я пытался вспомнить другую песню, которую пели в моем домике на берегу Домашнего озера три русские женщины. Та песня была песней лебедей и песней человека, там лебеди прощались со своей землей, со своей любовью, а человек говорил им простые слова: «До свидания, птицы...»

Если бы я знал все слова, то, наверное, на пути из леса, на пути к временной разлуке со своим озером я бы пел именно эту песню, песню улетающих птиц... Но слов песни мне не удалось запомнить, и я сказал своим птицам, своему озеру просто «до свидания...».

Уже где-то на полпути к людям мне вспомнилась еще одна песня птиц. Эту песню я тоже слышал всего один раз, тоже не успел всю запомнить, но что-то осталось, как остается человеку самое главное после хорошей, доброй встречи...

Наверное, автор песни не обидится на меня, если я вспомню ее не совсем точно. Это была хорошая песня, и я не мог не повторять ее, когда покидал, пусть только на время, свою землю... Моя земля была не всегда теплой, она знала жгучие морозы и ледовитые ветры, она знала сплошные дожди и топи болот, но это была моя земля. И если бы тогда, на прямой дороге перед Пашевым ручьем, мне встретился какой-нибудь не слишком смысленый журавленок, я, пожалуй, повторил бы ему те самые слова, которые остались у меня в памяти:

«Пусть та земля теплей, но родина милей, милей — запомни, журавленок, это слово!»

В МЕДВЕЖЬЕМ КРАЮ БАЛЛАДА О РЫБАКАХ

Ловить рыбу я начал давно — лет тридцать тому назад. С тех пор в памяти осталось большое уральское озеро, моя удочка-палка, вырезанная из ольшинки, витая волосяная леска, пробковый поплавок и стайка плотвичек около моего крючка.

Эти плотвички почему-то совсем не попадались ко мне на крючок. Они хитро выжидали, когда у меня кончится терпение, когда в сердцах я выдерну удочку, а с крючка слетят и, медленно покачиваясь, станут опускаться на дно крошки хлеба. И тут плотвички резво кидались к хлебным крошкам — и в прозрачной воде я хорошо видел, как они раскрывали рты, чуть вытягивали вперед губы, а потом снова собирались в стайку и снова ждали, когда я заброшу удочку и когда у меня снова не хватит терпения...

В кусты на берег озера я уходил тайком от домашних — так далеко уходить мне еще не разрешалось. По-этому меня часто искали. А когда цель моих тайных исчезновений стала ясна матери, она попросила присматривать за мной рыбаков из рыбацкой артели. С этого все и началось...

Невод, тони, рыбацкие лодки, темно-зеленые бока громадных щук, черненное серебро глубинных лещей и, конечно, большой рыбацкий костер после работы. Медленный, но жаркий огонь под костром, медленные пузырьки кипящей густой ухи, поздний вечер, деревянная ложка, душистая от настоящей озерной рыбы, ломоть ржаного хлеба — ситника, молчание за ухой, деловое, чуть усталое молчание людей, только что окончивших труд, а потом кружки с крепким чаем и,

наконец, рассказы, настоящие рыбацкие рассказы — правда, которые и услышишь только после богатой тони, густой ухи, за крепким чаем, на берегу озера, рядом с темным бортом лодки, у которого спокойно и тоже, наверное, устало после целого дня ветра качается вечерняя волна.

Богатый от сильного труда, яркий от воды и неба, таинственный от частых удач и неудач, мир рыбаков стал с тех пор и моим собственным миром. Вслед за красками, богатством и тайнами ко мне пришли красивые и известные только рыбакам слова. Сколько этих ярких и сильных слов, собранных на Урале, на Нижней Волге, на Оке и, наконец, здесь, на Севере, осталось со мной. Я полюбил их и не могу не повторять без конца, как хорошие стихи, названия снасти, глубин...

Крылья, кнея, концы... — это о неводах. Тетива, обора, грузила, цевки... — это о сетях. Следом за оборой, цевками и грузилами к сетям подходят шуйка и полка. Шуйка — это легкий еловый или осиновый челночок, куда укладывается тонкая нить, а потом на полку, на гладкую планочку размером в пол-ячеи, эта нить ложится узел за узлом, вяжется и вяжется стенка сети, вяжется ряд зарядом.

Морды, мережи, заколины, режь — что-то сильное, от древнего промысла на Руси звучит в этих простых и ясных для рыбака словах.

Я любил ловить рыбу и удочкой, уходил своими собственными тропками в аксаковскую мечтательность над поплавком, забывал на это время все остальное, видел только поплавок, а потом по ночам этот поплавок являлся ко мне во сне и все время вздрагивал, куда-то уплывал и тонул.

Поплавок, утренние полосы голубого тумана над сонными, мягкими листьями кувшинок, высокая, седая стена тростника, утлая, замшелая плоскодоночка

приводили к другим краскам — краскам покоя и созерцания. Но эти краски и эти сонные листья кувшинок под синим дымком утреннего тумана не оставили меня рядом с собой. Мне больше нравились волны, удачи и неудачи больших тонь, сложенная работа людей у крыльев невода, и, наверное, поэтому я и считал труд рыбака самым светлым и самым святым трудом на земле.

Ивана Михайловича четвертый день не было дома. Я ждал его назавтра. Ждал один в большой рыбацкой избе на берегу таежного озера. Завтра он должен приплыть — таков уговор. Если его не будет, я отведу от берега лодку, пройду озеро, оставлю лодку в другом конце озера, в Концезерье, и пойду навстречу по трудной таежной тропке на его озеро.

У каждого из нас в тайге были свои озера. Я ловил рыбу на Долгом озере, долгим и глубоком, как темная река среди черных еловых берегов. Мое озеро было порой тяжелым и неверным и от этих угрюмых берегов, и от кривых ветров, что сваливались с еловых вершин всегда дерзко и неожиданно.

Такие ветра легко держала шитая онежская кижанка, но только не наши долбленки-челноки, куда двум рыбакам сесть порой не хватало места.

На моем озере стояла охотничья избушка. В избушке была рудная, с дымом в дом, печь. Когда печь топилась, я открывал доску под потолком, и плотные полосы дыма сначала лениво, потом все быстрее и быстрее добирались до этой прорези-трубы и долго качались в свете прорези. Когда было солнце, на полосы дыма падали тени осиновых листьев. Тени листьев качались вместе с дымом — и казалось: не дым выходил из избушки, а листья осин плыли и плыли ко мне.

Печь протапливалась. Я выгребал угли, выметал под печи, готовил рыбу: чистил, потрошил, резал на куски. Потом на широкой осиновой лопате-весле рыба уходила

в печь и плотными рядами ложилась поверх омоченных в озере стеблей тростника. Так рыба сохла. Сначала пеклась, дымилась. Иногда я вынимал из печи такой дымящийся печеный кусок, круто посыпал его солью, дул, чтобы не обжечься, и с аппетитом ел. Остальные куски к утру высыхали и становились тем самым сушником, который в мешках за плечами я выносил с Долгого озера в наш рыбацкий дом. Там сушник складывался в корзины, а потом снова за плечами или в плотных тюках на спине сельповской лошади отправлялся по таежной дороге к магазину, к людям.

Зарабатывали мы не много: я меньше, Иван Михайлович чуть больше. Иногда месяц промысла приносил мне до сотни чистого дохода. Этого хватало на муку, на сухари, сахар, крупу, махорку, спички и на бутылку крепкого вина, — чтобы снова уйти в тайгу, сначала в рыбацкий дом, а потом на свое Долгое озеро, которое в общем рыбном промысле страны, наверное, значилось малым непромышленным водоемом...

Озеро Ивана Михайловича было обманчивым, как леший-старик. Оно встречало рыбака всегда добро, будто собиралось рассказать ему тихую, теплую сказку. Сказка манила. Ты уходил на долбленке далеко от берега, забывал об осенней кривой погоде — и вот тут-то леший-старик, рассказавший тебе добрую лесную сказку, вдруг оборачивался настоящим чертом.

Ветер хрипел в еловых вершинах, волна гудела под лодкой, как огонь в сумасшедшей печи. Кол, за который ты привязывал лодку, не выдерживал хрипа и воя, с треском разлетался и долго волочился сзади тяжелым, тупым обрубок. Этот обрубок, как якорь, держал лодку по ветру, и тебе оставалось только резать и резать веслом, как хорошим ножом в медвежью грудь, врезаться в волну.

В такой ветер казалось, что ты не плывешь, а только держишься на гребнях крутых волн. Но вот берег.

Последняя волна все-таки догнала тебя и швырнула в лодку с десятков ведер ледяной воды.

Если бы ты не обогнал волну там, на озере, если бы волна успела схватить тебя далеко от берега, то этих десяти — пятнадцати ведер вполне хватило утлой лодчонке, чтобы она остановилась и оставила тебя посреди озера одного...

Два дня кряду ветер-черт хрипел над тайгой. Я ушел с Долгого и вернулся в наш рыбацкий дом. Ивана Михайловича дома не было — он ушел на свое озеро и оставил мне короткую записку: «Жди в субботу». По зарубкам, которые старик оставлял на косяке двери, по своему календарю я подсчитал, что суббота будет завтра.

Я топил печь, варил крутую уху из окуней, жарил окуневую икру, уже нагулянную за лето до туготы, курил, прихлебывал из кружки чай-деготь и не смотрел на озеро.

Потом ветер сорвал под окном пролет забора. Я вышел на улицу, занес упавший пролет за дом и обернулся к озеру...

Далеко, за Сухим мысом, то вскакивала, то снова падала в волну лодка. Лодка шла ко мне из Концезерья — это была его лодка. Старик не выдержал, устал ждать погоду и вернулся.

Озеро, где стоял наш дом, было не страшным: ни мелководных луд — камней, что разом прошьют осиновое дно долбленки, ни ветров-изворотней, как у меня на Долгом. На Домашнем, как мы звали свое озеро, ветра всегда шли прямо и ясно. И даже в самый тупой шквал всегда можно было скрыться за мысом или свернуть в лахту. Но старик не сворачивал. Я спустился к воде и ждал его.

У старика было правило — привозить со своего озера тройку — пяток окуней для пирога. На уху рыбу

доставал я, а вот пирог пек сам Иван Михайлович, и только из тех окуней, которых ловил на своем озере.

Это были чудесные рыбы. Тяжелые, как карп-двухлетка, жесткие чешуей и острые перьями, они всегда были какого-то не окуневого, красно-багрового цвета. И только тонкая зелень поперечных полос не давала ошибиться — конечно, это были окуни.

Ловил их старик не в сети, а на удочку у какой-то Средней луды, известной только ему одному. Вылавливал мало, будто берег, но всегда привозил.

Сейчас он подъедет, выбросит на берег весло, выставит за борт деревянную ногу-протез, потом появится и сам из своей лодчонки-душегубки, встанет в воде прямо, крепко, подберет из лодки мешок с сухой рыбой и лишь потом наклонится за окунями...

А потом начнет творить тесто, пресное, без закваски. Раскатает широкую лепешку будущего пирога на березовых досках стола, засеет ее солью, аккуратно положит три рыбины: две головами на себя, одну на себя хвостом, чтобы пирог получился ладным, ловким, опять засеет крупной солью, завернет края пирога и будет ждать, когда протопится печь.

Печь под пирог Иван Михайлович топил сам. А потом на столе задымится, задышит ржаным духом темная шершавая корка. Острый нож, который потрошил рыбу, шкуруил белку и лося, спасал от медведя, самым краешком лезвия-бритвы пройдет по печеному боку, чуть-чуть сдвинет крышку пирога и дастдохнуть сочным запахом не то выстоявшейся ухи, не то жареной рыбы... Это был особый запах — запах печеного рыбника. Им можно было дышать долго и легко, собирая по струйкам аромат ржаного теста и распаренных окуней. А потом чуть надломить корочку свежего пирога и, пока не трогая рыбу, почувствовать необыкновенный вкус сочного от рыбы пресного теста...

А потом будет чай, будут рассказы, скупые таежные рассказы, но много рассказов. А потом я последний раз прикурю от коптилки, задую тоненький огонек, лягу на свою постель и буду вспоминать то ли свое неверное Долгое озеро, то ли широкие волжские плесы и тяжелый, свинцовый бой осетра на ямах, а может, придут мне на память те самые кусты на берегу уральского озера, откуда меня по просьбе матери как-то раз вытащили рыбаки, но не отвели домой, а оставили у рыбацкого костра навсегда...

В этот раз Иван Михайлович окуней не привез. Правда, по пути в Домашнем озере подцепил на дорожку пару щучек, но из щучек пирога делать не стал. Печь в этот раз топил я. Потом мы пили чай, молчали, я последний раз прикурил от коптилки, погасил ее, лежал, старался что-то рассмотреть на темном от ночи потолке и не мог спать.

Старик поднялся с постели, снова засветил огонь, покашлял, простучал на своей деревянной ноге по полу от постели к двери, вышел на улицу, вернулся, не гася коптилки, снова лег, с грохотом спихнул на пол протез и стал рассказывать о ряпушке...

Ряпушку старик ловил еще до войны. К осени, когда в наших лесных озерах рыба уходила на глубину, замирала там до весны, рыбаки запрягали лошадей в легкие волокуши, грузили снасть, продукты, подвязывали к волокушам лодки-долбленки и по лесным дорогам шли далеко на северо-запад. Там, где кончалась архангельская земля и начиналась голубоглазая Карела, среди скал и витых ветром сосен до самой зимы светились глубокие, буйные озера. Там, в конце долгой дороги, рыбаки выпрягали лошадей, спускали на воду лодки и до самого ледостава ловили ряпушку...

Ряпушка была небольшой быстрой рыбкой размером с короткий ножик. Чем-то эта проворная рыба

походила на неугомонную салаку, что с весны до конца лета сплошными бестолковыми стаями теребила утреннюю и вечернюю воду наших озер. Эту салаку ловили все деревенские пацаны на крючок, сеткой-черпаком, собирали бьющихся о камни нерестовых рыбешек просто руками. От салаки за неделю жирели деревенские коты, салаку подбирали вороны и сороки, салаку сушили и жарили в каждом доме, но эта несмышленная рыбешка никогда не оставляла рыбаку чувства победы.

Салаки было много. Ее можно было ловить и ловить на тихой воде в ясные дни, не думая ни о волне, ни о ветре. Другое дело ряпушка.

Где была, где таилась весной и летом эта небольшая, но удивительная рыбка, почему не хватило ей теплых дней показаться, заявить о себе озеру?

Весной и летом ряпушка всегда куда-то исчезала. Но вот заряжали ледяные дожди, под хлестким северным ветром кипело озеро, и с глухим тяжелым рокотом крушила прибрежные камни тупая осенняя волна. Эта волна вместо пены и брызг швыряла на берег комья сырых листьев, измолоченные ветром метелки тростника и набухшие кубарики-бочечки с семенами кувшинок.

Иногда волна надолго уходила, и озеро испуганно стихало перед новым морозом. Мороз являлся тут же, вымазывал камни толстой ледяной коркой и запекал метелки тростника, обрывки листьев и бочечки кувшинок в мерзлые крутые валы.

Эти валы тянулись вдоль всего берега как раз по тому месту, куда дальше всего выбегала волна, и, наверное, поэтому казались главным ударным редутом зимы — сюда зима уже выбиралась из озера, и отсюда с новым северным ветром и новыми ледяными волнами она пойдет еще дальше вслед за очередным шквалом.

После ледяного шквала рыбаки с трудом отводили от берега лодки. Вода, попавшая в лодку, замерзала за ночь и оставалась на дне мутной тяжелой льдиной. Корма и бок, подставленные волне, как прибрежные камни, оплывали застывшей водой — и тогда лодка больше походила на глыбу льда, чем на ладную рыбацкую посудинку.

Но когда лодку все-таки удавалось столкнуть на воду, а потом среди наступившего затишья удавалось и добраться к дальним островам, рыбака всегда ждала встреча с ряпушкой.

У островов ряпушка в это время выбивала икру, нерестилась глубокой осенью, под самую зиму. Мерзли сети, лицо приходилось все время отворачивать от острого режущего ветра, коченели руки, перебиравшие снасть, пальцы не чувствовали весла. Но ряпушка шла удивительно верно, попадала в лодку и светло и чисто, как только что отчеканенный металл, серебрилась даже через густое месиво ветра, дождя и ледяных волн...

А потом в теплой избе на столе будет кипеть ряпушка, сваренная по-карельски, сваренная в глубокой сковороде с луком и картошкой. И усталые, промерзшие насквозь люди станут ждать эту кипящую сковороду, ждать стакан крепкого вина, потом кружку чая и папиросу. А потом теплый, спокойный сон до утра, в избе, у печи, а утром снова лодки, оплывшие льдом, снова ветер, дальние острова, сети, коченеющие руки, крутые волны, бьющие в борт, и снова ряпушка...

Ряпушка шла недолго. Рыбаки возвращались домой. Возвращались, когда падал снег и под полозьями волокуш трещал коричневый болотный ледок.

Иногда кто-то из них не возвращался. Его находили уже по весне, на разливах. Хоронили молча, отдавая дань земле и озеру и простому рыбацкому труду, который, как всякий труд, требовал от людей отдать ему все до конца.

...За ряпушкой старик не ходил уже давно. После войны в дорогу долго не пускал протез, а когда с протезом пообвыкся, рыбацкая артель распалась и идти уже было не с кем.

И теперь каждую осень, когда заряжали холодные ветра, старик болел. Он болел молча, и о его болезни я догадывался лишь по тому, с какой неохотой уезжал он теперь на озеро.

Казалось, к октябрю наши озера начинали старику надоедать. Его упрямое терпение, что помогало переждать любую погоду, кончалось, он чаще не выдерживал одиночества в тайге, раньше приходил со своего озера, реже уходил обратно и даже пресные рыбники пек теперь не так весело и легко, как совсем недавно, когда осень только-только показывалась на берегу озера.

Правда, и в наших озерах к октябрю качались от берега до берега тяжелые вымороженные волны, и здесь ветер выбрасывал на камни комья сырых листьев, метелки тростника и кувшинчики кубышек. Все было как там. Но в наших озерах ряпушка не водилась.

Теперь каждое утро я уходил на лодке к островам и проверял перемены. К октябрю мое Долгое озеро закрывалось для рыбака — оно было мелким, рыба из него осенью уходила, я забывал дорогу в тайгу и промышлял на Домашнем, на глубоких зимних ямах.

В эти ямы к октябрю собиралась щука. Длинный и прочный шнур перемета жег холодом руки. Я поднимал шнур из воды и еще далеко на шнуре слышал тупые толчки больших рыбин.

Шнур натягивался, легкая лодка шла от крючка к крючку. Толчки слышались ближе. Лодка замирала, ждала. Шнур перемета поднимался вверх, и на чисто-синей от мороза и низкого северного неба воде выигрывал темный круг от щучьего хвоста.

Щука стояла у самой поверхности, выставив спинной плавник, и ждала. Ждал и я. Это была охота, тонкая и долгая охота — взять в лодку пудовую рыбину, зацепившуюся за крючок...

Метр за метром я крался к щуке, которая еще не стала добычей. В сак рыбина не входила.левой рукой я держал шнур перемета, выравнивал лодку. Правой взводил курок ружья, вжимал приклад в плечо и вел вороненую планку двустволки снизу вверх по воде. Вода оставалась под срезом стволов. Стволы чуть прикрывали темный широкий плавник ближе к голове — и вслед за выстрелом в воду врезалось весло.

Рыбина подтягивалась к лодке тяжелой и вялой. Темно-зеленое тело щуки переваливалось через низкий борт и замирало у твоих ног замшелым метровым поленом.

А шнур перемета снова жег холодом руки. Когда подбивал встречный ветер, шнур резал ладонь. И ты снова и снова слышал далекие, тупые толчки в глубине, заранее угадывал, где сейчас расплывется по тяжелой октябрьской волне медленный, мелкий круг от щучьего хвоста, снова выводил лодку, одной рукой поднимал ружье — и еще одна зеленая рыбина с оранжевыми разводами по бокам вытягивалась у твоих ног...

С озера я приезжал мокрый. С трудом стягивал с себя высокие сапоги, сбрасывал ватник, раздевался совсем. Ледяными ногами искал голенища валенок, горячих от печи, забирался на печь, курил и ждал, когда холодная боль в руках и ногах после озера пройдет.

Когда старик был дома, он встречал меня с воды и протягивал горячую кружку. Кипяток, наверное, жег губы, горло, но ты не чувствовал этой горячей боли, как не чувствует тело, распаренное в бане, снега и ледяной воды.

А к вечеру над низким бортом долбленки снова подпрыгивала ледовитая волна, норовя перескочить через борт, обдать тебя, щук, ружье. Когда к ночи на озеро ложилась морозная, фиолетовая тишина, лодка возвращалась домой уже через хрусткие густые льдинки. Сезон заканчивался. Пора было убирать снасти, чтобы ночной мороз не укрыл перемет льдом и не оставил его в озере до самой весны.

Снег глубоко закидал лесные дороги. Из тайги мы выходили трудно, оставив в своем рыбацком доме рыбу и вещи. Когда мороз через густой снег пробился к болотам, на лошадях я вывез рыбу и снасть, рассчитался с сельпо, простился со стариком и ушел в город.

В городе я получил разрешение на отстрел лосей и снова собирался в тайгу. Но сборы тянул. Я жил у древней старушки, слушал ее песни и сказки, пил чай из большого медного самовара старой тульской работы. Мне было тепло и просто здесь, в крепком уютном доме, и, наверное, поэтому пока не хотелось никуда уходить.

По вечерам я шел в городскую столовую и долго сидел за кружкой хорошего ячменного пива.

Я любил этот городок, небольшой, северный, ладный и простой. Любил эту столовую, куда можно было прийти с собакой, где никто никуда особенно не торопился, никто не спорил, не ругался, где весь вечер можно было смотреть на самых разных людей, заходивших спросить тарелку кислых щей, отварную картошку с мясом и сто пятьдесят граммов российской водки перед долгой дорогой по позднему северному тракту.

У моих ног лежал пес, лежал всегда покойно и внимательно. Он не отзывался чужим и тоже чего-то ждал вместе со мной.

Зима уже торопила. Я знал, что снега в лесу много, что ходить по тайге с каждым днем все трудней и

трудней. Стояли настоящие лосиные погоды с ветром, когда к лосю можно подойти вплотную, снять его чуть не с лежки, а потом, свистнув, чтобы объявить о себе, бросить на лося собак.

Лесной бык пойдет разом, сильно и упрямо, но собаки остановят его. Крепкими рогами бык упрется впереди себя, будто в стену, и, чуть приподняв переднюю ногу с острым грозным копытом, приготовится к бою с собаками.

Потом услышит тебя, рванется вперед через собак и снова пойдет чащиной, мелькнув темно-бурым крутым крупом.

Ружье схватит мелькнувший бок, и на зимний лес хлестко ляжет короткий выстрел. Лось вздрогнет, качнется, чуть осядет на бок, встретивший пулю, а потом второй выстрел тут же остановит лося навсегда.

А дальше — дорога в деревню за лошадью и санями. Сани и лошадь останутся на дороге, и ты на плечах будешь выносить к саням лосятину.

Лосятину, как и рыбу, сдашь в сельпо, оставив себе совсем немного. А вечером хозяйка, где ты остановился, будет хлопотать у печи, выставляя на стол печеное и вареное мясо...

Все это было очень хорошо известно, и, наверное, поэтому я тоже не торопился в лес.

По дороге моя собака связалась с каким-то задиристым кобелем, ввязалась в драку, отстала, и я пришел в столовую один. Долго сидел, писал письма домой, трудные, длинные письма, в которых без конца не то объяснял, не то оправдывал свои лесные дороги.

Письма я не успел дописать. Грызня псов за окном оторвала от бумаги. Я вышел на улицу. У крыльца хрипели две собаки: одна моя, дурная и свирепая, другая тоже свирепая, но чужая. Над собаками стоял человек в ватнике и резиновых сапогах. Он стоял на

верхней ступеньке крыльца и с интересом разглядывал псов.

Мы поздоровались коротко и сухо и продолжали ждать, чем окончится собачий хрип.

Псы, пожалуй, не собирались серьезно выяснять отношения. Каждый из них чувствовал себя здесь хозяином и просто не желал уступать другому свирепые ноты.

Я позвал своего кобеля. Он не повернулся. Мой сосед по зрелищу тоже окликнул свою собаку — это был его пес, красивый палевый пес лайка.

Невысокие уши, густая псовина по хребту и широко расставленные лапы. Чем-то этот пес-зверовик походил на своего хозяина.

Я спустился с крыльца и встал между собаками. Собаки разошлись, но еще хрипели.

Хозяин палевого кобеля оттащил своего пса. Подошел к моему.

— Молодой?

— Третий год.

— Моему четвертый. Медведя держит?

— Держит.

— Серьезный пес.

Он улыбнулся легко и просто, толкнул меня в плечо, будто хорошо знал. А утром мы вместе ушли в тайгу...

Зима была трудной и бедной на охоту. Лоси стояли в наших местах недолго, вскоре ушли. Откуда-то прибыли волки, и мы дважды только чудом отбили от волков собак.

Белки в лесу почти не было — в лесу давно не было шишки. За куницей ходили далеко и не всегда удачно. По льду я пытался спускать сети, но рыбу доставали только для себя и для собак.

К февралю, со светлыми днями, снова ходили за куницей. Потом оставили охоту, перебрались к Ивану

Михайловичу в шумную семейную избу и принялись сажать сети и вязать мережи.

Старик следил за нами молча — видимо, знал, что в эту весну я уйду с наших озер и он останется один.

Это было трудное расставание, но я уже повторял про себя имена далеких буйных озер, где новой осенью мы будем ждать ряпушку.

На Кинозеро мы ходили еще по настам. Впряглись в санки, груженные снастью и продуктами, и с первой льдистой коркой на снегу попрощались со стариком.

Это была та самая лесная дорога, по которой когда-то Иван Михайлович уходил с рыбаками за ряпушкой. Только они уходили осенью на лошадях, а мы шли в начале весны от зимовья к зимовью, шли без лошадей, на лыжах, волоча за собой гнутые из березовых полудужий охотничьи санки.

Первый ночлег был на берегу Домашнего озера в нашем старом рыбацком доме. Топили ту самую печь, в которой старик пек рыбники, варили уху из сухой рыбы, душистую, крепкую, кормили собак. Вечером пели песни.

Утром пошел снег, наст раскис. Мы остались еще на день, потом еще и еще до нового наста. На старом точиле подправили топоры, выбрали с лезвий ножей севший металл, перетрясли сети, мережи. Снова все уложили, увязали и снова ждали.

Наста не было долго. Потом мы все-таки пошли. Ночевали в старых избушках. По дороге собаки связались с медведем, вставшим из берлоги. Мы бросили собак и ушли дальше. Собаки явились на другие сутки, вымотанные, но живые. У моего пса по спине светилась недавняя рана. Но рана уже позатянулась.

Под настом пошла весенняя вода, и мы торопились к ручью, что входил в Кинозеро, чтобы опередить плотву.

Ручей еще не сбросил лед, но плотва уже шла. Мы кололи пешнями лед, ставили мережи, подправляли старую печь и без конца чистили и сушили рыбу.

Рыбы было много. Уставали руки, тупились ножи. На большой сковороде остывала, разогревалась и опять остывала, дожидаясь, когда мы остановимся, сочная весенняя икра плотвы.

Рядом с избушкой мы рубили склад. Здесь под потолком на жердях, подальше от мышей, потом повесили рыбу, сухую рыбу в мешках, и ждали, когда откроется озеро.

Лодок у нас не было. Мы нашли подходящие осины и за неделю после плотвы сделали лодки.

Осина глухо падала на сырой снег. Топор обводил будущие борта, нос, корму и наносил по стволу узкую щель, куда следом за топором входило тесло и слой за слоем, как ложка из яичной скорлупы, выбирало ненужную древесину.

От осины оставалась лишь легкая скорлупка. Она парилась над медленным огнем, разворачивались борта — и вот уже свежая, пахнущая спелым деревом лодка-долбленка первый раз осторожно ложилась на мелкую воду весеннего разводья.

По разводьям мы ловили щук, темных от долгой зимы подо льдом. Каждый день на косяке двери оставались наши новые зарубки, по которым мы считали дни сезона и пойманную рыбу. Когда зарубок набиралось много, один из нас прихватывал ружье и собак и шел через тайгу на почту, куда приходили нам письма «до востребования».

Путь до почты и обратно занимал сутки. Мы ждали друг друга. Ждал один, кто оставался в избушке у озера. Ждал и тот, кто шел и возвращался обратно.

Письма мы читали молча — каждый свои. Эти письма долго потом лежали на столе рядом с папиросами, ножом, миской, деревянной ложкой. Мы

снова перечитывали их, подолгу держали в руках, но каждый только те письма, которые были адресованы ему.

После писем мы долго молчали и долго не пели по вечерам...

Весна шла медленно и тяжело, устав от мокрого снега и северо-западных холодных ветров. Когда северо-запад успокаивался, становилось проще и снова хотелось петь. Тогда далеко по озеру можно было слышать веселые и разгульные, как у настоящего праздника, слова широкой песни.

Я любил петь «Коробейников». Петь громко, не думая ни о голосе, ни о слухе, — просто петь и слышать, обязательно слышать себя рядом и себя-эхо.

Выйду, выйду в рожь высокую — там до ночи подожду...

Кого подожду? Зачем?.. Кого, я не знал... Зачем?.. Наверное, просто так, чтобы встретить человека, верного тебе до конца...

А увижу чернооковую — все товары разложу...

Какие у меня были товары?.. Сейчас на озере у меня была лодка, было весло — и это весло, и эта лодка пели и плясали вместе со мной.

Лодка послушно веслу вслед за песней качалась с борта на борт, вскакивала на волну и дрожала вместе с волной, будто отбивала жаркую чечетку по хорошим тесовым половицам...

Чу, идет — пришла моя желанная...

А навстречу мне с берега, тоже отплясывая и звеня,
неслась его шальная посудинка.

Две легкие осиновые лодки встречались,
расходились, снова сбивались бортами и отплясывали
на волнах.

Потом песня подходила к концу:

Знает только ночка темная, как поладили они...

Правда, песня еще хотела плясать, веселиться, у
нее еще были слова, но рядом с этой песней уже
просилась другая.

Лодки расходились, усталые весла лежали на
коленях, а по воде медленно плыло:

Милая, что тебе снится —
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег...

На берегу сторожили чуткие уши — наши псы. Псы
слышали нас и внимательно молчали. Они, эти псы,
хорошо знали, что сейчас две лодки разом коснутся
береговой гальки, из них медленно поднимутся два
человека и к каждому из них подойдет и тоже
медленно, но очень откровенно его собственный пес. А
потом теплая рука ляжет на голову собаки. Собака
прижмет уши и будет ждать, когда ты присядешь перед
ней на колени, откроешь лицо и это лицо можно будет
лизнуть теплым и мягким собачьим языком...

За лещами мы уходили по узкой протоке на лесное
озеро. Там мы снова подправляли печь и ждали леща.

После нереста щука ушла на глубину, отдышалась,
но с первыми цветами черемухи явилась опять и с
голодной жадностью бросалась к любой насадке.

Щуки бушевали по заливам до конца мая, снова скрылись в глубинах, и теперь мы ждали, когда следом за черемухой по берегу озера вспыхнет махровый огонек первых цветов рябины.

В протоке у густых кустов, оступившихся в воду, стояли наши мережи, снасть с крыльями, хитрая глубокая снасть. По крылу рыба добиралась до горла мережи, по конусу горла попадала в мешок и оставалась там ждать рыбака.

Мы проверяли мережи утром и вечером и внимательно следили за рябиной.

Рябина разгоралась не сразу, не везде одинаково сильно. Вот на высоком бугре появился первый белый, еще в зеленоватых тонах от нераскрывшихся цветов, огонек. К вечеру огонек стал ярче. И вечером этого же дня в мережу у Попова куста вошел первый лещ.

Он был темен от возраста и глубокого дна озера. Упругие костяные латы-чешуя не поддавались ножу.

Вечером мы справляли праздник — чуть сладковатая вязкая уха из лещевой головы и лещевого хвоста и белые, распаренные на сковородке куски жирной рыбы.

Ночь мы не спали. Стерегли мережи. И утром, еще в тумане летней северной ночи, мережа у протоки сильно вздрогнула. РванулсЯ кол, прижимавший хвост мережи ко дну. Закачалась вода. Волна, выбитая из сетки тяжелыми хвостами, дошла до берега и потерялась в молодой осоке.

К вечеру лещ пошел широко по всему заливу. Мы еле успевали вывозить рыбу к избушке, чистить и сушить. Печь не справлялась. Мы подняли половину снасти, чтобы не переводить рыбу, сняли снасть там, где лещ бросал икру, и ловили только на проходе.

Шершавые, бугристые лещи-молочники, вылив молоку, безразлично валили в сеть и спокойно лежали на дне лодки, будто заранее смирившись и с сетями, и с

лодкой после яркого праздника, которому отдали все свои силы.

Пять дней без сна и отдыха, на одном чае и табаке... Потом лещ ушел из залива. А мы еще жили громким лещевым боем, плеском широких хвостов-лопат, свинцовой тяжестью громадин рыб, запахом печеного леща и сладким вкусом лещевой ухи.

Спать не хотелось. Хотелось снова и снова сидеть в лодке посреди залива и смотреть, смотреть и смотреть, как вдоль берега всплывают, горят в утреннем солнце, тяжело переворачиваются и снова тонут серебряные подносы-лещи. И не сговариваясь, мы опять отводили от причала лодки и тихо плыли туда, где еще вчера бушевал праздник.

Это было безумие охоты, настоящей охоты-искусства, когда ты все уже нашел, что искал, но завершать охоту не хочется. Ты победил себя, а не добычу...

За лещом свалилось парное болотное лето. Ловить рыбу больше не хотелось. Мы лежали в избушке на нарах в дыму курной печи, спасавшей от комаров. Третий день наши куртки и кепки висели на стене и за эти три дня стали черными от смолистой копоти.

Кончались продукты. Давно не было почты. Мы собирались в дорогу. Забивали лодки мешками с сухой рыбой и шли по воде: по озеру, по ручью и снова по озеру — к людям. Шли осторожно, обходя и выжидая волну и ветер, чтобы не намочить рыбу. В конце пути на последнем озере сделали навес, протянули под навесом жерди, оставили рыбу и снова вернулись к избушке за новой рыбой.

Часы, сутки дороги по воде с веслом в руках слились в одно бесконечное время. Это была работа, та самая работа, которую знают люди, умеющие просто работать.

От работы вытерлось под рукой осиновое весло. Его неудобно стало держать в руке. Надо было сделать новое. Но сначала надо было вывезти всю рыбу.

Мы ночевали и в избушке, и под навесом, ночевали в дороге под елкой, когда прихватывал ветер и рвались над озером грозы. Собаки давно пробили следом за нами по тайге свою собственную тропу. Иногда они теряли нас. Заявлялись к избушке, находили там только одного. Один из псов мог остаться со своим хозяином, но расставаться, как и мы, псы уже не могли.

Они обходили избушку, проверяли причал и снова берегом шли к берестяному навесу, чтобы найти еще одного своего хозяина. Там собаки тоже не оставались, опять возвращались к избушке — и так ходили взад и вперед, будто ждали, когда мы наконец соберемся вместе и когда им можно будет покойно лечь у наших ног.

С последнего озера из-под навеса рыбу вывозили на лошадях. В деревню попали к празднику, пели песни, плясали и, наверное, могли показаться со стороны глупыми. Но вокруг были люди, которые из века в век промышляли в лесу.

И люди, наверное, смотрели на нас с завистью. У них была уже другая работа. Вместо сетей, мереж, лодок они чаще упоминали в разговоре клевера, сено, молоко, мясо — они уже теряли лес, озера, и оттого, что мы двое нашли их, почти потерянные, лес и воду, людям было и легко, и немного грустно.

Все дни мы писали письма, ждали ответы, косили сено, помогали пасти скот. А по вечерам, когда уходило солнце и над деревней оставался лишь белый свет от недавнего дня, мы сидели на крыльце, дымили «Беломором», кормили пряниками собак и молча ждали первой осени и первых северных ветров.

За ряпушкой мы уходили опять на Кинозеро, уходили на лодках по протокам и лесным озерам.

Киозеро было большим, лудистым, часто беспокойным. Его давно не опромышляли.

Наши лодки казались слабыми против этого озера. Мы уже заглядывали туда, останавливали лодки у входа в плесо и присматривались через волну к дальним островам.

Низкие острова терялись за вздыбившейся волной. Когда волна укладывалась и лодки не трепало ветром, мы видели эти острова-камни, поднявшиеся из притихшей воды.

По березам легла первая желтая проседь. Следом за березами осень схватила осину. Осина разгоралась на глазах, и скоро вода лахты, прижатой к осиннику, стала красной от света осеннего листа.

Осень шла тихо и мягко, будто извинялась перед нами за беспокойную весну и бешеное грозное лето.

От грозного лета на тропах остались длинные полосы-щепки. Эти полосы-щепки после удара молнии разлетались далеко в стороны, а потому не сразу, найдя на тропе кусок разбитой ели, можно было отыскать само пострадавшее дерево.

Следом за желтым листом на березах к озерам вышли лоси. Лоси скручивали рогами стволы рябин и готовились к осенним боям.

Хрип дерущихся лосей тревожил тайгу. Собаки нервно прислушивались и ворчали на каждое эхо, принесшее рев лесных быков.

По утрам, разводя веслом опавший лист, мы гнали лодки к дальним островам и через борт подолгу всматривались в каменные отмели.

На отмелях пока было тихо. Правда, среди камней уже ползали отдышавшиеся от летней жары пятнистые налимы, но ряпушка еще не появлялась.

По ночам крышу избушки рвал ветер. Но этот ветер приходил пока с северо-запада. Он приносил с собой холод и сырость, а мы ждали ясный крепкий северик с

первыми ночными морозцами и первым ледком у причала.

Северик сорвался в ночь. Он шел сильно и упрямо, будто давно готовился в дорогу, но его все не пускали, а теперь он вырвался и примчался.

Северик улегся через сутки, оборвав с берез и осин последние листья, вымазав камни по берегу льдом и поломав весь тростник.

Мы опускали сети, снова поднимали, отогревали руки над медленным огнем костра, сложенного на островке среди камней, и снова уходили на воду.

Собак на острова мы не взяли. Они сидели далеко на берегу около избушки, и, когда было тихо, мы хорошо слышали жалобный подвыв наших псов.

Лодки с трудом стояли на волне. Волна обжигала осинового борта, обжигала ноги и руки, врываясь в лодку. Лед с бортов все время приходилось околачивать. Когда один не справлялся с сетями и льдом, мы втискивались в долбленку вдвоем. Я держал перегруженную посудинку на волне и сбивал ледяные вершинки волн с лодки и его куртки. Когда ветер и мороз побеждали, мы бросали снасть, зло вгоняли лодки в берег и отдыхали.

Через день выпадали тихие, ясные утра. В лодке тогда было проще и спокойней, но озеро мерзло на глазах. Вместе с сетью ты поднимал полотнище новорожденного льда. Этот тонкий ледок-одночаска сыпался с поплавков сети, хрустел и тут же схватывался с другими льдинками в мутные слоеные куски. Острые края ледяных кусков резали сети. Но ряпушка шла, шла красиво и сильно, вырвавшись наконец из глубин.

Ты видел все время эту быструю, яркую рыбку и забывал все на свете. Забывал ветер и лед, мороз и волны, а когда спохватывался и возвращал память, то часто догадывался, что ворожба-ловля посреди поздней

осени и ранней зимы могла только что окончиться для тебя навсегда.

Ряпушка постепенно уходила на глубину. Оканчивались десять дней праздника-работы, оканчивался рассказ Ивана Михайловича.

Мы оставили острова, вернулись к избушке, молчали, будто что-то потеряли или собирались что-то снова искать...

Шквал и непогода, которые принесла с собой ряпушка, стихли перед настоящей зимой. Ветер вдруг оборвался, но не на ночь, не на полдня, а на сутки-другие. Каждые новые сутки рождались теперь под яркими и близкими звездами-снежинками. Теперь каждое утро залив все шире и шире укрывался льдом, и мы держали лодки на выходе в плесо, куда лед пока не добирался.

Впереди была близкая охота, звон собак по ельникам и соснякам. В этом году в лес пришла белка, много белки. Был лось. Но ни белки, ни лося, ни куницы пока не хотелось.

Хотелось, наверное, сказки. Хотелось продолжить нашу встречу, долгий путь на лыжах по настам, шум плотвиных стай, удары щук, игру леща и вот эту самую ряпушку... Продолжить сказку.

Ночью мы не спали. Мы вспоминали сига...

Сиг в Кинозере был. Как и ряпушка, он шел только в холода, шел на далеких лудах под самый лед. Он должен был вот-вот пойти, но для сига у нас не было лодок, которые держат упрямую ледовитую волну посреди гудящего плеса...

Что-то точило меня, звало вырваться к неизвестным лудам и попробовать вот на этой лодчонке все-таки найти сига, хотя бы посмотреть, только посмотреть...

Я молчал, слушал за стеной поднявшийся ветер, но уже знал, что завтра утром, чуть стихнет озеро, попробую поискать сиговые луды. Я ничего не скажу

ему, уйду один, как уходят в сказку, чтобы потом рассказать ее другим.

Ночью я долго курил и только под утро, когда ветер начал стихать, чуть забылся.

Проснулся от странного чувства — опоздал. За окном уже был день, яркий, чистый день близкой зимы.

Его в избушке не было. У дома не было и собак. В углу избушки не было и его весла.

Моя лодка лежала на берегу, а от его лодки на мелкой гальке осталась неширокая гладкая полоса. Он уехал, пробил утренний лед и уехал.

Пробитый им коридор уже успел затянуться новым ледком. Я вывел на лед лодку, подтолкнул ее вперед и, как на санках, перевалившись через борт, отъехал от берега. Под лодкой лед треснул, выбил наверх воду. Я расколол веслом тонкое ледяное поле и встретил бортом тяжелое, как свинец, озеро.

Где он? Сколько можно было видеть, на озере никого не было. Высоко и мутно торчали обледеневшие камни наших островов. От берега к плесу тянулись вершинами, как в зеркале, высокие ели. Там, где ели ложились отражением на лед, они казались седыми, а там, где лед кончался, ели снова были черными.

Вода молчала. Или она сегодня замерзнет и остановит меня на полпути, или сорвется шквал.

Беспокойное чувство беды, опасности, близкой и неотвратимой, не покидало меня. Небо с северо-востока казалось мутным. Эта муть плыла к озеру все гуще и гуще — северо-восток никогда не приходил просто так.

Где он?.. Северо-восток надвигался упрямо и страшно. Я остановил лодку. Лодку кидало и било о клочья льда, сорванного ветром у берегов. Плыть дальше было нельзя. Я повернул обратно и резал волну веслом. Весло было слишком легким для ноябрьской волны.

Лодка оплывала льдом, оседала. У меня не было с собой ни топора, ни ножа. Лед натекал, и его нечем было скалывать. Ледяные волны били в спину и оставались на ватнике. Ватник уже не сгибался и ломил тело тяжестью льда. Пальцы не чувствовали весла. Волны ходили через борт...

Берег показался каким-то странным, будто я и не стремился к нему. У берега лодку ударило о кромку льда, она качнулась, схватила воду и замерла, чуть выставив над водой корму и нос.

Под ногами не было дна. Лед ломался, на него нельзя было подняться. Но с каждой отломанной льдиной берег становился ближе и ближе.

Потом ноги почувствовали дно. Потом я долго открывал дверь в избушку и долго не мог снять с себя ватник и сапоги.

У камней печи стоял холодный котелок. Пальцы не узнавали спичек. Я никак не мог развести огня. Потом огонь согрел, заставил очнуться. Желтые языки пламени лизали пальцы, но пальцы не чувствовали огня.

За стеной я услышал ветер — ветер не унимался. Я взял ружье и пошел по берегу. Мою лодку забило под лед и приморозило. Но лодка уже была не нужна.

Я обходил озеро, шел долго. Несколько раз стрелял. Мне не отозвались даже собаки. Где собаки? Где он?

Утром я раздул угли костра, согрелся и пошел дальше. Ветер унялся, последний раз качнув ветви елей. Наступила тишина, и в этой тишине я разобрал тоскливый вой... Волки?.. Нет. Выли собаки. Выли с той стороны, куда мчался вчера северо-восточный ветер...

Собаки сидели на берегу около лодки. Лодку выбросило на берег, и она лежала ледяной глыбой замерзшей воды. Его не было.

Я не мог унять собак, позвать за собой.

Я снова стрелял, звал. Я не нашел его. Не нашли его и другие. У него тоже не было с собой ни топора, ни ножа — его топор и его нож остались в избушке, — наверное, он тоже очень торопился вырваться на озеро до очередного шквала. Он тоже хотел увидеть сигов...

В тайге было тихо. К избушке на третий день вернулись собаки, голодные, драные, но от еды отказались... Я ждал, чего-то ждал.

По старым письмам я разобрал адреса тех, кто писал ему. Я читал эти письма. Читал откровенно, не стыдясь за прочитанное без разрешения...

Ему писала мать. Но больше всего писем было от нее... Почему он не с ней? Почему здесь, когда она его очень ждала?

Правда, рыбаков и охотников всегда кто-то очень ждет...

Зима не пришла в этот раз. Лед растаял, и будто снова вернулась поздняя осень — предзимье.

Ветер и непогоды успели обломать, сокрушить стены тростника, и теперь от недавних неприступных стен остались робко торчать лишь хилые, щербатые частокоты. И на этих редких тростниковых столбиках красовались, переливаясь цветами морозной радуги, ледяные колокольчики.

Колокольчики вырастали на тростнике от воды и крепкого ночного мороза. Вода тяжелыми брызгами либо самыми вершинками пологих волн попадала на тростник и тут же замерзала. Тут же замерзали и новые капли, и новые вершинки волн — и теперь по всему заливу над самой водой светились звонкие прозрачные льдинки.

Свою лодку я все-таки вытащил на берег, выбил из нее лед и теперь, когда выпал тихий день, медленно плыл вдоль берега, вдоль звонких прозрачных колокольчиков на тростнике.

Порой я разгонял лодку, брал весло и осторожно проводил им по колокольчикам-льдинкам. И льдинки оживали...

«Динь-динь, тинь-тинь», — чуть испуганно раздавалось следом за моим веслом. «Динь-динь, тинь-тинь», — осторожно и скромно расходилось по всему заливу... И тут рядом с ледяными колокольчиками раздался другой, неожиданный и по-летнему громкий плеск крупной рыбы.

Плеск повторился. Я обернулся и увидел круги, мелко и медленно расходящиеся по тяжелой морозной воде. И тут же у самой лодки мелькнул иссиня-белый бок большой рыбы. Мелькнул хвост, узкий и сильный, — хвост разрезал воду и, отвалив в сторону половину волны, пустил по заливу новый круг и обдал тростниковые столбики скупыми, но крупными брызгами.

Брызги упали на тростник, хотели скатиться обратно в воду, но тут же потемнели и остановились заледеневшими каплями.

Новый резкий выворот хвоста, новая волна, новые брызги метнулись тяжело в сторону и замерли на тростниковых столбиках, поймав скупую зимнюю радугу...

Можно было верить и не верить себе, можно было смотреть и смотреть на этих таинственных белых рыб, живых и бодрых рядом с острой кромкой жесткого льда, рядом с ледяными колокольчиками на тростнике и только что застывшими на лету брызгами.

Сиги играли у самого берега недалеко от нашей избушки.

ОХОТА

Я не могу описать в небольшом отрывочном повествовании полную картину зимнего промысла белки и куницы даже в одном таежном уголке нашего европейского Севера. Для такой картины вряд ли найдется подходящая рамка, которая вместит в себя и талантливых собак, и удачливых охотников... А долгие тропы по густым кислым болотам, по которым заносятся в охотничью избушку крупа, сухари, сахар, керосин для коптилки, связки капканов, питание для приемника и многое другое, без чего нельзя человеку в зимнем лесу, в одиночестве, без добрых глаз и заботливых рук...

А ночные костры из сухих сосен, жарин, сложенных просто и верно на всю метельную ночь знаменитой таежной нодьей?.. А пурга, слепящая глаза и напрочь забившая след зверя, когда до куницы оставалось, казалось бы, совсем немного?.. А ночные звезды, пообещавшие назавтра солнце и тишину, треск мороза по еловым вершинам, пустые выстрелы, неожиданная потеря собаки и нудный голос метели, что третий день закрывает дорогу в лес, отнимая навсегда и без того короткие дни зимнего промысла?..

Нет, я не осмелюсь взять на себя труд и передать в деталях мир человека, с детства променявшего уют зимних вечеров у семейного самовара на остывшую копоть курной печи, что игластым, черным инеем холодно осядет к утру на дверь и стены крошечного лесного жилища. Но все-таки мне очень хочется вспомнить хотя бы отдельные короткие страницы той большой книги о промысловой охоте, которая все еще ждет своего откровенного автора.

...Пусть не удивит вас, что частенько в своем рассказе я буду допускать непривычные для городского

русского языка вольности. По возможности я постараюсь оговаривать их, попытаюсь оправдать и себя, и авторов таежного устного творчества. Но без этих вольностей не дойдут до вас краски и запахи, настроение и добрая память каждой встречи на лесной тропе. И эти встречи, может быть, приоткроют вам иной мир, где лавину пушистых зверьков, заглянувших на урожай елового леса, принято называть не белками, а «белкой», где сам урожай, свесивший тугие лапы с тяжелыми ядреными плодами, именуется просто «богатой шишкой».

Откуда такое непочтительное обращение с законами языка? Разве три, пять, десять пушистых зверьков не имеют права называться именно белками?.. Да, язык сохраняет свои законы и в нашем лесу, и дедка Афоня, принеся добрую весть о появлении долгожданной белки, обязательно скажет, что в каждой елке «копошится до пятка огневок». И действительно, одну богатую вершину уродившего дерева могут порой занимать сразу и пять, и даже семь-восемь белок. А если таких вершин очень много, если нельзя, невозможно сосчитать, поштучно учесть количество еловых шишек, нельзя перебрать по шляпкам красноголовые толпы подосиновиков, не появится ли тогда новое качество, определяющее несметные отряды кочующих грызунов, обильный урожай еловых и сосновых семян и светло-розовые поляны волнушек. Так уж повелось — заглядывает к нам порой «много белки», годами выпадает сумасшедший урожай «еловой и сосновой шишки», а по полянам и вырубкам почти в каждую осень можно собрать страшное количество «гриба».

Белка и овсяной сноп

Белка ушла от нас еще в январе... Стоило лечь по ноябрю первой санной дороге, как она заглянула в светлые сосняки, и вспыхнули тогда на свежем снегу яркие хвостики белки-огневки. Но сосновой шишки оказалось маловато для орды грызунов, и голодные кочевники отправились куда-то дальше.

Дедка Афоня потряс вслед неблагодарным гостям связкой только что добытых шкурок и обозвал нашего доморощенного лешего самыми последними словами за то, что умудрился он, старый черт, задолжать соседней нечистой силе все стадо непоседливого зверька.

Старый, подслеповатый охотник знал еще от своего деда, как надо клясть «лешаев» за неразумные поступки, но сколько помнил напутствия своих предков, столько и убеждался, что никакая, даже самая святая сила не поможет задержать бездомную тварь, успевшую уничтожить всю шишку в нашем лесу.

С января по густым ельникам осталась только наша белка. Изредка ее короткий следок нет-нет да и встречался около дороги — она больше ходила верхом, стригла елку, собирая смолистые почки, что давало тому же Афоне право верно и часто утверждать, будто зверек, прописанный у нас, не опускается на землю только потому, что боится его, Афониных, собак.

И вправду, с самых крещенских морозов собаки ни разу не подали голоса по белке. Молчали они и летом во время покоса. На покосе собаки забирались от жары в кусты и внимательно поглядывали оттуда, как бы хозяин без них не опорожнил увесистый узелок с обедом, и только изредка, разморенные и ленивые, они поднимались с земли, чтобы так, для порядка поворчать на медведя, что шастал по краю острова.

К вечеру, переждав жару, собаки отправлялись поразмяться в тайгу, находили в ягодниках глухаря и по всем охотничьим законам от души облаивали его... По редким, старательным голосам Пальмухи и Корсонушки дедка подсчитывал, сколько птиц в выводке на Кривболоте, сколько таких же глухарей у Светлой ламбы, и, провожая своих собак, подавшихся в лес, он с тайной надеждой ждал, что вот-вот заговорят они, расскажут о первом вертлявом, пушистом зверьке, снова заглянувшем в наши места... Но собаки обрадовали старика только к ржаному снопу...

Уже косили рожь, когда дедка вдруг забежал, забеспокоился, приволок из кладовки в избу старый, тяжелый патронташ из сыромятины, набравшей в себя за все время долгой службы с котел дегтя, и разложил по столу позеленевшие от времени латунные гильзы. Теперь только бы дожждаться сентября, дожждаться, когда выстоится овес, и если к овсяному снопу белка никуда не уйдет, то быть ей у нас по черной тропе, а к Октябрьской, глядишь, да вывесит старик на стене первую сотню вышедших, добротных шкурок. А там уж пустое дело — жди заготовителя да кати в магазин за вином...

Ржаной и овсяной сноп были извечным правилом, имевшим силу закона в наших местах... Если белка появляется на ржаной сноп — это еще не все. Они, эти ранние белки, могут уйти и дальше. Могут подразнить, поманить богатой осенью, побегать даже по крышам домов, позлить собак и вдруг исчезнуть к первым морозам. А вот если появится она, побежит по вершинам вдоль скошенного овсяного клина — наша она тогда, останется, осядет на зиму — и все тут.

На овсяной сноп белка осталась. Но зажировала не на болоте по соснам, а в высоченном, чащобном ельнике. Пришла вроде бы надежда, но тут же и поторопилась отобрать у охотника большое счастье.

Попробуй разгляди в момент на вековой елке, среди нечесаных ветвей, серый комочек. Попробуй достань его оттуда полужарядным выстрелом, что экономно пощелкивал по низкорослым сосенкам. Ну да леший с ней — есть она, и не будет пустого леса, когда за неделю-другую не услышишь в тайге разговора собачек. Неудобно человеку в пустом лесу. Хотя и не много поснимаешь с елок белки, да все веселей нынче ломать ноги по бурелому за куницей.

Чужая тропа

Когда-то Афанасий Тимофеевич был главным по охоте на всю волость. Никому другому не выпадало принести с зимовья столько куницы, никто, кроме него, не отваживался уходить в тайгу в одиночку с октября по февраль, и только он умел молча и упрямо заставить лихого заготовителя выложить на край стола все, что причиталось ему и соседям за будущие воротники и шапки, идущие первым сортом.

Слава и почтительное, осторожное уважение ходили вокруг имени сурового охотника. Но однажды старик вдруг сдал... И долго потом на вечерних «беседах» у самовара удивлялись еще, как это он, Афанасий Тимофеевич, мог согласиться и отдать два десятка куниц по второму сорту...

Заготовитель наезжал в деревню раза два за зиму, прихлебывая, пил горячий чай и, чтобы не выдать своего удивления качеством и количеством добытого, искоса поглядывал на тугие беличьи связки и на высокие стопки куных шкур, принесенные из разных изб в избу охотника-старейшины, где обычно и проходил сам торг-заготовка.

Свой товар хозяин дома предлагал последним. И в этот раз он так же безразлично к деньгам и квитанциям на муку, сахар, боеприпасы велел жене поднести к столу свой товар. Заготовитель, хорошо знавший и великую славу промышленника, и его отменный товар, сбоку пересчитал хвосты и, поплевав на пальцы, взялся было за бумажник... Вот тут-то и произошло неожиданное.

Афанасий Тимофеевич вдруг поднялся из-за стола, сгорбился по-стариковски и, покашляв махорочным дымком в подол рубахи, несмело выбрал из груды

бархатных коричневых мехов штуку с золотистым отливом.

Никогда раньше он не дотрагивался рукой до пушнины, выложенной на стол перед заготовителем, ставшей товаром, — это разрешалось лишь пацанам, чтобы еще раз здесь, у стола, посмотреть, как заканчивается мудрый лесной труд. Все сидящие в избе испуганно замолчали. Да что он — спятил, что ли, выжил из ума, хвалиться собрался, когда и так все обхвалено еще с тех пор, как отец передал безусому сыну единственное в доме ружье — шомпольную винтовку?..

Нет, Афанасий Тимофеевич не собирался бахвалиться. Он положил на стол выбранную шкурку, медленно ушел за печку и оттуда, будто занятый каким делом, негромко и обрывками dokonчил свою мысль: «Руки тряслись... три раза палил... по животу дырье решетом...»

Заготовитель провел ребром ладони по светлому ворсу брюшка, увидел несколько следов от дробы, отложил из приготовленной стопки денег какие-то рубли, снятые за брак, и успокоил старика: «Да будет тебе, отец. Иди-ка распишись».

Старик успокоился, вышел, взял в руки перо, внимательно посмотрел на бумагу и, нажимая боком на ручку, крупно и старательно вывел на документе: «Получено сполна за все вторым сортом».

Уговорить старика, что все остальные куньи шкурки отличные, что все хороши, как и раньше, не удалось. Старик кровью сердца вывел: «...все вторым сортом», — заказав себе дорогу в лес за куницей.

С тех пор Афанасий Тимофеевич стал просто дедкой Афоней, перестал растить для себя от Пальмухи щенков, щедро раздавал их каждому старательному охотнику и больше никогда не принимал у себя заготовителя пушнины. Теперь он первым, собрав

связки беличьих шкурок, какую другую штуку выдры или хоря, шел в чужую избу, где вот-вот должен был начаться малый пушной аукцион. Но по-прежнему старик никогда не торопился к столу, дожидался, когда соберут у всех, ощупывал привычными глазами ворс и мездру, ревностно следил, чтобы кто не подсунил человеку решета или худобы, взятой не в срок, вместо пушнины и лишь потом гордо, но и немного смущенно вытаскивал из мешка связку серых и огненных белок.

С тех пор Афоня не ходил на зиму в лес один. Еще с лета он набивался к кому-нибудь из мужиков, а если его соглашались взять, то радовался как дитя и обязательно уговаривал будущего напарника пойти на зимовье именно в его избушку, на его тропы.

Личные владения в тайге навсегда остались за старым охотником — на них никто не посягал, сам Афоня никому не предлагал их, и вечный строгий закон — закон чужой охотничьей тропы — продолжал жить в нашей тайге.

В избушку к себе Афоня заглядывал только летом, после покоса. Он забирал в лес и Пальмуху, и Корсонушку, с вечера бережно укладывал котомку, а утром, еще в темноте, уходил туда, где прошла его жизнь. Что делал старик там, на берегу таежного озера: ловил ли рыбу, подправлял печь или чинил крышу — этого никто не знал. С каждым годом ноги становились тяжелей, дорога в избушку затягивалась, и дедка порой пропускал и второе лето. Когда ноги совсем подводили, Афоня оставался на зиму в деревне и лишь по черной тропе немного попугивал белку в сосняках да невысоких ельниках.

Иногда старика охотники вспоминали сами, приходили с уговорами, звали на зимовье, куда все уже занесено. Дедка долго ворчал, что опять его обошли, не оставили ему волочить по тропе сухари и пшено, но

всегда быстро собирался и наотрез отказывался от любого дележа добычи.

На зимовье он обычно оставался в избушке, колол дрова, топил печь к приходу охотника, варил вкусный кулеш и весело балагурил, вспоминая бывшие когда-то истории. Он скрашивал, обряжал жизнь напарника, был необходим и незаметен, а оставшись один под низенькой крышей, наверное, долго дышал знакомым запахом еловых чураков, пряного сена на нарах и чуть сыроватым душком подсыхающей мездры. И только однажды старик изменил своему правилу — не ходить больше за куницей.

В чужую избушку Афоня так же исправно брал ружье и собак. Ружье порой весь сезон оставалось в углу, а собаки разве изредка покидали своего хозяина, чтобы с часок покружить по осиннику за зайцем. Но однажды дедка исчез, прихватив и ружье, и собак.

В тот вечер напарника на столе так же ждали суп из сухой рыбы и кулеш, на камеленке так же дымился котелок густого чая, но старика нигде не было. Не было день, другой, третий, и лишь на пятые сутки Афоня появился у лесного жилища и молча выложил на нары четыре куницы.

Куницы были добыты чисто, шкурки сняты и выправлены умелой рукой. Откуда они?.. Но старик молчал. Собаки жались к печи и осторожно тянули носы к сухарям после четырех полуголодных ночевок у лесного костра.

Тайна неожиданного похода открылась только к весне, когда охотники собрались в деревне и ждали заготовителя.

В избу, где должен был состояться торг, так же нанесли богатые мешки с пушниной, все так же расселись по лавкам в стороне от стола, все, кроме Мишки Анюткина.

Мишка тоже был в лесу, но скоро вернулся и, видимо, ничего не принес... Почему ушел, не дождавшись своей удачи, почему потерял зиму?.. Завистливые языки плели еще с осени, что Мишка накупил полно клепей (капканов) и собирается теперь поохотиться покрепче перед скорой свадьбой. Но старательный жених пробыл в лесу всего пару недель. Он вернулся домой злым и в сердцах швырнул за огород мешок с капканами. Мешок подобрала мать, зная, какого труда стоит охота с клепями...

Ловушки выставляются не на один день. Еще с осени устраивается лоточек под капкан из двух еловых веток, по дереву вверх и вниз на метр сносятся от лотка остальные ветки, чтобы куница не подошла к приманке сбоку, чтобы обязательно ступила на лоточек. Потом добывается приманка. Со снегом капканы сторожат и обязательно обходят и в пургу, и в мороз, когда другие охотники, промышляющие с собаками, мирно отсиживаются по зимовьям.

Капканы в тайгу Мишка унес еще в сентябре, и почти тут же по деревне пошел тихий и не всеми проверенный слух — будто Анюткин сын выставил клепи в чужом месте, а свое хозяйство оставил для охоты с собакой. Такие дела отдавали неумной жадностью, имя непорядочного человека покрывалось позором, а недобрые поступки обязательно пресекались.

В ту осень Афоня особенно беспокоился, пораньше втащил в избу свой патронташ, вычистил ружье и долго забивал по вечерам в гильзы заряды черного пороха. Белки пока еще не было, и волнение старика казалось пустым. Старуха ворчала, отговаривала от леса, просила отступить и не идти с больными ногами. Но Афоня настойчиво подъезжал к охотникам и напрямую предлагал себя в напарники.

Наконец дедка ушел в тайгу, вернулся с добытыми куницами, а когда прибыл заготовитель и стал принимать у Мишкиного соседа по охоте небогатую на этот раз добычу, Афоня подошел к столу и выложил четыре искрящиеся шкурки.

Все стало неожиданно ясным. Сердце старика не могло стерпеть, что в наш лес пришли жадность и обман. Дедка дождался, когда куница вышла, стала подходящим товаром, отправился к Мишкиным капканам и за пяток дней ловко и быстро выбил всех куниц, которые шкодливый охотник собирался отловить в чужих владениях. Мишка остался ни с чем, с горя собрал капканы, не дождался охоты у своего зимовья, ушел, а обиженный было человек получил сейчас из Афониных рук то, что полагалось ему добыть честным трудом.

Пустые ведра, выстрел полет и кот Рубль

У каждого охотника нашей деревушки есть свои тайны. Порой этих тайн набирается много, одни из них принадлежат всем, другие — сугубо личные. Но без этих скрытных и общедоступных секретов, наверное, еще никогда не состоялось то необычное таинство, которое мы коротко называем охотой.

Пожалуй, выбирать из добытого зверька помятую, уже поработавшую дробинку придумали еще старики. Они бережно хранили эту малую щепоть кривобоких свинцовых шариков до новой охоты, сосредоточенно делили ее на равные части и осторожно добавляли один, два старых катышка в новый заряд.

Наверное, это правило родилось еще тогда, когда заряд был дорогим, когда сегодняшние расточительные двустволки казенного заряда еще только-только набирались опыта в руках богатого стрелка, а вместо них редко, но метко попахивали по тайге кремневые шомполки. Дробь, собранная из добытого зверька, была тогда прежде всего подспорьем, еще одним выстрелом, и к тому же дармовым.

Сейчас костяные рожки для пороха, которыми отмеряли толику заряда через дульный срез шомполки, и аккуратные холщовые мешочки для дорогой тогда дробы забылись, но правило — хранить выковыренные из тушки свинцовые горошинки — осталось. И мы так же раскладываем их по гильзам, добавляем к полновесному заряду дробин, а может быть, еще и верим где-то в себе, что эта верная дробина обязательно принесет счастье, хотя и редко помним, какой именно заряд был освящен немудреной лесной приметой.

Вместе со счастливой дробиной по привычке хранится и таинство снаряжения гильзы. Разве только пустой человек да случайный стрелок примутся среди сутолоки пацанов и женской возни по дому готовить заряды. У таких людей рвутся ружья, дуются гильзы и нередко выпадают те самые опрометчивые осечки, что по некоторым местам создали славу сельскому охотнику как человеку неаккуратному и небрежному.

Нет, снаряжать патроны положено в тишине, покое. С полки достается ящик, запретный даже для рук жены, негромко поцокивают друг о друга латунные гильзы, и, глухо ворча, пересыпается в мешочке дробь. Потом тяжелые от заряда гильзы выстраиваются в патронташе. Заворачиваются обратно в масленую тряпицу, берегутся до следующего раза капсюли центрального боя, перевязывается тугой тесемкой оставшаяся дробь — и ящик опять возвращается на свое старое место. И кто посторонний видел, кто знал, какой заряд пороха, сколько дроби пришлось в этот раз на один выстрел?

Прославлять себя, хвалиться, что отыскал зверя не хуже собаки, как-то не принято в наших местах. Вот и приходится порой объяснять свой успех то тайным зарядом, то безотказным ружьем. Тайна заряда? Да какая там тайна — старательное снаряжение патронов в угомонившейся избе. А вот безотказное ружье — это, пожалуй, уже что-то от искусства...

Вряд ли кто из наших охотников, приобретая ружье, прикидывал, удобна ли ложа, не косит ли срез стволов — ружье доставляется к нам посылторгом, подбирается где-то на базе посторонним человеком, и первая оценка будущему оружию дается по той сумме, которая определяет цену двустволки. А дальше, когда долгожданная посылка придет к вам, и начинается «обучение» ружья.

«Обучить» ружье, пожалуй, сложнее, чем собаку. Собака обычно сама наталкивается на дичь еще малолетним щенком — ведь без собак нет у нас дороги ни на озеро за рыбой, ни на выкосы за сеном, ни на выпас к стаду. Срабатывает та сила породы, которая перешла к щенку от матери и отца, с каждым разом вчерашний кутенок все шире ищет по тайге, все громче подает голос — и, глядишь, к снегу вдруг да увяжется по-настоящему за кунницей. Ну а если ходить щенку в лес с матерью, то будьте спокойны — новый помощник вам будет готов еще раньше. Так и ведется у нас — учат собаки друг друга, а от хозяина приходят к Шарику или Зиме лишь забота, пища да строгое требование понимать охотника с полуслова. И не нужны для такой собаки ни удлиненные поводки, ни прочие премудрости дипломированного дрессировщика. Но вот для «обучения» ружья кой-какой арсенал все-таки необходим.

Приобретенное ружье перво-наперво выносят стрелять за огороды. Стреляют из него старым, проверенным на прежнем оружии зарядом. Шагов с пятидесяти дробь третьего номера должна разнести в щепки спичечный коробок.

Если первая наука усвоена хорошо, то наступает очередь проверки на пулю. К пятидесяти шагам прибавляется еще пятьдесят, а на двери старого амбара рядом с полинявшими, давно пробитыми мишенями выводится еще один черный кружочек с донышко стакана. Пуля, приготовленная на лося или медведя, должна накрыть кружочек с первой попытки.

Возможно, теория стрельбы из гладкоствольного оружия, а вместе с ней и родившая баллистику теория вероятностей возмутятся столь варварским обращением с академическими законами — как же так, разве можно по одному, двум выстрелам оценить эффект поражения цели? — для этого необходима длительная пристрелка

на специальном стенде зарядами разных навесов... Но что делать, если не может допустить промысловик пустого выстрела. Пустой выстрел может стать и позором, и причиной того, что медведь, пошедший наверх, то есть бросившийся на охотника, не будет остановлен.

Пустой выстрел можно простить дрогнувшей руке, моргнувшему глазу, худому заряду, сырому пороху, лежалому капсюлю, но только не ружью. Ружье обязано стрелять, и если оно плохо показало себя по спичечному коробку и угольному кружку, то на помощь приходят обычная русская печь, а следом за ней и бархатный подпилочек...

На печи новые стволы могут лежать долго, и старик — лекарь оружия, который, конечно, не знает ни технологии металлов, ни хитростей металлургических процессов, просто верит и ждет, что тепло «подлечит» ружье, как верит, что нет лучшего лекарства от простуд, усталости и других болезней, чем жаркая русская баня.

Когда печь недостаточно помогает, порой вмешивается и подпилочек. Он осторожно проходит несколько раз по срезам стволов и нередко доводит оружие до ума.

Сейчас можно остановиться и подробно объяснить, что в таком «лечении» ружья нет ни шарлатанства, ни тайных деяний... Косые срезы ствола портят выстрел, разносят дробь, и подпилочек умело устраняет дефект производства... А русская печь?.. Долгое, ровное тепло, наверное, все-таки помогает снять кой-какие внутренние напряжения в металле, оставшиеся после тяжелого труда над стволами станков и инструментов, помогает стали обрести «лучшую форму»... Но об этом проще спросить мастеров-оружейников — ведь дедка Афоня никогда не рассматривал под микроскопом структуру оружейной стали.

Начальное «обучение» ружья закончилось. Теперь ему положено приняться за работу, немного погреть над еловыми вершинами, помокнуть на сырых болотах, померзнуть в холодном коридоре избы, набраться опыта, немного повзрослеть, а то и постареть — и только тогда уже неприглядные с виду стволы станут тем безотказным оружием, что принесет хозяину заслуженную славу. И при таком верном оружии ты уже не очень боязливо ждешь по вечерам в избушке — будет или не будет выстрел полена в печи, и не так робко встречаешь по пути в лес пустые ведра...

Ох как не хочется встретить на пути к лесу пустые ведра, да еще в руках человека, знакомого с дурной славой. Может, поэтому и уходим мы в лес еще с ночи, в темноте, не оповещая никого из соседей о скорой дороге в тайгу.

А там, у небольшой печи, сложенной из угластых камней, перед каждой новой тропой за зверем как хочется дожидаться, чтобы еловое полено вдруг выстрелило в избушку громким горящим углем.

Вслед за выстрелом полена пообещать удачную охоту может кружка, твоя кружка, обязательно оставленная на столе перед уходом в тайгу с хорошим глотком недопитого чая. Такая кружка, не опростанный от ухи котелок, ложка рядом с куском сухаря будут ждать обратно, звать к себе доброй памятью о тепле и уюте лесного жилища, и очень может быть, такая память заставит собрать последние силы и все-таки хоть ночью, да добрести до избушки через пургу и вой зимнего леса.

Кроме общеизвестных тайн и секретов каждый из нас уносит с собой на долгое зимовье и что-то свое личное... Мне нравится брать в избушку очень старый, совсем сто-ченный нож-складник. Нож давно надо бы оставить дома на притолоке в избе, давно надо бы сменить на другой, что пока полеживает в заветном

ящике рядом с дробью и капсюлями, но я просто не могу не видеть в руках потемневшую пластмассовую рукоять, тонкое после многих брусков лезвие того самого ножа, вместе с которым первый раз ушел в лес за белкой.

Старый нож, лезвие которого давно не запирается и нет-нет да и переломится и заденет руку, — это еще полбеды. Хуже, когда приходится тащить с собой в тайгу включенного вороватого кота.

Кот достался Ваське Спицыну по случаю. Не было во всей деревне более пакостливой скотины, чем это драное животное. Прежний хозяин наконец изловил своего мучителя, завернул в мешковину и нанял соседских ребятишек за рубль отнести зверюгу подальше в лес. И надо же было такому случиться — тайная дорога пацанов прошла как раз мимо Васькиного дома.

Сердобольный владелец двух котов, трех кошек и многочисленной армии подрастающих котят и щенят перехватил мальчишек, заплатил им еще один рубль, забрал «несчастное» животное себе.

Все Васькины коты и кошки преотлично уживались со сворой доморощенных собак. Но наглое животное, которому добрый человек вернул за полновесный рубль прежнюю разбойную жизнь, признавать покладистых псов отказался. В доме закипели страсти. Собаки пытались застать вору на месте неприглядного промысла и примерно наказать, а кот, получивший вполне материальную кличку Рубль, каждодневно доказывал, что его прежний владелец, человек удивительно жадный, не зря раскошелился первый раз в жизни.

Наказывать кота было пустым делом — он не признавал ни словесных запретов, ни угроз, не действовали на него и длительные заключения в подполе или в пустом сарае. Невозможно было и

расстаться с ним — его новый хозяин был слишком мягок для такого решительного шага. А тут еще прошла денежная реформа, Рубль соответственно подорожал, и Василий совсем смирился с вредным характером кота. И отступился от несговорчивой твари.

Но вот беда — кот сам не желал отступать от человека. Почувствовав слабинку хозяина, Рубль придумал следовать за Васькой по пятам, и, когда настало время идти на зимовье, кот опередил охотника на тропе и, поуркивая на собак, доплелся до избушки.

Возвращать обратно привязчивую скотину не было времени, и кот остался на все время промысла. Он также задирает собак, так же отгоняет их от мисок и исправно проверял все в избушке, что могло представлять хоть малую ценность для охотника.

Добрался Рубль и до выправленных шкурок, и Василию, во избежание искушения отнести кота в тайгу и оставить там на съедение кому-нибудь из благодетелей, пришлось отложить охоту, взять в руки топор и прирубить к избушке чулан для пушнины.

С тех пор каждый год и отправлялся кот вместе с охотником на зимовье. Отправлялся так же исправно, как мой старый нож, и пожалуй, без этого Рубля Василий и не представляет себе вечернего чая, метельных ночей и всего того таежного таинства, которое мы коротко называем охотой и которое, как и положено всякому любимому делу, обставляется у нас своими загадками, секретами, правилами и привязанностями...

Зима, Вьюга, Пальмуха и Корсонушка

Пожалуй, без собак нет и не может быть настоящей охоты. Правда, есть самоловные способы добычи и белки, и куницы, есть и клепи, и плашки, и жердки на рябчика, но как пойти одному по тропе, кто выручит тебя при неудачной встрече со зверем, кто поговорит с тобой умными глазами у вечернего огня. А у кого еще есть такие мягкие, податливые уши, которые потрогаешь иногда рукой, и будто что-то растеплеет в тебе, будто что-то сразу согреет таежное житье...

Нет, без собаки в тайге нельзя человеку. И наверное, поэтому снуют, вертятся под ногами, лениво побрехивают на прохожего или спят, развалившись в тени, у каждой деревенской избы Тобики, Дозоры, Шарики, Вьюги и Дамки.

Тобики, Шарики, Дамки — эти имена живут вечно в каждой деревушке. Порой Шариков и Тобики набивается так много, что непосвященному бывает очень трудно понять из разговора соседей — об одной или о нескольких собаках идет речь. Но сами «тезки» редко путают друг друга и вряд ли когда подойдут к чужому человеку на вроде бы и знакомый призыв: «Шарики-то. Иди. Что даваю».

Дозоры и Моряки появились у нас позже — их принесли с собой в деревню бывшие флотские люди и пограничники. Следом за современными именами появились и ультрасовременные, и теперь нередко слышишь, как будущий охотник призывает к себе будущего помощника: «Мухтар! Ко мне!»

А вот Зима, Вьюга, Метель, Пурга — это совсем наше, рожденное здесь вместе с Бураном и Морозкой.

А попробуй поищи вокруг Лето, Весну или хотя бы Осень — не берут у нас в руки ружье ни весной, ни летом, ни в первую половину осени — вот и достались собакам только зимние имена.

Говорят, раньше собаки звались только по старинке. И может быть, в память о прежних удачных тропах и нарек дедка Афоня своего последнего кобеля давнишним именем — Корсонушка.

Корсонушка и Паль муха — это особенные собаки. Они вставали на ноги уже тогда, когда старик забывал свои ходкие тропы за куницей, когда медведь и лось были для Афанасия Тимофеевича уже больше воспоминаниями, а сам великий охотник постепенно оборачивался добрым сказочником и неугомонным рассказчиком невероятных таежных историй.

Я боюсь категорически утверждать, что собаки и их владельцы сходятся подчас характерами до такой степени, что представляются чем-то единым, но многие примеры замечательных совпадений все-таки позволяют мне сравнивать сейчас ум, ласку, незаурядные способности Пальмухи и Корсонушки и даже их необычную для зверовых собак обидчивость с доброй благожелательностью талантливое человека, родившегося, выросшего и состарившегося в тихом и мудром лесу.

Дом дедки Афони стоял на горе и был в прошлом верхней, главной, избой в деревне. Около крыльца этой избы всегда возлежали в гордой и независимой позе сытые, довольные жизнью псы. Они строгими взглядами провожали каждого прохожего, но почти никогда не вмешивались в сварливый брех соседских собак. Все говорило о крепком и уверенном в себе человеке, занимавшем этот не слишком громкий, но достаточно видный и независимый дом.

Но с тех пор как старик оставил прежнее ремесло и теперь лишь изредка тешился белкой возле деревни,

изба опустела. Афоня понемногу перебрался в небольшой, неприметный домик, прирубленный к избе со двора, и остался там доживать, немного грустно погладывая из крошечного окошечка зимовки на далекий теперь настоящий лес.

Вместе с хозяином перебрались на другую сторону и собаки. Они тоже будто сразу постарели, поникли — потеряли бывшее положение в деревне и теперь мирно полеживали у низкого порога.

Оставлять и держать без всякого дела ходких за любым зверем псов старый охотник не собирался. Уже на следующую осень он свел их в лес вместе с соседом, как мог, объяснил Пальмухе и Корсонушке, чтобы те привыкли к новому охотнику, и собаки что-то поняли и первый раз в жизни ушли от своего дома вслед за чужим человеком.

В лесу они так же умно и споро работали по черной тропе, так же удачно пошли и по снегу, но однажды вернулись из леса сами и отказались покидать своего настоящего хозяина.

Уходить из леса собаке не полагалось — это было предательством. Предательство строго наказывалось, но в этот раз дедка даже не сердился на псов.

Вечером у самовара сосед подробно рассказывал о происшедшем.

Белка скатилась с еловой лапы и упала на снег. Ее оставалось только освободить от шкурки, убрать сырой мех в холщовую тряпицу, а тушку приберечь для капкана, настроженного на куницу. Но Корсонушка опередила охотника...

Пальмуха была постарше, да она и с детства не позволяла себе мять добытого зверька. В крайнем случае понятливая собака легко прихватывала белку или куницу зубами и приносила хозяину совершенно чистую, не запачканную собачьей слюной тушку. Корсонушка в ранние годы порой баловался с добычей,

ударял белку клыком, иногда слюнявил и мял, но очень скоро усвоил, что можно, а что нельзя, и оставил себе за правило мгновенно останавливать раненого зверька и, не донося до ног охотника, укладывать его на снег. Когда кобель горячился и Пальмухе казалось, что ее великовозрастный сын не слишком деликатно обращается с добычей, она вмешивалась и коротким рыком останавливала неблагоприятный поступок. Так и охотились вместе эти две собаки...

Наверное, и в этот раз Пальмуха сама бы остановила Корсонушку. Но человек поторопился и громко прикрикнул на кобеля. Пес отошел в сторону, поджал хвост, виновато посмотрел на мать и недовольно покосился на обидевшего его человека.

В этот день собаки честно доходили по лесу, но уже не так часто звенел над тайгой их чистый, уверенный лай.

На другое утро собак будто подменили. Они все-таки пошли в лес, но, как сговорившись, отказались работать. До обеда не было добыто ни одного зверька, хотя белка по елкам была, а когда охотник поднялся с колоды, чтобы поделиться с Пальмухой и Корсонушкой остатками пищи, собак уже нигде не было...

У самовара сосед извинялся, снова перебирал подробности неудачной охоты, а дедка молчал и тяжело и обидчиво попыхивал махоркой.

Когда сосед ушел, Афоня вышел на улицу и зазвал собак домой. Пальмуха доверчиво прижалась щекой к валяному сапогу, а Корсонушка лег у ног с другой стороны и мирно положил голову на устало вытянутые лапы.

Афоня выгреб из банки горсть крупных сахарных осколков, положил по снежной кучке перед каждой собакой, погладил своих приятелей и тихо, будто извиняясь перед ними за вчерашнее происшествие, добавил: «Нако-то, кушай, кушай, милые...»

Корсонушка осторожно, деликатно, краешком языка подбирал с чистых половиц сладкие кусочки. А Пальмуха еще долго смотрела в глаза человеку, будто все еще что-то объясняла старику, будто оправдывала и себя, и своего откровенного сына.

На ночь собаки остались в избе. Это было нарушением лесного правила, лесного закона, который запрещал псам ночевать в доме. Но у старика были свои уставы — он умел видеть в собаках не только охотничьих псов, без чьей помощи не обойтись в тайге.

Пальмуха и Корсонушка с тех пор ни с кем не уходили в лес. Они так же незаметно и верно ждали своего хозяина у дверей магазина, за воротами почты, так же довольствовались лишь редкими небогатыми охотами, но зато каждый вечер могли подолгу лежать в избе у ног хозяина и говорить, говорить ему своими глубокими глазами обо всем, обо всем, о чем не успели сказать раньше на торопливых охотничьих тропах.

Может быть, эти собаки были по-своему благодарны дедке за его новую жизнь, за его мягкие добрые руки на их ушах и за долгие теплые вечера, которые теперь они всегда проводили вместе.

Метели, ночи, пропущенный праздник

Наша охота начинается с черной тропы, но, в отличие от всех других охот по черной тропе, она ждет крепкую, схваченную хорошим морозцем дорожку под ногами.

Давно занесены в лес продукты; занесены, расставлены по местам и пока только ждут, выстаиваются под дождем и мокрым снегом капканы — клепи — на куницу. Еще не пришло время сторожить ловушки по окрайкам болот и рябиновому редколесью — куница еще не вычистилась, не оделась как следует на зиму. Еще не вышла, не опушилась белка. Но вот северный ветер согнал с ивы последний пожухлый лист, ночной мороз припечатал его к дороге, и под ногами наконец зазвенела, заговорила о начале промысла первая в эту зиму охотничья тропа...

Позавчера из деревни исчез Васька Спицын, уведя с собой трех собак и злополучного кота. Утром я уже не застал его дома, а на следующий день «сбежал» в тайгу и сосед дедки Афони.

Мужики, как всегда, исчезают из деревни один за другим, и деревня тут же стихает, словно грустно ждет, что на завтрашнее утро совсем останется без мужиков.

Женщины вроде все так же гремят по утрам ухватами, шумно обряжая детишек в школу, но когда утренняя суета уляжется, поостынет вместе с самоваром, присядет у окна хозяйка, поправит на голове платок и вспомнит добрым словом мужа, ушедшего надолго, и с надеждой посмотрит в сторону леса, старого разлучника, с которым давно уже свыклась.

Там идут сейчас наши охотники, идут от зимовья к зимовью, от костра к костру, и уже к первому ночному огню по дороге, глядишь, да и принесут взятую по пути дорожную шкурку.

А дальше: каждый день припирать колом дверь избушки, обходить болота и острова, возвращаться обратно и у скромного огня печки-камеленки коротать глухие вечера поздней осени — ранней зимы и вести отсчет тем дням, которые зовутся днями охоты.

Сам охотничий день остается на тропе, забирает у тебя все силы и оставляет на вечер лишь усталость, память близких и планы на новые охотничьи тропы.

Богата и легка черная тропа, и где-то надо очень поторопиться на ней, а то ляжет, упадет разом зима, начнут вязнуть в глубоких сугробах собаки, и за короткий зимний день по такой дороге уже не обегать столько, как по ноябрьской прочной таежной дорожке. Тогда реже выпадет ночевать в избушке, чаще ночь остановит на полпути за зверьком, и начнется для охотника еще один отсчет — начнется счет кострам под елкой.

К январю из леса порой приходится и уходить — снег еще не отлежался, не загустел, собакам трудно поспевать за куницей по рыхлым сугробам. И тогда бреди домой ждать февраль, ждать светлые дни, короткие ночи и примятый, осевший под ветрами снег. А в феврале снова лыжи, собаки, снова знакомые дуплистые осинники, еловые острова, вставшие над болотами, и снова вести счет ночам в охотничьей избушке.

В феврале ночной костер под елкой уже редкость — прибавившийся день в феврале дает закончить охоту до темноты, да еще от охоты остается теперь время вскипятить по полудню чай. И только когда упадет на тайгу с воем и слепым снегом погода, вспомнит охотник

и в феврале о ноде, о сухой сосне, что осталась примеченной еще с черной тропы.

К марту охота останавливается, затихает. Зверь оживает, начинает широко ходить перед свадьбой и готовится раздеться, скинуть зимний мех — какая уж там охота на худого зверя. Тогда молча собираешь мешок, подвязываешь к потолку от мышей оставшиеся с зимовки сухари, пшено, сахар, выкладываешь у окна махорку, газету, заворачиваешь в клеенку и убираешь за печь спички, покрепче затыкаешь бутылку с керосином и, простившись с родной избушкой, отправляешься в дорогу к другому родному дому. Так и кочует охотник всю свою жизнь от дома к лесному жилищу и обратно. И кто скажет, что больше сродни ему, какая крыша?

Собаки, словно все понимают, весело крутят хвостами, вертятся у мешка, собранного в дорогу, ревностно поглядывают на ружье и не могут никак дожидаться той минуты, когда ты поднимешься наконец с нар, приберешь с пола случайно оброненную щепку, положишь ее у очага и последний раз в эту зиму откроешь дверь избушки.

Да и как не понять собакам, что впереди дом, заботливая хозяйка, сытный обед, если еще с вечера ты аккуратно завернул в льняное полотенце и убрал в походный мешок давно правленные куньи шкурки...

Так и оканчивается каждая твоя охота, оканчивается последней белой тропой, и никто не виноват, если эта последняя тропа окажется вдруг слишком трудной.

В этом году на охоту нам не повезло. Черная прочная тропа совсем не пришла — снег сразу лег на сырую землю, и уходить в лес выпало по густым от мокрого снега болотам.

Морозы долго не заглядывали в тайгу, долго ворошила еловые лапы кислая метель. Зверь лежал по

дуплам, почти не ходил и тоже, наверное, ждал добрых дней.

Добрые дни пришли не скоро, да и явившись, не остались надолго, а лишь показались раз-другой. А потомхватило жестоким морозом, и затрещало в лесу от мороза ледовито и страшно.

След зверя мерз тут же, порошился инеем, быстро вымораживался от холода запах зверя. Собаки сбивались со следа, только верхом, на слух держались за куницей, хрипли от морозного дыма и быстро сбивали ноги по ледяному крошеву.

Из-за собак приходилось не один день отсиживаться в избушке. Не жаловал мороз и человека — дышалось трудно, бежать долго опасались, ледяная папироса тут же хватала губы, как дверная скоба хватает на холоде мокрую ладонь. Стыла спина, пока ожидал голоса собак, ушедших в сторону, а глубокий, накиданный еще в ноябре снег топил по пояс и сокращал дорогу.

Когда мороз вроде бы чуть-чуть отступал и ты торопился наверстать потерянное, с еловых вершин падала на плечи метель, вьюжила, напрочь засыпала след и гнала тебя обратно в избушку.

Метели тоже гостили подолгу. Другой раз с неделю не показывались звезды, приходилось сидеть у печи, цедить из котелка чай и от греха подальше подкладывать в очаг лишь березовые чурочки — не дай лешему попутать, не попади на огонь ель, стрельнет она по избушке углем, растрогает душу обещанным выстрелом, а где он, этот выстрел, когда по крыше скачут косые снега, а дверь за полчаса придавит таким сугробом, что сразу и не выйдешь за нуждой.

За хмурым ожиданием солнца и тишины терялся счет дням — дни тянулись темными, похожими друг на друга, как одна ночь, и где-то под самый январь вышла у меня ошибка с лесным календарем.

К январю зимовье пришлось оставить и тронуться к дому. Мешок не тянул плеч, но ноги все равно вязли в глубоком снегу вместе с лыжами. Лыжи легко уходили в рыхлый намет и через каждый шаг добирались до болота.

Болота, ушедшие под снег до мороза, так и не застыли и теперь прочно хватали льдом лыжу и не пускали дальше.

Лыжи пришлось оставить по дороге, пришлось скинуть валенки и натянуть резиновые сапоги и без конца месить стынущую следом за тобой густую торфяную кашу.

К вечеру показалось солнце. Еще оставалось часа три дороги — еще можно было успеть засветло, но неверная нынешняя зима подвела и тут. Солнце только показалось в очесах туч, тут же припало обратно к рваным концам темной пелены и исчезло.

И вместо солнца загудели, завесились тяжелые заряды, дорога пропала, ослепла, потерялись стволы деревьев, и только чутье собак да твоя надежда попасть к дому именно сегодня еще как-то помогали идти и не кривить. И лишь перед самой деревней что-то подвело, помешало, завернуло в сторону через чащобник и чуть было не утащило в обход жилья.

Помог свет, что мигнул вдруг через пуржистую ночь, будто кто нарочно вышел на крыльцо, дождался, когда заряд пройдет, и засветил лампу.

У крыльца силы было оставили — ружье скользнуло в снег, и сухой холод сугроба потянулся в потный рукав.

Хозяйке пришлось ставить самовар, греть на тагане щи. А ты молчал, еще никак не мог расстаться с дорогой, жадно курил и запивал каждую папиросу крутым кипятком...

И только присмотревшись к календарю на стене, ты подтвердил свою недавнюю догадку — метели сбили

все-таки счет дням, ты ошибся и опоздал выйти с
зимовья к Новому году...

Сети и сказки

Счет дням в избушке обычно ведется по зарубкам на краю стола, на доске у печи или на батожке, которым ворошишь в печи угли. Зарубки кладутся каждый вечер по-еле ужина, чая и недолгого разговора с собаками и напарником, если таковой живет с тобой под одной крышей.

С напарником зимовать веселей, проще, тогда кто-то из вас обязательно будет помнить об очередной щербинке на батожке.

А когда ты один в лесном домике, когда еле добредешь домой, не раздеваясь, не скинув шапки, прихлебнешь из остывшего котелка ухи, подашь собакам по куску и свалишься на постель, даже как следует не покурив?.. Тогда, случается, и забудешь о ноже и немудром лесном календаре. А потом на другой вечер попробуй вспомни: оставил или нет на краю стола метку за вчерашний день.

Легче не потерять счет дням и ночам, если забрать с собой на зимовье нитки для сетей. Каждый день проходишь челноком по паре рядов, и когда довяжешь последний, шестидесятый, то, считай, месяц прошел. Тогда начинай новую сеть, новые ряды и жди окончания еще одного месяца.

Редко кто не приносит у нас из леса пару новых сеток. Правда, и тут не каждый день берешься за полку и челнок — и здесь можно ошибиться в календаре, но полка, и челнок, и тонкая нить помогают не зря пересидеть, переждать метель, помогают не так часто вспоминать обратную дорогу и неудачные дни.

Когда под крышей избушки собираются двое, то сети помогают и вечернему разговору — они будто сводят вместе истории двух людей и вяжут, вяжут их

друг за другом в неторопливый, немногословный рассказ.

Мы верим своим рассказам, верим хотя бы потому, что все они родились здесь, на тропах, и ни одна история не принесена в избушку посторонним человеком. А если и случается услышать уж что-то необычное — тоже верим: ведь кто знает, может, уже завтрашнее утро приготовило тебе историю поудивительней.

А посторонний человек? Как он — верит или не верит?.. Да какое наше дело до посторонних людей — ведь не каждому привелось добрый час носиться по озеру за огромной щукой, схватившей блесну, и все-таки расстаться и с заветной блесной, и с рыбиной, а потом вдруг снова случайно подцепить пудовое страшилище и найти в ее пасти потерянную было снасть. Не каждому выпадет неделю ходить за куницей впустую, злым вернуться домой и вдруг встретить такого же зверька прямо на крыше своей избушки.

А кто еще видел свой капкан вдруг закрытым, не находил рядом приманки и все шел и шел по кругу от одной захлопнутой клепы к другой и даже начинал верить, что так нагло мог подшутить только сам леший... Капканы приходилось снова сторожить, снова добывать приманку, снова терять дни — и снова вдруг исчезнут беличьи тушки и пропадет долгая старательная работа. Ты уже догадываешься, кто балует в лесу, но метель мешает пока найти рядом с расстороженными капканами косолапый след россомахи.

Да, всякое может быть здесь, в тайге... Да и при каждом другом деле вдруг да выйдет какая-нибудь история. А уж если покажется она вам больно занятной да перескажут ее другие раз-другой — глядишь, и вернулась она к тебе чуть-чуть переделанной. Вот поэтому и не слушаешь постороннего рассказчика, зная, что не о себе, а о другом человеке завел он сказку.

Мне приходилось по многу раз слушать каждую повесть дедки Афони. Слушаешь всегда внимательно, ждешь новую историю, и лишь потому, что не утащил у другого Афоня свой рассказ — да и зачем ему ходить за чужой бывальщиной, когда лет пятьдесят отхожено у старика по тайге.

Может, и не помнит он сейчас точное число журавлей, что померзли тогда в лютую осень на полях, но было так — откуда-то рухнул мороз еще в октябре, до Покрова дня, за ночь вымостил льдом даже великие озера и погубил сразу не одну стаю птиц. Собирал ли Афанасий Тимофеевич померзших птиц, брал ли с них мясо, перо — да и это не важно, важно, что в коротком рассказе еще до сих пор живет «такая Хлопонина», что на «осьмой версте от поля» встал дедкин конь...

«...Морозко-то пал, да и на птиц. А те вроде как не поймут ничего. Стоят по полям, ногами по лужам перебирают от холода, а никуда не летят, будто гадают: уйдет морозко, повоюет и уйдет... А тот — на тебе — и остался. Лужи-то смешались в лед, а ихние лапы и пооставались на месте... Еду на коне, слышу, будто кто ревит по-за полем. Я к тому месту, ружья-то не было, да думаю, что выйдет, так обойдусь, — ножичек-то при себе держал. Гоню коня, а конь и встань себе на осьмой версте от поля — боится, ушами попрядывает и не идет. А Хлопонина стоит по полю такая, что ни земли, ни леса за ней не видать. А улететь-то им теперича и некуда — примерзли лапами. Так все и поледенели. Много их тогда навалило по полю. Будь по тем временам трактор, так не одни тракторные сани вывез бы птиц-то этих. А то что — конь один, да и тот под седлом».

Если остановиться и вспомнить сейчас дедкин голос, его прищуренные глаза с хитринкой, самокрутку, торчащую красным угольком из усов и бороды, вспомнить, вернуть словам все восклицания и оханья,

без которых не бывает Афониных рассказов, то снова окажешься около коптилки, рядом с крошечным окном в притихшую на ночь тайгу, увидишь медленные языки спокойного пламени над сухой чуркой, и тебе снова и снова захочется почему-то услышать все-все и о «Хлопонине», и о «лужах, смешанных в лед», и, конечно, о «тракторных санях», которых в те времена, увы, еще не было...

А щука, схватившая за край одежонки?.. Есть у дедки знаменитый пиджак. Честно говоря, от первоначальной материи на этом пиджаке давно ничего не осталось — заплатка закрыла другую заплату, вырванный медведем рукав заменен новым, но пиджак есть, дедка ни за какие деньги не расстанется с ним в лесу, и эта походная одежонка старика хорошо помнит и когти медведя, что пошел на охотника, и лося, который хватил зубами за плечо, и, конечно, страшенную щуку, опрометчиво бросившуюся к лодке и вцепившуюся в полу одежды.

Здесь тоже надо остановиться и обязательно пояснить, что лодки по нашим местам небольшие и низко сидят в воде, так что распахнутому пиджаку или ватнику ничего не стоит окунуться краем в озеро и долго и незаметно для гребца полоскаться рядом с тонким осиновым бортом долбленой посудинки. А еще следует заметить, что даже сейчас есть по тайге такие озера, где щука нет-нет да и схватит сгоряча чуть ли не кусок палки, брошенный в воду.

В тот раз щука тоже недолго раздумывала. Она бросилась к лодке и схватила старика за свесившийся в воду угол форменной одежды. Может, все на этом и кончилось бы, но вот беда — увязла рыбаина зубами в крепкой материи, да и дедка оказался строптивым.

Старик рассказывает сейчас, как щука вытянула его из лодки в воду, как порешил он не расставаться с неожиданной добычей даже в воде... Кто был

свидетелем этой встречи?.. Вся деревня основательно утверждает: пошел Афоня летом к озеру проводить лодку, не взял ни ружья, ни удочек, ни дорожек, а вернулся с той самой страшенной щукой, о которой сейчас рассказ.

Рыбина действительно была огромной — дедка еле тянул ее за собой, перевесив голову страшилища через плечо... Вот и вся история...

Ну а медведь, к которому старик наведалься в гости на берлогу?.. Здесь уже может поручиться и автор сегодняшнего повествования о деяниях дедки Афони — было такое...

И надо же было случиться — старик решил срубить сосну над самым медведем и сослепу угодил лыжей в берлогу. Медведь выскочил, очумел от неожиданной встречи, взревел, но успел только обломать у непрошеного гостя лыжину. Старик еще крепко держал в руках ружье, и выстрел верной централки выручил еще раз нашего патриарха.

Афоня притащился из леса чуть живой и, еще не веря до конца в добрый исход, тихо попросил соседа сходить к бригадиру за лошастью.

В лес катили всей деревней, отыскиали по следам развороченную берлогу, все осмотрели, проверили, привезли в деревню на санях тушу опрометчивого медведя и обломок Афониной лыжи и сами за дедку составили новую таежную «сказку-быль»...

Старику коллективное творчество понравилось, он живо подправил шероховатости повествования, переставил по-своему кой-какие слова, уточнил детали, снял излишние восклицания и, конечно, добавил к истории тот самый пиджак, которого чуть было не лишился вместе с головой. И теперь, заглянув к кому-нибудь в гости, он каждый раз вспоминает сломанную лыжу, что все еще хранится в кладовке, и

неудобную квартиру медведя под вывороченным корнем-выскорем...

Сейчас дедка молчит. Он давно уже не вяжет сетей, давно окончил сегодняшний пересказ всех своих историй и, наверное, просто вспоминает те дни, когда он так же, как сегодня его напарник, гонял по полке ячею за ячеей, гонял быстро и ровно, хоть с закрытыми глазами, и не по два ряда за вечер, а...

До конца второй сетки мне осталось всего два десятка рядов, десятков вечеров — и можно будет собираться домой.

Мы с дедкой обязательно дождемся тихого дня, с вечера высмотрим на небе звезды, погадаем завтрашнюю погоду и только тогда тронемся в обратный путь.

Наверное, Пальмухе уж очень хочется домой. Она чутко сторожит в нашу сторону уши и поглядывает на старика добрыми глазами... Мы скоро пойдем, Пальмуха, заберем с собой обратно и Корсонушку, и моего шального Бурана. Я не обманываю тебя, замечательная собака, я просто хочу сказать тебе спасибо за то, что принесла ко мне на зимовье вместе с дедкой мир, уют, теплые вечера и замечательные лесные истории.

У меня еще очень мало своих лесных историй, мне никак не равняться с дедкой, как не равняться моему Бурану хотя бы с Корсонушкой. Наверное, поэтому я сейчас больше молчу, вяжу сеть, прислушиваюсь к каждому слову старика, верю ему, гадаю про себя о будущих тропах, строю всякие планы и очень хочу когда-нибудь, когда моя дорога за куницей вдруг остановится, тихо вспомнить всех наших собак, всех охотников и попробовать, как дедка Афоня, оставить другим лист за листом большую книгу о нашей охоте.

В МЕДВЕЖЬЕМ КРАЮ

Год 1965-й. Следы на дороге

Ночь. Заваленная камнями река. Речку зовут Шильдой. «Шильда... Шильда...» — поет на камнях вода. «Шильда... Шильда...» — тревожно отзываются разбуженные мной кулики. Шильда приходит из настоящего леса... Завтра не будет лесовозов, мотопил. Завтра, очень может быть, вступлю я в «медвежье государство»... Государство сложное по конституции и истории.

История вроде и проста для людей... Еще в прошлом году в лесу жила деревушка. По раннему морозцу ее вывезли. Вывезли на тракторных санях скарб, людей поближе к другим людям и вконец размесили дорогу. В лесу оставалось теперь только полтора десятка брошенных домов. Сейчас в лесу были еще телята, отправленные на летний выпас, и два пастуха... Это — история для людей.

Для зверя по-другому. Для зверя в этом году не будет овса, которого он ждет. А ждет ли? Не будет ограничений в передвижении, что устанавливали люди. И еще одно: в этом году родились медвежата, которые пока не видели человека.

Ночь останавливает мысли, обращенные к завтрашнему дню. Живо только прошлое: вся дорога сюда, все километры — полтора месяца рек, ручьев, троп, тайги и медвежьих историй. Еще сегодня днем я ничего не знал о завтрашней деревушке. Брошенные избы, стадо в лесу, два пастуха появились уже в темноте, перед Шильдой, появились с очередным рассказом о медведе.

...Старик, пожалуй, был упрям в пристрастии к древним привычкам. Расшатанное ружье, гильзы, раздутые от чрезмерных зарядов, и капсюля,

заколоченные молотком. Капсюля часто подводили при выстреле — случались осечки. Последняя осечка для старика оказалась роковой... Медведь объявился неожиданно, хотел уйти, но старик поднял ружье и выстрелил. Раненый зверь повернулся и пошел на охотника. Руки не могли подвести — крепкие руки лесного старателя верно держали ружье. Но второго выстрела не получилось — подвел капсюль... Останки старика захоронили, а в лес с отцовским ружьем теперь ходил сын. И ружье снова подвело. В том же лесу, на том же месте навстречу человеку поднялся медведь. И медведь не убегал. Выстрел — и только ранение. А вместо второй пули — снова осечка. Ревущая пасть рядом. Грише остается последнее — «отдать руку». Рука уходит в пасть, в горло. Зубы жуют одежду, тело, а лапа зверя ломает голову с затылка... Дальше Гриша ничего не помнит. В новую память пришла боль в пережеванной руке и скальп, снятый с затылка ко лбу. Потом Гриша помнит и медведя. Его привезли мужики и нашли в звере и ту пульку, которую послал навстречу своей смерти еще старик...

Это правда. Есть Гриша. Нет старика. Есть пули отца и сына, посланные в зверя. И был тот самый медведь, встретивший еще раз человека, не убежавший от него, а пошедший на Гришу еще до выстрела... Что это — память, недобрая память о человеке?.. Может быть, ибо верю в медвежью память.

Я не хочу распространяться дальше о мышлении, о праве животного видеть сны, помнить старые дороги и обиды. Я почти ничего не знаю о характере этого умного животного. А умного ли? А может, это только моя загадка, в основе которой живет простое отдергивание лапы от горящей спички?.. Но медведь не только «отдергивает лапу», но и пытается «погасить огонь». Постой, но даже гадюка «гасит спичку», гасит ловко и быстро, нанося удар ядовитыми зубами. А будет

ли помнить гадюка в течение года «спичку», причинившую ей боль? Пожалуй, нет. А может, ничего не помнит и медведь? Может, только сила, ярость и глухая, таежная жизнь зверя и рождают загадки?.. Не знаю. Пока только сбор информации, запись медвежьих историй, редкие следы на таежных тропах и старые, давно снятые со зверя шкуры. Но завтра настоящий лес и, возможно, «медвежье государство».

Лес уже есть. Он стоит темной еловой стеной, редко пробитой то там, то здесь белыми столбиками худых березок. На дороге старые, раскисшие следы стада и отпечатки резиновых сапог. Сапоги оставили после себя следы тоже давно, но уже после стада... А медвежьих следов пока нет. Хозяин тайги еще не подавал голоса, но уже говорила тишина, глубокая, ждущая чего-то тишина. В такой тишине иногда становится не совсем спокойно, когда не знаешь до конца, что явится сейчас перед тобой вон за этим поворотом дороги.

За поворотом оказалась старая ель и под ней свежая медвежья лежка. Чисто умятый лапник, обкатанный, слежавшийся и еще не успевший отсыреть от дождя, что остался на елке и теперь падал с еловых игл вниз. Медведь только что был на лежке.

Лапник для постели медведь собирал со стороны, не трогал то дерево, что прикрывало «перину» от непогоды. Я обошел лежку и отыскал след. Медведь уходил вдоль дороги и не очень торопился — не рвал когтями стебли травы, а подстилал под лапу только то, что мешало почувствовать твердую почву. Не было «чистого», открытого грунта, и «видеть» медведя по отпечаткам лап я не мог.

Тишина заговорила еще беспокойней от реальной близости зверя и неприятного отголоска услышанной вчера истории. Я гнал от себя жеваную руку и скальп, снятый с головы Гриши, гнал своей верой в медвежью добропорядочность и ружьем, разобранным ружьем в

чехле. Да, у меня есть ружье, я не забиваю молотком капсюля и ни разу не знал осечки... Но я хотел верить, хотел служить той истине, что ласковые руки и добрые глаза могут открыть тайны животного даже с дурной славой, если не учитывать, конечно, случаи глубокой патологии. Ружье — это не мой арсенал. А что мое, когда вот-вот может состояться первая встреча?..

Встреча на этот раз не состоялась. Медведь вышел на дорогу раньше меня, пересек ее и скрылся в ельнике. От него не осталось ни качающихся веток, ни легкого для медведя потрескивания сучка под лапой. Он обронил только следы на черное, сырое зеркало давно не хоженной торфяной дороги. И опять не торопился.

Медведь оказался местным — он тут жил, кружил по лесу и не покидал эти места надолго. Его не смутило стадо, не смутили и рыбаки, которые нет-нет да и похаживали в лес, к озерам... Частые, старые и свежие следы у Пашева ручья на дороге не могли молчать — они говорили, говорили не сразу, но все убедительней и убедительней о первом медвежьем «доме», который встретил я на своем пути.

Ночевал я у Вологодского ручья — до пастухов оставалось с десятков километров. Ночевал под комарами у дым-кого костра. Пожалуй, для жителей леса дым костра, связанный в их памяти с людьми, выстрелами и запахом человека, есть не что иное, как заявочный столб грозного существа, сигнал его территории. Территорию соседа надо уважать тем более, если он сильный. Я верил в это, верил в свой костер — в свою заявку, которую сделал на сегодняшнюю ночь, и потому спокойно спал.

Утром, еще в тумане, я неприятно узнал, что этой ночью рисковал быть выдворенным с территории другого медвежьего «дома», и к тому же более беспокойного. Рядом с костром у мостика лежали под

сегодняшней росой вчерашние следы дородной медведицы и ее малолетних наследников... Медвежат было трое. По дороге к ручью мать нет-нет да и косилась на них, а то и приподнимала лапу, чтобы удержать неуравновешенное чадо на правильном пути. От таких расправ на коричневой глине оставались скользнувшие назад лапки испуганного медвежонка и решительный приостанов медведицы. Так семья и добралась до ручья, переправилась по мостику и мимо моего будущего костра свернула в еловый лог...

К медведице во мне жило особое уважение. Медведица с медвежатами оставалась пока тем крайним случаем, когда инстинкт сохранения вида мог затмить и без того неясный для человека рассудок животного... Но о крайних случаях потом, а пока я просто иду навстречу следу медвежьего семейства, иду «в пяту», как говорят охотники, вижу новые для меня, но уже обмытые, обветренные следы и снова нахожу подтверждения, что вокруг меня территория еще одного медвежьего «дома»...

Медведица исправно посещала значительный участок моей сегодняшней дороги. Развороченные муравьиные кучи, грибы без шляпок, смятая труха старых пней и покопы... «Дом» обрывался последним растрепанным муравейником. Здесь медведица появилась на дороге, здесь она выходила и вчера, и еще раньше... А может, и сейчас она снова появится здесь?.. Я ждал. Но никто не показывался, не вышел на дорогу, не было слышно даже треска и шорохов.

Треск я услышал уже на Черепове. Узкая поляна когда-то называлась пашней. В этом году пашня заросла, и лишь по остаткам соломы у края дороги можно было догадаться, что еще в прошлый сентябрь здесь шелестели под ветром сухие метелки овса. Сейчас ветра не было, но был треск.

Потрескивание остановилось вдруг, и недалеко от меня. Это не лось — лось уходит дальше, дольше гремит. О медведе не позволял догадываться сам неосторожный звук, звук отрывистый и тяжелый. Медведь ходит тише и незаметней. Он не ломает сучка под лапой, а мягко обтекает его подушечкой ступни. Если сухой ветке и приходится треснуть, то не ударом, а после плавного изгиба. Да и сама лапа медведя глушит, задерживает звук, как ватный тампон — треск ломающегося стекла ампулы...

Но почему медведь сейчас так гремел?.. Все-таки это был медведь — снова следы, ясные и чистые от свежей и податливой почвы. Наверное, он еще не был взрослым... А если этого медведя никто как следует не пугал и природная осторожность еще не сменила детскую беспечность?

Третий «дом»! Рядом со вторым. Третий медведь не доходил до медведицы с медвежатами метров восемьсот. Между двумя «домами» лежала естественная и незыблемая граница — хиленький ручеек, который ни левый, ни правый сосед не осмеливались перейти.

Три «дома»! На двадцати четырех километрах дороги, Главной дороги людей в лес. «Дома» четко очерчены, огорожены собственными заборами — следами, между следами соседей естественные рубежи — «вспаханная полоса». И все это без нарушений, строго и верно. Как это походило на то, что наконец я смогу начать наносить на лист бумаги карту «медвежьего государства».

Год 1965-й. Надпись на дереве

По ночам в пустой избе рядом с тщедушной коптилкой я все острее и острее представлял себе, что местное высшее общество, состоящее сегодня из трех человек, четырех собак и семидесяти несмышленных телушек во главе со строптивым быком, находится в кольце медвежьего окружения... Нас впустили в лес и отрезали дорогу назад тремя эшелонами глубокой обороны: медведь у Пашева ручья, где я наткнулся на лежку, медведица с медвежатами у Вологодского ручья, где был мой костер, и неосторожный медведь на Черепове. Но это еще не все. Впереди, по тропе к Верхнему озеру, тоже ходит медведь, даже два. За деревней еще один зверь. Есть и за озером. И это только первый ряд оборонительного кольца... А может быть, наступательных позиций?

Коптилка и дневник были уже ночью после ужина и очередных рассказов о лесном хозяине... От Петра я слышал почтение к медведю, осторожность в обращении с его именем, то самое уважение, с которым старики рассказывали мне в дороге о «страшном звере», страшном не от силы, а от «похожести на человека». Эта похожесть, по их мнению, была в уме, в сообразительности животного.

Василий резал проще, переводя все в выстрелы, осечки, премии и мясо. И только напоминание о Грише, о его растерзанном отце иногда останавливало не в меру заготовительный темперамент охотника. Нет, Василий не боялся, но знал, что стрелять надо близко и верно, чтобы «стрелить враз».

За этим «стрелить враз» покоилось многое: отжившие берлоги, бывшие медведи, медведицы с медвежатами... Приходилось порой и убегать. Убегать

успевал — вижу по нему. Рассказы лепятся, растут как снежный ком, затем ком тает, и остаются картины тупого глумления и просто убийства, за которое еще совсем недавно выплачивали в здешних краях немалую премию.

...Тогда трех привезли. Медведица была— с нее и начали. Стрелили — ревет и в кусты. А медвежата в елку ползут. Их стрелили — не падают...

А потом еще и еще раз, как окончились пулевые патроны, как Васька с братом Николой расстреляли в упор дробовыми зарядами двух медвежат, как мать бросалась из кустов, только пугала, тяжело раненная, не лезла в драку и как люди ничего не поняли и ради премии расстреляли и ее... «Давали премию».

Петр молчит, молчанием подтверждает правду, а иногда тоже говорит об овсах и раненом звере...

— А на человека раненый идет?

— Не помню такого. Вот на Черепове стрелили, заранили только — он и ушел в выломок.

— А на овсах близко подходит?

— Другой раз и к тебе подкатит. Мы же лабазы не строим, с земли ждем, сидишь в борозде и ждешь...

Что это? Отвага? Вера в ружье? Или другое — убеждение, что зверь мирный и всегда уходит, даже сильно раненный, если не мешают уйти? Откуда это?

— А скот у вас медведь драл?

— Не бывало вроде...

— А мужиков ломал?

— Этого зазря нет. Да уходит он...

Василий крутит папироску и подводит итог нашей беседы только молчанием. Он, пожалуй, тоже не помнит, чтобы медведь кого-то просто так сломал. Вот за его женой Валентиной зверь шел, но тут другое дело: «На сносях баба была... Таких не ломает, ветками закидает и уйдет — только не ори дурно... Бабу на сносях медведь любит...» Почему так?

Разных «почему так?» набирается много. И это только к тем историям и фактам, достоверность которых велика... По ночам у коптилки отбрасываю все, что не могу проверить сам. Но отбрасывать многое жалко... Ружье! Медведь отбирает у охотника ружье!.. «Первым делом ружье отбирает, а там и ломать...» — твердят все. Видел шрамы, документы об инвалидности. Разговор проводишь тонко, не спрашиваешь сразу, а восстанавливаешь от слова к слову всю картину схватки, и каждый раз получается одно и то же: именно отобрал ружье, которое вроде бы и не мешало зверю.

Память на обиды!.. Здесь почти достоверность — наблюдений много, опыт почти чистый... Но все-таки проверить сам не могу. Для себя оставляю малое: первый шаг к зверю, протянутая навстречу медведю рука человека... Остальное помню и верю охотничьему лесному немногословию. Верю потому, что о работе не лгут, а лес — это их работа. Солгать не даст и тропа. Ложь не допустят следы, выстрел в тайге, стреляная гильза, медвежья дорога, неприкосновенность нашего стада, отсутствие невинных жертв и надписи на деревьях.

Есть в тайге такие надписи... Бредешь другой раз по тропе к озеру. Слушаешь, стараешься не беспокоить лес, ждешь... И вдруг встретишь старую, давно затекшую густой смолой надпись: дата, месяц, год, инициалы. И читаешь по этой надписи, что в августе, числа 23-го, в год 58-й Зайцев Федор встретился у этой ели со зверем. И зверь остался побежденным. Может, и из-за премии.

Год 1965-й. Белая карта

Карта есть. Я только перерисовываю ее крупней и подробней, иногда опуская не интересующие меня детали, — ведь это моя карта. На лист бумаги я наношу свои встречи со следами животных, рассказы Василия и Петра, надписи на деревьях и даже лай собак. Я знаю, где бродят наши телушки, где их разыскивает Петр, сам хожу в такие поиски, но ни разу не видел коровьих дорог, перерезанных медвежьим следом. А медведь есть, живет рядом. Что это — уважение просто к стаду? А почему бы у медведя, живущего здесь оседло, не могла возникнуть логическая связь между телушками и людьми: люди стреляют — лучше не надо? Может быть, это и есть закон уважения территории соседа, к тому же соседа, хорошо вооруженного? И медведь живет рядом со стадом, не трогая, не пугая его, и рядом же со стадом охотится на лосей.

Костя — лесник, местный житель. Медведь на дороге, на сваленном лосе. Рык зверя! Костя упал на землю. Потом отошел и вернулся домой невредимым, а медведь остался, не убежал.

Зверь на добыче! Инстинкт насыщения! Крайний случай, когда агрессия со стороны грозного зверя кажется неминуемой... Но был рык. Рык — предупреждение: «Не трогай мою добычу! Уходи!» Костя ушел, но сначала упал на землю. Испуг, отказ человека от ссоры. Медведь понял ответ и не бросился. Инстинкт имел право подавить разум. Не подавил. Медведь предупредил — пожалуй, это от благородства.

А встреча дедки Степанушки с медведицей... «Стоит, пугает меня, плюется, а конь щиплет траву, а медвежата по елкам сидят...» Я хорошо знаю этого старика. Может, зверь и не умеет разбираться в наших

тайных мыслях, но фасад у дедки богобоязненный, тихий. Он мог негромко сказать остановившемуся коню: «Поехали, что ль...» И конь поехал, оставив сзади успокоившуюся медведицу... «Пугает меня, плюется» — снова предупреждение, снова шаг благородства. И опять в крайнем случае — материнство, инстинкт сохранения вида...

Что еще?.. Медведица перед расстрелом, когда Василий и его брат Никола так и не посчитались с отвагой матери. Медведица только «пугала», раненная, не лезла в драку...

А «здравствуй, Мишко» Петра на Вологодском ручье?.. Медведь рылся у дороги. Петро просто шел, припадая на протез. До медведя совсем близко. Петр подошел и просто добро сказал: «Здравствуй, Мишко...» Мишка поднял голову, поводил носом и уступил дорогу.

А если все эти жесты примирения только от трусости?.. По лесу носились такие безумные охотники, как Васька, били зверя, громыхали ружьями. И теперь зверь, встречаясь с человеком и помня его воинственные сигналы, просто извиняется, просит пощады и фыркает от страха, как месячный котенок на зверового кобеля. Ох уж нет. Не хотел бы я оказаться на месте того же Василия, когда он беспардонно выстрелил как-то в медведицу... И бежал тот самый Васька, что знался в тайге даже с самим лешим.

У медведя пока можно отнять все, но нельзя не оставить ему добродушия и доверчивости до нанесения жестокой обиды. Природная сила, чувство независимости при силе, наверное, могли родить в животном эти качества? Петр не оставлял надписи на дереве, не расписывался тогда и дедка Степанушка. Пусть живет в их рассказах некоторая недостоверность, но есть общие утверждения. Множество маленьких «да», произнесенных даже с различной эмоциональной

окраской, все-таки определяют путь к истине — к большому «ДА»!

Карта продолжает оживать новыми подробностями. Собранная и разложенная информация требовала хотя бы предварительного итога обработки. Завтра я иду сам. А с чем?

Первое: добродушие (уравновешенность, рассудительность — что хотите — это пока качественные категории). Добродушие от силы, от уверенности в себе — хозяин в лесу пока только он. Но зол! И памятлив на обиды! От добродушия — благородство и нежелание ссориться по пустякам.

Второе: любопытство. Да. И не только у медведя. Но опять же медвежья сила! Широта кругозора от всеядности, разнообразие кормовых угодий и путей передвижения. Память прочно удерживает то, что видел, знал. И вдруг новое! Но испуга нет — от силы. Тогда можно и проверить, поинтересоваться... Но не только любопытство... Сила и благородство зверя через любопытство (а не испуг при встрече с человеком) обязаны родить у животного доверие, если до этого память не хранила обид. Доверие — уже много. Отсюда путь еще дальше — к языку жестов и тайнам животного, к тайнам леса через «рассказы» доверившегося тебе медведя.

Крайние случаи остаются!

Медведь-шатун. Не улегся в берлогу или поднят из нее и не нашел другую. Серьезный зверь. Зима и голод. Случаи людоедства достоверны и нередки. Ружье в дороге не помешало бы. Но сейчас не зима.

Выход из берлоги с первой весенней водой. Опять же голод! Видел останки лосей, сваленных на апрельский наст. Но все-таки верю и ждал бы предупреждения. Не буду мешать, постараюсь думать добро и не желать зла. В позе никакой агрессии, ничего лишнего в руках, плавность движений, но не

скованность — резкие движения могут подсказать зверю, что в страхе я способен броситься на него, как кидаются через опасность с закрытыми глазами. Если отступать, то не спиной к нему, а спокойно. Это ясно. Но берлог давно нет. Яркого голода нет. Но может быть лось, сваленный медведем... А если медведь услышит меня и затаится в кустах? Как тогда ему все объяснить?.. Будет видно по обстановке...

Гон. Период гона. Ослепление. Горячие следы самки. Но гон не сейчас. Сейчас август, гон в мае—июне. Что видел у других? Бой лосей. Безумие. Страшно. Бык теряет осторожность — можно подойти и бить в упор. Но не показывайся... Как у медведей — до конца ли безрассудны?.. Все-таки, наверное...

Медведица с медвежатами. Подход тот же, что и в случае яркого голода. Надеюсь на благоразумие, которое обязано предупредить безрассудство — не все же матери теряют голову при виде своего чада ревушим. Да я и не собираюсь расстраивать медвежат.

И, конечно, выстрел. Верю, что выстрел, боль после него, и не только свою, медведь помнит. Помнят выстрел и другие животные по ранам, по крику боли или предсмертному стону соседа. Соседом тут может быть и животное другого вида. Но медведь помнит выстрел чуть по-другому. Он силен, а сила требует отмщения, если выстрел не изуродовал до конца психику... Думаю, не сказки. Пока все.

Завтра я сделаю первый шаг туда, где перед большущим знаком вопроса стоят два не совсем обычных понятия: добродушие и доверие. За меня пока только рассказы, надписи на деревьях, мое ружье, остающееся в избе, и ни одного стреляного медведя на завтрашней тропе.

Год 1965-й. Кто ты?

Сегодняшние следы уже лежали на тропе, и я еще раз убедился, что он выходит на прогулку не по расписанию. Кто он? Он не велик. Василий, пожалуй, выразил бы его солидность в пудах: «Медвежонок — пудов на пять». Меня же интересовал его характер. В следах не было последовательности. Если медведь все-таки добирался до Первого Соколье болота, то по ягодунику крутился бестолково: по старым следам, у объединенных кустов, вместо того чтобы пройти дальше.

Это животное, судя по всему, не задумывалось и обо мне, не искало встречи, а мои следы просто не замечало. Я подолгу ждал его у края болота, иногда слышал, но увидеть так и не удалось. Позже, изучив пути и время прогулок этого медведя, я пришел к выводу, что встретиться с ним на тропе так же трудно, как с человеком, который никогда не знает сам, что он будет делать в следующую минуту.

Но тропа к Верхнему озеру не сходилась клином на этом дурном существе. Первое Соколье болото оставалось за спиной, а за еловым островом начиналось новое болото — Второе Соколье, где проходила граница следующего медвежьего «дома». Еловый остров оставался «вспаханной полосой» даже при наличии достаточного соблазна: черничник, муравьиные пирамиды стояли нетронутыми.

Хозяин нового «дома» оставлял после себя неторопливые, солидные следы. Первый раз я старался не наступать на отпечатки медвежьих лап, но на следующий день новых следов на тропе все равно не было. Я отыскал их только в стороне — медведь обошел теперь уже мою тропу. Его угрюмая осторожность, недоверие чужому, но прежняя верность своему

хозяйству вызвали меня на особое откровение — я дал медведю кличку. С тех пор от Второго Сокольевого болота до Верхнего озера мы ходили по тропе вдвоем: я и Лесник. Он должен быть хмурым и неразговорчивым, этот Лесник. Пристальный взгляд-ожидание: что ты скажешь ему?

Но до разговоров было еще далеко. Лесник так же уходил от меня, роняя на белую глину тропы яркие следы — следы затекали водой на моих глазах... На обратном пути я снова видел отпечатки его лап, и снова они были проложены только-только: Лесник снова проверял тропу.

Подошвы человека, его запах, его заявки на захваченную территорию не могли не беспокоить медведя, ведь мои заявки лежали в его доме. Но я снова и снова метил тропу и каждый день шел только к Леснику, просто так отмечая по пути наличие первого дурного медведя. Определение «дурной» постепенно отделилось от своего хозяина и однажды заговорило для меня кличкой зверя: Дурной. Дурной так же ползал по болоту, я не шел к нему и не знал, освоил ли он всю ягодную плантацию.

На тропе все чаще и чаще оставались мои новые знаки: тесок ножом по корню елки, стружка с рябинового прута, коробок спичек на камне. Я уже не боялся курить на тропе. И медведь не уходил, не сторонился моих заявок, но я ни разу даже не слышал его... Мы жили вдвоем в одном доме, без перегородок, но не знали, не видели друг друга. Не видел я — это точно. А как он?

Иногда, возвращаясь обратно уже в сумерки, я невольно ловил себя на мысли, что угрюмый характер Лесника не потерпел бы, пожалуй, шуток и фамильярности, за которые сейчас, в темноте, можно было принять любой неосторожный шаг с моей стороны.

Теперь мои хождения постепенно превращались в какую-то странную охоту. Кого за кем? На обратном пути с Верхнего озера я с неприятным холодком продолжал узнавать, что Лесник подходил сегодня еще ближе к моему вечернему костру — медвежьи владения расширялись в мою сторону. Что он хотел? Выгнать меня? Отрезать к берегу или попросить убраться совсем? Решение уйти было рядом. Но медведь опередил его.

Лесник пришел сам. Он встал вечером, перед туманом, на берегу, почти надо мной, и молча. Я узнал о нем по странному, но острому чувству, которое обнаружил в себе только в лесу, где из-за каждого дерева на тебя может кто-то посмотреть. Я мог угадывать эти скрытые глаза. Угадал и сейчас.

Медведь стоял близко и неподвижно. Запомнил глаза: глубокие, пристальные. Уши не прижаты, подняты, будто в ожидании. Стоял крепко, ровно, на всех лапах и ждал. Потом ушел спокойно, будто довольный, что теперь все узнал. На обратном пути его не остановила ни пустая пачка сигарет, ни новый спичечный коробок, положенные на тропу сегодня утром... На яркую бумажку он просто наступил.

Что я делал тогда?.. Сначала только не шевелился. Потом повел головой в его сторону. Медленно переложил руку с колена на землю. Осторожно поправил кепку. Он повел носом... Вроде все... Еще сказал про себя, сказал глазами: «Здравствуй, Мишка».

На тропе ничего не изменилось — просто мы встретились по его инициативе и снова разошлись каждый по своим делам. Мне стало легче ходить на озеро, а медведь принял территорию человека в своем «доме» и старался уважать мой личный участок на берегу, где оставались всегда мои удочки, котелок и топор. За вещи я был спокоен.

А еще я хорошо знал и даже проверил, что если остаться на его тропе и подождать, иногда и долго, то увидишь Лесника, совсем не испугавшегося тебя. В таких случаях он приостанавливался, собирался немного сердиться, но не рычал. Я не хотел терять доброго соседа и уходил, а на следующее утро точно знал, что Лесник не свернул в сторону, а шел следом, провожая меня до границ своего хозяйства.

Расстояние между нами? Немного меньше, чем для выстрела из двустволки наверняка.

Год 1965-й. Мой Мишка

За новый кружочек на своей карте я благодарен прежде всего Шарику. В этот раз Шарик захрипел далеко за выпасом, и Василий спокойно определил, что пес лает на медведя... Хрип собаки жил долго. Шарик прошел с ревом вдоль выпаса, спустился в низину к озеру и отстал от зверя только в настоящем лесу.

Во встречах с Лесником я достаточно приучил медведя к себе и вызвал с его стороны любопытство. Со стороны человека в том знакомстве не было излишней навязчивости, а потому утвердительно расписаться в добродушии зверя я пока не мог... Другое дело — прийти незванным гостем и навязать знакомство. В крайнем случае я надеялся отступить. И теперь я шел к очередному медведю, которого обнаружил Шарик.

В деревне меня каждый вечер дожидалась карта, по которой карандашом я уже обошел весь медвежий «дом». После очередного выхода к нему карандашная линия оживала, оживала моими шагами вокруг предполагаемого места жительства зверя. Об этих путешествиях в моем дневнике оставались несложные, но достаточно точные записи...

Первый день. Шарик оказался прав: медведь был в малиннике, точно на юг от моего дома. Он обсасывал ягодные кусты, услышал собаку и ушел по дороге еще дальше на юг... Там дальше ручей, прежняя пашня, разнолесье, поднявшееся после вырубок, — место медвежье, удобное для кормежки... Но дальше я не пошел. Медведь оставался в стороне, а я обрезал его владения с запада.

Юго-западная дорога людей — медведь на дорогу не выходил ни сегодня, ни вчера, ни много раньше... Дорога за спиной — иду по компасу под елями, иду на

восток, туда, где должна быть та самая бывшая пашня, к которой и отправился медведь из малинника.

След появился четко на мелком сыром мху елового лога, как и отпечатки моих подошв... Медведь поднимался вверх, в лесной остров. Лапы скользили по склону, срывали зеленый бархат таежного ковра, сыпали вниз кусочки коричневой почвы... Медведь пришел сюда с поляны. Поляна рядом. Я отметил сегодняшний след животного ножом по елке, вложив в расщеп полоску коры — полоска показывала направление, куда ушел зверь. До поляны других следов не увидел. Полян две, бывшие пашни: Большое Угольное и Малое Угольное. На Малом я разыскал разрытый муравейник, на Большом — уже медвежьи тропы. Тропы оставались смятой травой. Густые, ломкие от зрелости стебли рассказывали, что медведь здесь бродил не только сегодня.

Возвращался домой по южной дороге, навстречу медвежьему следу, и снова видел, что животное выходит на дорогу людей не просто из леса, а по границе естественного рубежа — по краю низинки и сворачивает в сторону по ручью... Эта особенность медвежьих путей становилась для меня правилом животного. Так ходил Лесник, так жила медвежья семья у Вологодского ручья, и тот са-мый первый медведь у Пашева ручья сворачивал с дороги только там, где начиналось болото. Но по болотам и по ручьям медведи преспокойно путешествуют. Пожалуй, эти животные как-то умели разбираться в местной географии, выбирать естественные границы для обнесения своей территории или находить по ним охотничьи уголья.

В малиннике я побродил по медвежьим тропам — они лежали часто, не путаясь, и проходили около самых ярких кустов. Медвежьи дороги по ягодникам я уже знал. Так и хотелось сравнить их всякий раз с тропой человека в лесу: к озерам или за рябчиком. Тропа людей

— всегда оптимальный путь к цели. Люди знали, куда и как проложить ее. А что знал медведь, когда брел первый раз по незнакомому лесу, — ведь его тропа тоже оптимальный путь, будь то дорога на лежку, ходы по ягодникам или путь к воде.

Тропу к воде я отыскал на второй день. Подход к воде оказался удобным и для меня — вода легко подхватывалась кепкой при неглубоком наклоне. Соседний берег выше — до воды дальше. Животное не искало удобный подход каждый раз, а спускалось сверху и прямо. Сегодня я обходил медвежье хозяйство с востока, чтобы замкнуть круг, уточнить охотничьи владения животного и попытаться отыскать то место, где зверь ночевал.

Я заканчивал обход, но следов пока не было — в восточном направлении зверь пока ни разу не удалялся. Впереди небольшой ручеек и Угольные — сначала Малое, потом Большое. И ручеек перебрел медведь. Медведь тот же самый. След был входным — на кормежку. Входной след вход помечен такой же стрелочкой, как и вчера. Выходной след, выход с кормежки, появился на Малом Угольном. Тесок на елке, стрелочка, пометила и его. На карту легли же три стрелочки. Стрелочки сходились в одном месте. Там лежка! Сейчас на лежку нельзя. Туда надо прийти до него, а сейчас он, наверное, там.

Третий день. Водопой. Еще не приходил — рано. Вчерашний ручей у Малого Угольного — вчерашний след цел. Нового нет. Малое Угольное — есть входной след! Недавно... Дальше к малиннику, на север; входного следа нет — медведь внутри моего круга! Обратно на Угольное — выходного следа по-прежнему нет... Належку!

Иду на лежку по сегодняшнему входному следу. След с лежки прямой, по сухим местам. Еловый лог. И лежка! Ель и еловая подстилка. Толстая — в ладонь,

поставленную на ребро. Мягкая — больших сучьев нет. Обзор отличный. Сверху три ели: ветви широкие, раскидистые, сплошные — лучше крыши и не найти.

Хочется высказать такое предположение: в мокрые, дождливые дни медведь бродит по сухим дорогам, по ельникам, в сухие же дни тропа другая — ольшаники, крапива, ручьи по болоту. Пока это получается. И еще. Пожалуй, у него есть чувство пути, расстояния, умение распределить силы на всю дорогу. Кажется, медведь точно знает, сколько осталось до лежки, и рассчитывает себя только на этот путь — след на лежку всегда усталый, шаг медленный, короткий, дальше шаг еще мельче.

Четвертый день. На Большом Угольном я был в 7.30. Ждал долго, но медведя даже не слышал. Нашел входной след — приходил почти в темноте и пришел не с лежки. Ушел с полян тоже не в сторону лежки... Ночью на лежке не был. Вчера после меня к постели только подходил, но ночевать не остался... Неужели сменил лежку? А если сменил и охотничьи уголья? Тогда все пропало. На обратном пути я немного успокоился — медведь место кормежки не сменил, путешествовал по тропе «сухого дня»: мокрые места, лиственные породы, малинник — сегодня дождя нет.

Пятый и шестой день. Не иду — пусть успокоится.

Седьмой день. Ждал его с рассвета на Большом Угольном — место удобное, должен выйти. Слышал только в стороне, но не показался. Сегодня пришел с лежки, ушел в ту же сторону.

Восьмой день. Дождь. Медведь есть — опять только слышал. Следы по дороге «мокрого дня» — по сухим местам, по ельникам.

Девятый день. Встреча состоялась. Животное некрупное — пудов на семь, по Василию. Думаю, немолодой: движения рассудительные, неторопливые — возраст чувствуется.

Медведь вышел на Большое Угольное, порылся в земле. Я сидел за елочками, рядом с муравейником. Медведь подошел к муравейнику, погреб лапой, неглубоко, бережливо, и засунул в муравейник нос. Все рядом — метры. Увидел меня. Не фыркал, не рычал. Смотрел любопытно, в его позе не было страха. Я глаз не отводил. Сказал ему вслух: «Здравствуй, Мишка». После слов не ушел. Ушел позже — дела с муравейником не окончил. В конце поляны снова чем-то увлекся. Побрел затем в сторону лежки... Медведю дал кличку — просто Мой Мишка.

Год 1965-й. Овсы

Главную дорогу людей я прошел уже много раз. Целью было: продукты, письма и просто люди. В дороге я старался быть на всех лесных ручьях, у болот и приметных деревьев в одно и то же время. Эти хождения и помогли мне увидеть того первого моего медведя, который впустил меня в лес. Я назвал его Хозяином.

Хозяин почти всегда был на своем месте: я или слышал его, или видел, тяжелого, строгого, без лишних движений, но пристально разглядывающего меня. Тогда я останавливался, не очень торопливо снимал рюкзак и закуривал.

Встречи проходили обычно утром, в 10 — 11 часов и, как правило, во время моего обратного пути. Медведь узнавал о человеке и выходил на дорогу. Выяснение личности проводилось на расстоянии трех-четырех десятков шагов и оканчивалось для меня разрешением идти дальше.

В конце встречи медведь, как всегда, уходил вправо, в ельник, по краю болота. И опять четкость границ, где за рубежи принята естественная география. Но Хозяин уже покинул свою опрометчивую лежку — сон в пяти шагах от дороги, наверное, не всегда был спокойным. Остальное хозяйство животное сохранило.

Почему первым встречал меня именно Хозяин? Случайность? А если допустить, что на этой территории поселился бы более мелкий, не очень взрослый и менее мудрый медведь? Остался бы он рядом с Главной дорогой и с пусть редкими теперь людьми?.. А если бы и не ушел, то, по крайней мере, не стоял бы на моем пути так долго, что я успевал выкурить не одну папиросу. Получил бы он тогда имя Хозяин? А сейчас на дороге в

лес стоял именно Хозяин. И пусть он объявился на этом участке в силу случайности, но остаться здесь хозяином получил право только он... Солидность, уверенность в себе, немалая сила, приличный вес (одиннадцать — двенадцать пудов) — это все за Хозяина.

Не мог же я назвать Хозяином того неосторожного медвежонка, что носился вокруг Черепова... Череповский медвежонок ворошил каждую жестянку, что оставлял я возле его «дома», мял ее, ничего не находил и бросал. Однажды в банку я накапал жженого сахара, и банка исчезла с дороги. Я отыскал ее в кустах: медвежонок вывернул жестянку и вычистил ее до блеска...

Мог ли я почтительно относиться к этому животному? Вот почему и сложилось для него несолидное прозвище. Оно родилось от названия поляны и необычности для остального медвежьего общества поведения его отпрыска, осколка... С тех пор на Черепове и жил просто Черепок.

Черепок ломал спичечные коробки, рвал бумажные кулечки с сахаром и вареной рыбой, но предпочитал все-таки не показываться мне. Чем-то он походил на боязливого щенка, живущего только на задах деревни. Я видел часто таких зверьков. При ласке и наличии лакомства их можно было вернуть к человеку. Путь к Черепку был, пожалуй, таким же, но требовал времени. А над тайгой уже повисла осень, сырая, нудная, с убегающими днями и заботами о близкой зиме. Черепок же остался жить по-прежнему.

Осенью я услышал наконец медвежий сигнал предупреждения. Встреча состоялась у Вологодского ручья... Я услышал, как «плюется» медведица.

Мамаша действительно плевалась — это было фырканье, чуть с рыком, со слюной. Слюна не обещала бешенства — скорее ее наличие было вызвано чем-то

съестным, которое Мамаша только что отыскала. Я помешал трапезе.

Рык повторился и перешел в неразборчивое ворчание. Выдерживать нервы слишком серьезной родительницы мне не хотелось, и я отступил, попятился назад. Глаза уговаривали Мамашу успокоиться. Набор фраз, произносимых про себя, был прост: «Успокойся, милая, успокойся... Успокойся, милая, я не помешаю тебе...»

Я освободился от рюкзака, присел на корточки и продолжил начатый разговор уже вслух... Конечно, интонация, конечно, тепло в голосе... Медведица уже не рычала, но глаз от меня не отводила. Нос ее уже не искал, а только ждал... Я вытянул из кармана папиросу и раскрыл спичечный коробок... Медведица рыкнула снова. Объяснения в любви пришлось повторить.

Охладить обстановку помог медвежонок. Он высунулся вперед, неосмотрительно подвернулся под родительскую лапу, и Мамаша тут же отправила его обратно за свою спину — и все это не спуская с меня пристального взгляда. Медвежонок заскулил, опрокинулся, наткнулся на братишек и сестренку, братишки и сестренки тоненько фыркнули, и матери ничего не оставалось, как приняться за наведение порядка. Она повернула голову к своему детскому саду, подняла лапу, и пискуны тут же исчезли в кустах. Я потерял глаза медведицы. Она поворчала на кусты, медвежата высыпали обратно и закрутились вокруг матери — они были недалеко, но уже без меня...

Семья ушла позже, и не в лес, а вперед, по дороге. Чем была для них эта дорога людей? Автострадой? Кратчайшим путем от ручья к ручью? Или местом, где больше грибов, муравьиных пирамид, где открыта почва и до корней и личинок легче добраться? Часто я видел на таких дорогах и покопы, и развороченные муравейники, но были и другие следы медведей,

прямые, безразличные ко всему следы от ручья к ручью, от болота к болоту... Но все летние путешественники соблюдали неприкосновенность соседних территорий — дом соседа оставался только его владением.

Однажды нарушение было совершено... Первый подобный акт я обнаружил на Угольных полянах, где до этого мирно обитал Мой Мишка. Чужие следы пересекли обе поляны, прошли по открытому месту и исчезли в лесу.

Незнакомый зверь пришел со стороны Красова озера, шел прямо, будто знал куда, форсировал ручей, прошел по Малому Угольному, ничего не нашел, видимо, для себя и на Большом Угольном и свернул в чащу.

Медведя не интересовали ни пни, ни ягоды — он просто куда-то направлялся. След его меньше, чем у Хозяина, но крупней, чем у Лесника... Кто он? Куда? Медведь шел на Черепово. Перед Череповым он лежал в кустах, наверное, слушал, что-то проверял, потом пробороzdил по траве бывшую пашню и повернул обратно к Красову озеру... Зачем приходил?.. Овсы! Конечно, овсы! И память!

Еще в том году на Угольных и на Черепове сеяли и растили овес. И животные выходили на овсы, мяли хрупкие стебли, сосали восковые метелки... В этом году овса уже нет. Но зверь помнил и пришел. Пищи не оказалось на Угольных... Медведь отправился к Черепову — и тоже пусто. Память! Память через зиму, берлогу, гон и лето. Память места и времени.

Догадка «овес» не только открыла для меня цель медвежьего перехода, но и родила беспокойство: «А вдруг... Вдруг Мой Мишка, Хозяин, Мамаша, Лесник, Черепок и Дурной уйдут на настоящий овес, туда, где есть охотники и ружья?..» Нет, эта боль была не от ненависти к крови. Я знал, что возьму ружье, когда в лесу заявится обезумевший хищник, чтобы предупредить дальнейшую кровь и погасить возможное

недоверие людей к другим медведям. Но сейчас я переживал за своих медведей, как переживают за друзей, которые могут попасть в беду.

Черепок цел — не ушел. Дальше... Дальше по Черепову лежали (и тоже с ночи) следы еще одного медведя, также приходившего на непосеянный овес. Животное прибрело с севера, ничего не нашло и вернулось обратно. След привел меня к Верхнему озеру, где совсем недавно бродил Лесник. Конечно, это был след Лесника, он тоже помнил овсы, не нашел их, вернулся обратно, но не задержался на старом месте... Исчез и Дурной.

Я ходил теперь по пустому лесу, собирал просто так случайные осиновые листья, упавшие мне на плечи. Вечерами по этим листьям я восстанавливал дневные маршруты и грустно знал, что теперь в «медвежьем государстве» осталось только два жильца: Черепок и Мой Мишка. Только они никуда не ушли со своих летних квартир.

А остальные? Как они? Вернутся ли обратно?.. И медведи вернулись, вернулись еще в конце сентября.

Хозяин по-прежнему занял дорогу в лес, Мамаша снова продолжила свои походы от ручья к ручью, объявился и Лесник, и мы еще раз встретились с ним. Позже всех прикатил Дурной. Все заняли свои прежние места, но ненадолго.

Первым на зиму ушел Мой Мишка, ушел за Красово озеро в сухой еловый остров. Потом исчезла Мамаша. Куда? Не знаю. В своей последней дороге на Верхнее озеро я не нашел следов Лесника и Дурного. Перестал потрескивать по кустам Черепок. А последним ушел Хозяин.

Я возвращался в лес по юго-западной дороге людей в свою избушку на Домашнее озеро. Давно уже не было у нашего озера телят, давно ушли пастухи. Мне некуда было торопиться — мой огонь зависел теперь только от

меня самого, и его можно было развести даже здесь, в лесу. Я сидел и просто курил на дороге, как раз там, где в августе начинал обходить владения еще незнакомого мне Моего Мишки. Тишина тайги подмокла от осени и грустного слепого дождя. В мокрой тишине почернели стволы елей, лес стал ближе и ясней без листа и броских красок. Идти никуда не хотелось. Хотелось молчать и, может быть, именно сейчас сказать моему «медвежьему государству», гостеприимному и доброму, просто «до свидания».

Я сказал это «до свидания» про себя, но мне ответили. Ответили не близко, но ясно: «чик-чик... чик-чик» — так всегда случайно потрескивает неосторожный сучок под мягкой медвежьей лапой... Кто-то еще не заснул, кто-то ходит, что-то ищет, проверяет. Но совсем скоро медвежьего «чик-чик» уже не будет, не будет до весны.

Спокойной вам зимы, друзья...

Год 1966-й. Еще один год

Оканчивался еще один год «медвежьего государства». В этом году я узнал о «смутном времени» в жизни медведей, когда весна, бескормица, когда животные ходят шире, забыв на время прежние границы своих личных владений. Я видел следы медвежьих охот, совершенных после выхода из берлоги, останки лосят и взрослых лосей. На Главной дороге людей мне удалось наблюдать гон животных и воочию убедиться, что в этот период медведи не так рассудительны, как обычно.

К концу лета я отыскал всех своих прошлогодних друзей... Так же на Главной дороге встречал меня Хозяин. Он не стал ни веселей, ни угрюмей... Встречи с Мамашей у Вологодского ручья повторялись ни теплей, ни серьезней. Ее медвежата подросли, но теперь их было только двое — третий куда-то исчез.

Наконец мне удалось увидеть Черепка и даже подружиться с ним. Состоялось мое знакомство и с Дурным, трусливым и несолидным медведем. По-прежнему радовал меня Мой Мишка. Талантливое животное, пожалуй, помнило меня, помнило даже мою собаку, относилось к ней несколько пренебрежительно, но не агрессивно и даже допускало со стороны моего четвероногого друга то, что в обществе людей принято называть некоторой фамилльярностью, — нередко моей собаке удавалось приблизиться к нашему медведю вплотную и даже повилиять хвостом в знак расположения.

Рядом со старыми именами в этом году появились и новые. Охотничью избушку на дальнем таежном озере, где мы с собакой провели большую часть времени, исправно посещал Домашний медведь. Он никак не

желал покидать нас, радостно приветствовал каждое мое возвращение в лес, доставлял нам массу хлопот и категорически отказывался вернуться к своей родительнице — Мамаше номер 2, которую покинул лишь этой весной.

Более тесные отношения с Мамашей номер 2 установил не я, а мой беззаботный щенок. Он регулярно посещал счастливое семейство, преспокойно резвился с медвежатами, возвращался целым и невредимым, зато мне приходилось выслушивать грозные нравоучения медведицы, когда, движимый только беспокойством за жизнь собаки, я слишком близко подплывал на лодке к ее медвежатам.

Удалось мне разыскать и того Известного медведя, что отправился в прошлом году на поиски непосеянного овса.

Этот медведь жил далеко, за Красовым озером, в глухой тайге, не пользовался никакими дорогами, найти его удалось с трудом и перед знакомством пришлось терпеливо выслушать бранную речь, содержание которой не оставило никаких надежд на дальнейшие встречи. След Известного я сравнивал с рисунками, что сделал веерной во время гона с отпечатков того самца, с которым чуть не столкнулся на Главной дороге людей. Медвежьи следы совпали и привели меня к интересному выводу, что в гоне участвовал не непосредственный сосед медведицы, — а не предпочитает ли медведица ухажера, который не состоит с ней в близком родстве?

Под занавес медвежьих походов мне пришлось испытать и несколько неприятных минут, встретившись с Лесником... Лесник разыскал лося, зарезанного волками, а я не совсем тактично поздоровался в это время с медведем.

Но, к счастью, Лесник остался тем же самым прошлогодним Лесником, который не помнил о

человеке ничего плохого. Мне удалось отступить, как отступает в лесу более слабое животное перед более сильным, но благородным соперником, я трезво выслушал рык зверя и примирительно ретировался, еще раз убедившись, что даже в крайнем случае медведь остается благоразумным, хотя и не слишком ласково предупреждает: «Убирайся!»

Да, я мог теперь, по обычаю местных охотников, расписаться в тайге на дереве под двумя не совсем обычными для меня еще в прошлом году понятиями: Добродушие и Доверие.

Мог сказать, что мои утверждения родились не в зоопарке, а в настоящем «медвежьем государстве», где медведь не приспособлен, не принижен, не зависим от нас. Узнать тебя можно только в твоём доме. Пожалуй, это истина такая же непреложная, как и утверждение, что медведь не совсем глупое существо.

О своеобразном медвежьем уме знали еще цыгане, знали и русские поводыри бурого увальня, что потешал людей по ярмаркам и праздникам. Медвежьи способности хорошо известны цирку. Знают сообразительность этого зверя и лесные старатели, охотники и рыбаки, что встречаются с Мишкой на лесных тропах... Как велик твой ум, Хозяин, Мамаша, Мой Мишка? Что вы можете еще, кроме того, что уже известно о вас? Как расположить вас на той лесенке, где каждая следующая ступенька вверх отличается от предыдущей качественным понятием «умнее»?

Масса нерешенных для меня вопросов требовала иного подхода к животным. Мои хождения по тропам, тропление зверя, встречи с глазу на глаз, обходы территорий, разыскивание лежек, видимо, уже исчерпали себя. Да, я мог сказать, что медвежьи «дома» сохраняются даже через зиму, не разрушаются летом в период ягодников и сочных корней. Я мог как-то судить и о «смутном времени» весной, и о гоне, о памяти места

и времени этими животными, о перемещениях на овсы, о возвращении в старые «дома» перед уходом на берлогу и о праве медведицы воспитывать новых детей на прежней территории, рассылая подросших отпрысков в иные кварталы «медвежьего государства». Я мог утверждать о благородстве зверя, о сигнале-предупреждении, о безумии в период гона и о глупости людей, неосмотрительно поднимающих ружья в сторону не такого уж безобидного животного. Теперь у меня была более полная карта «медвежьего государства», пережившего зиму, но эта карта все-таки оставалась еще во многом Белой.

Мои догадки, что новое, иное в работе с медведями необходимо, подтверждал и тот Коэффициент Полезной Информации (КПИ), что падал с каждым днем при тех же затраченных усилиях. Когда кривая КПИ перешла сверху вниз рентабельную границу, я почти оставил медведей и принялся рисовать еще одну Белую карту — карту «государства рыб». Просто щуки, просто окуни и просто плотва, туда я еще мог проникнуть с доступной мне методикой — здесь КПИ был для меня еще достаточно высоким.

А медведи?.. А медведи вот на этой все еще Белой карте. Здесь почти все, что смог я выпросить у них... И не у всех, и не по всей стране, и даже не по всей области. Рядом со мной жило небольшое, но достаточно плотное государство, или, как принято говорить в науке, отдельная популяция животных.

Да, медведь юго-западного угла Архангельской области — это не медведь Камчатки или Уссурийской тайги. Даже у людей одной и той же нации бывают разные характеры от географии и условий жизни. Наверное, также и у медведя. А чтобы гипотеза об умных животных стала истиной, пожалуй, нужна совсем новая Белая карта.

notes

Примечания

1

Торока — короткие, резкие порывы ветра.

Вышедший мех — товарный мех, мех после осенней линьки.